ОЛЬГА ФОРШ

в воспоминаниях современников




Г. В.
1928.
Ольга Форш

ОЛЬГА ФОРШ
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Ленинградское отделение 1974



Р 2
О 56

В 1973 году исполнилось 100 лет со дня рождения О. Д. Форш. Ольга Дмитриевна Форш — одна из наиболее популярных советских писательниц, произведения которой вызывают неизменно широкий интерес читателей.

В книге собраны воспоминания об О. Д. Форш современников, близко знавших ее в течение ряда десятилетий, — К. Федина, Н. Тихонова, Ив. Соколова-Микитова, В. Кетлинской, М. Слонимского, В. Шкловского, грузинской поэтессы Мариджан, украинской писательницы Оксаны Иваненко и др. Они воссоздают живой облик писательницы на разных этапах ее жизни, во всем обаянии ее удивительно многосторонней личности.

Воспоминания вводят читателя в атмосферу литературной жизни 1920—1950-х годов, а также знакомят с творческой лабораторией О. Д. Форш, с интересными фактами истории создания ее широкоизвестных произведений.

Составитель Г. Е. Тамарченко

Воспоминания, отмеченные в содержании звездочкой, опубликованы до 27 мая 1973 г.

$О \frac{732-177}{083(02)-74} 14-74$

К. Федин

МАСТЕР И УЧИТЕЛЬ



Тот читатель, у которого на книжной полке стоят сочинения Ольги Форш, не может нынче не побыть минуту в молчании у этой полки, не может мысленно не отдать поклон необыкновенным трудам этого глубокого, сверкающего писателя, этой замечательной женщины-художника.

Как всегда, она трудилась одновременно над несколькими планами будущих книг, сталкивая воображением своим исторические эпохи, следя за искрами, выбиваемыми такими столкновениями. Задуманы были в последние годы жизни две новые книги — повествования о Петербурге — Ленинграде, задумана была книга о женщине, не без толчка, полученного от многократных личных и письменных собеседований с Горьким, ставившим высоко развитие женского характера, освобожденного революцией.

Но созданное Ольгой Форш и обладаемое нами, ее вдумчивыми читателями, наследие едва ли не черпнуло полным ковшом самого драгоценного, что можно бы

ожидать от таланта чрезвычайно оригинального и мастера большой художественной силы.

Коренным делом писательницы была художественная история становления русского революционного характера. Первый исторический роман Ольги Форш — «Одеты камнем» — открыл перед нею дорогу призвания и положил одно из краеугольных начал советской исторической романистики.

Форш подвигалась от своей трагедии о Бейдемане, ставшей теперь народным чтением, извилистыми ходами в исследовании и образном претворении типов русского революционера. Подлинным достижением художника остается ее стройная трилогия о Радищеве. Ответвления поисков хронологически изысканно приводили писательницу и к московскому восстанию 1905 года, и к Пугачеву, и к декабристам, роман о которых — «Первенцы свободы» — она с поэтическим воодушевлением закончила, будучи уже восьмидесяти лет.

Ее проза — превосходный образец сочетания ищущей мысли и трепетного чувства. Искусство воскрешения былого, верность приметам времени, проницательный ум, раскрывающий психику героев прошлого, — все это органично связано в мастерстве Ольги Форш, и многому заставляет она поучиться у нее своего современника — советского литератора.

Мои сотоварищи и я встретились с Ольгой Дмитриевной в самом начале двадцатых годов. В то время ее преобладающим жанром был рассказ, и это быстро сблизило с нею молодых писателей, тогда искавших себя именно в этом направлении. Острейшая наблюдательность Ольги Форш, ее тонкое умение лепки образа, выхваченного из бытового окружения, стали нашей повседневной живой студией, и с тех пор Ольга Дмитриевна оставалась среди нас неизменным старшим мастером словесной живописи. Остается и посейчас.

Убежден, к ее щедрому наследству, к ее книгам не могут не обращаться вновь и вновь притекающие в советскую литературу прозаики.

Блеск искусного пера Ольги Форш не меркнет. Ее любовь к новой нашей культуре, к новому человеку не остывает. Заслуги ее перед всем лучшим, чем дорожит наш бесчисленный читатель, неоспоримы и незабвенны.

Поражает, что до последних дней, чтобы не сказать — часов, неусыпный ум Ольги Форш продолжал изобретательную работу мыслителя, богатое сердце не переставало полнить замыслы ясным, жизнелюбивым чувством.

На одной из встреч работников «Правды» с писателями представитель редакции напомнил о напечатанной в газете статье Ольги Дмитриевны Форш. Я был взволнован этим напоминанием. Мало того, что оно свидетельствует об умении газеты признательно оценить хорошую, большую писательскую работу. Достоинства литературных трудов не ускользают от «Правды». Но появление великолепной статьи Ольги Форш было во всех отношениях необычайно. И об этом нельзя не сказать.

Меня статья поразила. Это был гимн юности, гимн весне (статья так и называлась: «Весной 1961 года»). Я не знал, что Ольга Дмитриевна близка к своей кончине. Но, зная ее биографию, зная ее лично очень близко, я изумился, как этот человек не только преклонного, но очень старого возраста (до девяноста ей недоставало всего двух лет) мог найти в себе столь безграничные силы молодости, чтобы написать статью, трепещущую любовью к жизни. В ней был глубокий подтекст, который, конечно, звучал прощанием художника с тем, что пережито. Но Ольга Форш придала такой тембр голосу своего прощания, что читатель, может быть несколько менее внимательный, мог не заметить ни одной прощальной ноты. Там все било радостью, светом. И в радость вливались четыре особых нюанса. Это были благодарные воспоминания. Четыре мимолетных, но нежных «спасибо»: отец, старая няня, учитель-художник и свои дети. Самое дорогое, что человек знал в жизни: кто его породил, кто его выходил, кто его учил и кого породил он сам, оставляя свое наследие, свое самое лучшее людям.

Но внятные для чуткого уха нюансы расставания с жизнью только усиливали музыку света в прекрасном обращении писательницы к весне. Вот несколько фраз этой музыки.

«Один угрюмый человек сказал мне: «Весной начинаются войны». Я не хочу верить ему. Миллионы молодых

людей, наши дети и внуки, в которых продолжается жизнь моего поколения, заняты своим главным делом: они учатся, строят, творят. Война им не нужна...»

«...Искусство, наука, литература, герои семилетки, люди коммунистического труда — все живое и прекрасное на советской земле говорит во весь голос: это не должно повториться. И когда я смотрю, как из калитки детского сада тянется длинная и пестрая шеренга ребят, похожая на цветочную гирлянду, я верю: нет, войны не будет...»

Ольга Форш пишет: «Моя сегодняшняя весна опять принесла с собою чудо: Юрий Гагарин, русский человек, проник в космос и живым вернулся на родную землю. Тени тысяч русских мечтателей, с древнейших времен рвавшихся в небо и трагически погибших, стояли перед умственным взором Юрия Гагарина, когда он готовился осуществить многовековую мечту человечества. Он не мог погибнуть. Он был несокрушимо силен нашей любовью, нашей гордостью, нашей заботой...»

Вторую половину своей жизни — то есть весь революционный период после Октября — писательница считает счастливее, интереснее первой, которая «была только накоплением мыслей, чувств, всего художественного опыта для отдачи их людям...».

Она приводит слова Руставели: «Что ты спрятал, то — потеряно. Что ты отдал, то — твое». И она говорит: «Жизнь, вечная молодость художника в том, чтобы отдавать».

И вот как оканчивает Ольга Форш свою статью, оказавшуюся ее заветом всем нам, сотоварищам ее по перу и ее согражданам:

«И ныне, когда под Ленинградом, возле старого пушкинского лицея, деревья покрываются молодой зеленью, я думаю о жизни, о вечном обновлении ее и о бессмертии нашего дела».

Статья, удивительно тонкая по изяществу письма, в полную меру отвечающего примечательному таланту Ольги Дмитриевны Форш, прозвучала со страниц «Правды».

Есть много качеств высокого художника, которые страстно привлекают к себе в богатом писательском наследии Ольги Дмитриевны Форш.

Имя Ольги Форш накрепко соединено с эпохой первых лет формирования советской художественной литературы и ее расцветом. Мы, участники более чем полувековой давности сотрудничества с Ольгой Дмитриевной, теперь встречаем в наших рядах молодое поколение писателей и радуемся счастливой возможности вместе с ними благодарно чествовать память Ольги Форш в сверкании ее немеркнущего пера.

Н. Тихонов

БОЛЬШАЯ ДУША

*

Неумолимо уходят годы. И уже много картин прошлого заволокло туманом, не вспомнить иных бесед и самих собеседников. Сколько в долгой жизни встречалось людей, но память порой сохранила только смутный их облик, и нужны большие усилия, чтобы восстановить далекий образ.

Но есть лица, которые так четко остались в памяти, что стоит только закрыть глаза — и вот они — знакомые, дорогие черты.

Долгие годы я знал Ольгу Дмитриевну Форш. Разница лет не мешала нашему долголетнему общению. Наоборот, с годами оно все больше укреплялось и углублялось. Лицо у нее было запоминающееся, такое выразительное, живописное, многозначительное и красивое особой, внутренней красотой, что я всегда жалел, что умел только набрасывать быстрые рисунки тушью, но не обладал той могучей силой художника, который навечно сохраняет черты мастера, чтобы все грядущие поколения могли полюбоваться на любимого писателя.

Это, такое знакомое, лицо обладало чрезвычайной из-

менчивостью, но была ли она грустной или иронически-шутливой, разгневанной или задумчивой — черты ее лица сохраняли предельную выразительность и пластичность.

Когда я познакомился с Ольгой Дмитриевной, она была уже известной писательницей и лет ей было не так мало, но я тогда же подпал под влияние ее очаровательного человеческого облика, и мне доставляло большое удовольствие глядеть в эти проницательные, добрые, широко смотрящие на мир глаза, слушать ее неповторимые рассказы, ее глубокие раздумья о судьбах писателей, ее острые шутки, ее литературные замыслы. Она казалась мне явлением совершенно необычайным. Среди молодых людей, несдержанных, жадных до всего нового, выброшенных на неизвестный берег будущего бурей величайшей революции, начинающих литераторов — пришельцев из разных краев и городов, гремящих, спорящих, имеющих смутные представления о происхождении и значении русской литературы, Ольга Дмитриевна Форш представляла как бы полномочного посла от дореволюционной классической литературы и такого же молодого, но умудренного уже высокой культурой и тяжелой жизнью писателя, который должен был найти переход от прошлого к сегодняшнему дню, не пожертвовав ни внутренней свободой, ни связью с классиками. Кроме того, новые времена сами шли ей навстречу, потому что, наряду с молодыми, неопределившимися искателями прекрасного, старые представители дооктябрьской литературы переживали мучения и в своих поисках теряли свое место в жизни, и вместе с тем теряли значение их труды, в которых революция никак не звучала.

Ольга Дмитриевна, казалось, продолжает путь, который был начат еще декабристами на Сенатской площади и продолжен через всю историю России ее лучшими сынами. И теперь этот путь она связывала с новыми днями, с обществом, которое родилось с выстрелом «Авроры», с ленинскими речами об устройстве небывалой Советской республики. От нее веяло духом молодых, вдохновенных исканий, которые не могли быть остановлены ни трудностями быта, ни трудностями обстановки, где нужно было выбирать главное, не поддаваясь унынию и слабости, как поддались многие. Они ушли в болото эмиграции или превратились в лишенных жизни,

испуганных свидетелей происходивших гигантских перемен.

По правде говоря, я не знал, сколько ей тогда было лет. И меня это как-то не интересовало. Я встречал ее на литературных собраниях спорившую так же жарко, как и все другие, я видел ее непрерывно работавшую, как молодой литератор, и она производила впечатление отнюдь не человека, пришедшего из прошлого, а, казалось, работала на победу революции, как все революционно настроенные люди ее возраста.

Как ни странно, она работала больше, чем молодые. То ли потому, что они проводили много времени в дискуссиях и спорах, то ли потому, что не имели культуры работы, но ее первый исторический роман — плод большого труда и знания — прозвучал молодо, опередив многих авторов.

И всю свою творческую жизнь, поражая богатством тем и непрерывностью труда, Ольга Дмитриевна Форш была примером для всех, стоя в первых рядах зачинателей советской литературы.

Она написала первый исторический роман — «Одеты камнем». За ним последовали другие романы исторического плана, составившие целую серию книг, она написала острые, полные незлобивого юмора рассказы, дала пьесы на самые современные темы, бичующую сатиру о людях и делах Запада, популярные сценарии для фильмов, которые смотрел миллионный зритель.

Происходя из военной семьи, она как бы впитала военную закалку, которая помогла ей в жизни переносить труднейшие испытания, всевозможные лишения, беды и огорчения. Мужество ее выдержало этот натиск, и служение искусству продолжалось с таким упорством и жертвенностью, что в самых преклонных годах она чувствовала себя, как Суворов после швейцарского похода, усталой, но воспрянувшей духом, снова одержавшей победу.

А познакомились мы с ней в старом доме, носившем странное название «Диск». Полное его название — Дом искусств. Дом этот и сейчас стоит, выходя одной стороной на улицу Герцена, другой — на набережную Мойки. Про этот дом уже написаны рассказы, статьи и исследования, и поэтому скажу только, что он принадлежал купцу Елисееву и в нем поселились писатели, поэты, ху-

дожники. Максим Горький устроил им там возможность проживания. Там, в 1920 году приехав из Киева, поселилась и Ольга Дмитриевна.

Дом был странный и внутри, потому что комнаты, в которых проживали писатели и причастные к искусству люди, были неравные. Кто жил даже в бывшей ванной и в предбаннике, кто в комнате рядом с гимнастической комнатой, где стояли искусственные кони, велосипеды и силомеры. Иные проживали в так называемом обезьяннике — бывшем помещении елисеевских слуг. На огромной кухне при свете свечи читал известный философ. В парадной части происходили литературные вечера и заседали студии, которыми руководили выдающиеся ученые, критики, поэты и прозаики.

И туда, сквозь фантастику этих помещений, я приходил к Ольге Дмитриевне. Так началось наше знакомство. Она привлекала к себе сердца, потому что никогда не выделялась, не требовала к себе особых знаков уважения, не имела того мелкого, но ядовитого честолюбия, каким были насыщены иные обитатели этого дома; но она ничего не уступала ни молодым, ни старым в споре о тех приемах творчества, в которые она твердо и решительно верила. Каждая беседа с ней обогащала молодого литератора. Каждое ее высказывание было щедро насыщено примерами из классиков, и ее ироническая критика заставляла задумываться молодого искателя новых форм литературы.

Дом жил бурной, странной и пестрой жизнью. С приходом нэпа быт стал еще фантастичней, потому что в доме стали сдаваться парадные комнаты под маскарады и всякие нэповские собрания с танцами и выпивками.

Этот дом с его удивительным бытом, необычайными происшествиями и невероятным населением стал темой интереснейшей книги Ольги Форш, названной ею «Сумасшедший корабль».

Писательница любила эту свою книгу, считала ее даже лучшей и так характеризовала ее: «В этой книге мне хотелось закрепить весь путь и конец былого «русского интеллигента». Роман был написан с большой страстью и издан в свое время. Все бывшие жильцы Дома искусств разгадали себя, были раскрыты все псевдонимы, иные из которых были прозрачны, и ничего

особенного не произошло, потому что все это было известно и понятно жильцам Диска.

Когда прошли времена и встал вопрос об издании собрания сочинений О. Д. Форш в восьми томах, зашел разговор и об этом романе. Прошло так много времени, что новый читатель без особой подачи уже не в силах разгадать героев книги, не может без комментариев понять суть происходящего. Тогда — это было в январе уже 1961 года — я прочел заново роман «Сумасшедший корабль» и написал Ольге Дмитриевне письмо, которое привожу:

«Я вернулся к «Сумасшедшему кораблю», который начал читать еще в Ленинграде, в тот же вечер, как я был у Вас.

С каждой страницей я погружался в тот давно ушедший мир двадцатых годов. Читать мне было чрезвычайно интересно и немного грустно. Речь шла о временах, когда мы, «серапионы», были молодыми и вся обстановка дышала фантастическими причудами времени. Люди, населявшие «Сумасшедший корабль», оживали передо мной во всех своих, тоже фантастических, обликах. Перед иными я должен был даже немного останавливаться — не узнавал сразу, кто этот незнакомец или незнакомка.

Сам язык книги отражал дух и поиски стиля тех лет, когда сложная образность в прозе, изысканность литературного выражения, переносы действия, смелые и ошеломительные, были явлением, живо увлекавшим воображение. Вы с такой точностью воспроизвели эпоху, что мне, ее живому участнику, можно было только удивляться неожиданной чудесной возможности снова почувствовать себя на корабле, несущемся по темным волнам неизвестных просторов.

Я давно не перечитывал романа. Книга, которую я берег, сгорела во время пожара на даче, и новое чтение было даже неожиданным. Теперь, когда я кончил чтение и начал возвращаться к разным страницам книги, помня Ваш совет отметить то, что следует отметить исходя из ощущений сегодняшнего дня, я стал испытывать некоторые затруднения, которые сначала мне самому были не очень ясны. Но, перечитывая книгу, которая всегда будет иметь свою силу художественного воспроизведения

происшедшего однажды события, я обнаруживал в ней все больше мест, требующих сегодня многих и многих примечаний, так сказать, внутреннего порядка.

Многие характеристики для простого человека носят характер шифра. Без помощи какого-то авторского объяснения он, этот читатель, не доберется до истины и по дороге к ней такого навыдумывает, что еще больше себя запутает.

В силу этих соображений, нарочито сложной композиции читатель споткнется не раз. Как пример: «Качаясь на водах как круглая банная шайка, попавшая в громадный бассейн, комната выйдет вместе с волнами в залив, обогнет морду «собаки» и мимо Бельгии и Германии. . .

Дальше за комнату отвечать не могу. Передо мной Рю-де-Гренель и обычный полпредовский прием. . .»

«Капризы мышления», как Вы их тонко называете, у Вас чрезвычайно сложно и ювелирно размножены в «Сумасшедшем корабле». Это делает его искусительно-занимательным чтением для литераторов и особенно — современников тех незабываемых лет. Но среди произведений, отобранных для собрания сочинений, он, этот «Сумасшедший корабль», будет немного, сказать для шутки, под пиратским флагом, правда не черным, с костями, а скорее под флагом веселого, в духе Рабле корсара.

Рядом с ним «Ворон» будет выглядеть давно знакомой социально-реалистической птицей. Я пробовал выбирать куски, отрывки из «Сумасшедшего корабля». Это оказалось интересным, но наитруднейшим делом. Я читал, например, про Клюева: «Он топотал, ржал в великолепном вдохновении. . .» — или о том, как он кощунственно издевался над памятью поэта на том диком вечере в Капелле — на поминальном вечере Есенина.

Ваши страницы эти не поддаются действию времени. Они точны самой строгой точностью — художественного припечатывания действительно бывшего. Но сегодня столько подымется на тень Клюева вопросов, что уж лучше пусть она себе покоится, где нашла приют. Я помню крик и шум по этому поводу при обсуждении предисловия Зелинского к собранию есенинских стихов недавно. . .

Я думаю, что будет такое *полное* собрание, где «Сума-

сшедший корабль», уже с историческими примечаниями, найдет свое место, так как он не постареет, не побледнеет словесно. Сейчас же исправлять многие места в нем незачем, выбрасывать их — сокращать — ничему не поможешь, так как книга крепка своим единством противоречий, и острых наблюдений, и «горестных замет». Разъять ее страницы — и она много потеряет... Пусть она останется отдельной книгой, которую всякий любитель литературы прочтет с большим интересом, как документ эпохи начала советской литературы.

Я бы очень хотел видеть ее в собрании сочинений, но не могу не высказать своих сомнений.

Я же получил удовольствие, так как и в глубоко серьезной и в анекдотной сущности этой книги живо перечувствовал невозвратное время молодости и революции.

Я шлю Вам книгу заказным письмом. Надеюсь, что Вы получите ее в полной сохранности. Большие сердечные приветы Вам и всему семейству. Обязательно извещу Вас о моем следующем приезде. Буду с волнением ждать новой встречи!

Будьте здравы и благополучны!»

...Ольга Дмитриевна Форш согласилась со мной и не включила в собрание сочинений «Сумасшедший корабль». Теперь, когда собрание давно разошлось и если нельзя в скором времени иметь полного собрания замечательной писательницы, то издать отдельно роман «Сумасшедший корабль» стоило бы, хотя бы к ее столетию в 1973 году. Издать уже с обширной статьей, которая подробно раскрыла бы все «шифры» романа и объяснила для читателей нового поколения всю сложность того переходного момента, который описан в этом романе, описан сложно, но верно.

К истории русской советской литературы это было бы живописное пособие, полезное для изучения быта и нравов тех далеких лет...

Ольга Форш считала «Сумасшедший корабль» книгой итогов. Решалась судьба старого, дореволюционного интеллигента «от искусства» и начиналась пора новой литературной интеллигенции, которая пересекла рубикон, перебралась на берег революции и перетащила в своем багаже ценнейшие завоевания прошлого русской великой литературы и искусства.

* *

В статье «Как я пишу» Форш сама признавалась: «А героев своих я не слышу, не осязаю, но прежде всего «вижу». Глазами художника, внутренним своим зрением «видела» она картины и людей других эпох, и, прежде чем они не станут реальными в сознании как люди, знакомые ей во всем, и в одежде, им подобающей, и на фоне, им необходимом, и в среде, где нужно им действовать, она не приступала к обработке материала.

Зато с волнением археолога, нашедшего маленькую вещь в древней гробнице, она находила яркие факты, голоса, когда-то звучавшие, и воскрешала их со свойственной ей энергией и невероятной силой воображения. Я помню, как однажды она в лицах показала сцену между иезуитским агентом де Муши и Потемкиным. Она так удивительно говорила за иезуита с его пресмыкательски-лживым языком и представлялась диким самодуром, но государственным мужем большого масштаба, Потемкиным, что всех потрясло, как она преобразила вычитанный факт в сцену драматического звучания.

Я видел и иезуита и Потемкина. Когда Потемкину надоели просьбы и рассказы иезуита о формах сутан, которые носят члены ордена, взбешенный Потемкин кричит: «А на кой черт мне знать, в штанах или в сутане гулять будет иезуитская шайка, коль скоро Пугачев может двинуться на Москву?!»

Вот так глубоко преображалась она в своих действующих лиц. И так же ярки описания мест, где происходит действие. Один читатель говорил мне, что, попав случайно впервые с экскурсией по Петропавловской крепости в казематы, он испытал страх, который в нем жил давно, с того дня, когда он впервые прочел «Одеты камнем». Впечатление было так сильно, что он пережил казематы раньше, чем их увидел в натуре. Портретные описания под пером Ольги Форш приобретают необыкновенную жизненность, потому что она смотрит на своих героев — кроме глаз писателя — глазами большого художника.

Она охватила действием своих исторических романов и дальние — европейские — города, и окрестности Ленинграда. И в самом городе, помимо того что вы запомнили из наследия классиков, вы вспомните об Ольге Дми-

триевне неоднократно. Она сама приводит случай, с ней бывший, когда она присоединилась к экскурсии по Петропавловской крепости. Она смотрела так внимательно, что, когда экскурсанты ушли, девушка-экскурсовод завела с ней разговор.

Форш с довольной и иронической улыбкой рассказывала, как девушка сказала примерно так: «Как хорошо, что вы, бабулечка, интересуетесь стариной как молодая. Хотите знать о нашем революционном прошлом. Но если вы так интересуетесь, то прочитайте один роман. Там все описано подробно. Он называется «Одеты камнем». Написала его одна писательница — Ольга Форш. Если вы боитесь, что не запомните, — я вам запишу, бабулечка, и название и автора». — «Нет, нет, спасибо, я запомню», — сказала Форш.

— И вот так я ушла «бабулечкой», — довольно смеясь, закончила она.

И если вы отправитесь от Петропавловской крепости, то сразу увидите и другие каменные страницы: Зимний дворец, площадь Декабристов, Михайловский замок, как гробницы прошлого, воскресят в памяти романы Форш.

А если вы окажетесь в Пушкине, бывшем Царском Селе, в Павловске, в Гатчине, хоть там после войны многое изменилось, а иное исчезло безвозвратно, но в книгах исторической писательницы все эти места увековечены тщательно и четко, как и герои, которые всегда будут в памяти народа, такие, как Пугачев, вставший над испуганной дворянской Россией, как Радищев, беспощадный патриот и революционер, как Гоголь с его трагедией, художник Александр Иванов, архитектор Баженов и другие, навечно закрепленные на страницах вдохновенных книг. Они явились перед новыми поколениями как борцы за счастье Родины, за ее будущее.

Мы знаем, как изнашиваются и стареют таланты, но какая-то особая жизненность, особая сила вечной молодости присутствовала в даровании Ольги Дмитриевны Форш. Многие литераторы могли бы у нее поучиться той солнечной легкости и неистребимой энергии, которыми пронизаны страницы ее книг.

У писателя ограниченного — все ограничено. Вы видите, в каком малом мирке образов он живет, вы видите, что его знания — «отсюда» и «досюда», вы видите, как

узки его познавательные способности, вы чувствуете бедность языка, хотя и прикрытого иногда убогой тяжестью словесных украшений, неоправданных и бестактных.

Большой хозяин слова, каким была Ольга Форш, большой мастер является как бы проводником вашим в тот богатый край, который он представляет вашему взору и вашим переживаниям. Здесь так много городов и селений, людей и пейзажей, картин, которые нарисованы воображением и вызваны памятью, все так волнует, все так понятно, так закономерно расположено, здесь так много свободной игры ума и сложной простоты, открытий, характеров, вам впервые показанных, сцен жизни, вами еще не виданной.

«После каждой работы, — признается она, — только на короткое время я испытываю радостное опустошение, но очень скоро опять прихожу в особого рода беспокойство». Это правда. «Радостное опустошение» это идет оттого, что на каждый труд свой писатель отдает всего себя, ничего не утаив, ни перед чем не спасовав, не смалодушничав, не обманув трудностей боковым ходом, владея большим арсеналом приемов, и ясностью писательского волнения, и волей.

И вот снова нарастает особое беспокойство, и пишется новая, настоящая книга. О многом рассказала своему читателю Ольга Дмитриевна Форш, и как интересно рассказала. Сюжетны ее книги, и всегда сюжет сложен, оправдан в своей сложности, а слово — оно искрится, оно звучит то мягко, то саркастически, то строго, но всегда точно и найдено с первостепенным вкусом.

Она охотно в задушевных беседах говорила о «тайнах ремесла». Она много отдавала времени своей писательской лаборатории. Для нее вопросы работы писателя над материалом были вопросами самыми основными. Она говорила: «Тему надлежит автору, вобрав в себя, вернуть обогащенной совершенно новым и, самое главное, до него не бывшим эстетическим объектом. Только такой автор, рождающий из действительности новую реальную эстетическую ценность, и есть художник».

Но в поисках самого высокого уровня в своей писательской работе, в своих раздумьях об особенностях этой работы Ольга Дмитриевна всегда отделяла «каприз» писателя от «новаторства». Она даже начертала три условия, для звания художника обязательные:

«Итак, условие первое для звания художника: овладение темой до претворения ее в новую словесную ценность, в доселе не бывший эстетический объект.

Второе условие: писать просто.

Условие третье: писать с такой силой, чтобы вызвана была принудительность восприятия».

И приводила в пример новое изображение Льва Толстого, сделанное Максимом Горьким, так отличное от всех предыдущих, иконописных изображений великого писателя.

Но вместе с тем она всегда защищала и так называемые писательские поиски, право писателя на искания новой формы; пусть эта форма найдет полное выражение значительно позднее, но опыты такого рода нужны, так как способствуют общему развитию новых форм нашей литературы. «Смелость искателя не всегда оправдана сразу. А как бы выглядела наша поэзия без смелых достижений Маяковского, которые она нынче взяла на свое вооружение», — говорила Ольга Дмитриевна.

Помимо многих своих талантов, Ольга Дмитриевна обладала еще одним талантом: она так увлекательно, так удивительно читала свои произведения, что слушающие забывали окружающее, слушая колдовской, завлекающий в свои словесные сети голос. Я могу отметить один не совсем обыкновенный случай, который остался у меня в памяти надолго, у Ольги Дмитриевны — тоже.

Стояло необычно знойное ленинградское лето. Раскаленные камни дышали таким жаром, что трудно было дышать. Какая-то летняя настороженная пустынность безлюдных улиц угнетала людей. Все бежали в тень, от домов шли волны зноя. Кто мог сбежать из города, помчались в леса и рощи, к берегу залива, к озерам.

Я сидел у себя в пустой квартире на Зверинской. В квартире никого не было. Все окна на шестом этаже были закрыты. Открыты были только две форточки в низу большого окна. В пустынной тишине квартиры звонок телефона прозвучал особенно гулко. Звонила Ольга Дмитриевна. Я думал, что ее нет в городе, а оказалось, что она, как и я, так увлеченно работает, что не замечает духоты. Она сказала, что кончила новую главу романа, что ей, по ее мнению, особо удалась эта глава, труднейшая и острая, и она хочет ее прочесть мне немедленно. Я привет-

ствовал ее, и хотя я прерывал свою работу, но сказал, что сейчас же приеду. Я очень любил ее и ее книги.

— Я приеду сама, — отвечала она, — вот забираю рукопись и еду. . .

Действительно, прошло очень мало времени, и она появилась. Она была по-хорошему взволнована, и я вполне понимал ее возбуждение, потому что для писателя сознание, что, по своему высшему суждению, он написал нечто выдающееся, — радость. Она огляделась и спросила:

— А где Маруся?

Я ответил, что жена на даче, а я в полном одиночестве работал и только что кончил. Мы прошли в комнату, и она села за стол, стоявший довольно далеко от окна с открытой форточкой.

Форточка, как я уже сказал, помещавшаяся в низу окна, была широко открыта. Вернее, даже не одна, а две форточки, потому что зимняя рама не была вынута. С Большого проспекта доносились звоны трамвая, и с набережной — гудки буксиров. Я много раз слышал, как читает Ольга Дмитриевна, но на этот раз она была исполнена особой силы, и действительно можно было, слушая ее выразительное, удивительное по внушению чтение, забыть, что на улице смертельная жара, что в комнате душно и что на дворе — лето. Она работала над романом «Современники», и действие того отрывка, который она читала, происходило в глухую зимнюю ночь. Багрецов и Пашка-химик говорят о Гоголе. Они сидят в темном доме. Кругом мрак, снежные поля. За окнами метель. Разговор у них тоже темный. В окна метель хлопает мокрым снегом.

Ольга Дмитриевна читает с таким проникновением, что я забываю, что сижу на Зверинской, в светлой, жаркой комнате. Я уже сам прислушиваюсь к метели, и мне начинает казаться, что в дверь стучит не метель, а кто-то блуждающий во тьме. . .

Ольга Дмитриевна подходит к тому месту, где сидящим в доме кажется, что на парадном постучали, сначала робко, потом погромче. . .

Я сидел на диване вполоборота к окну и услышал тоже стук какой-то. Я отнес его к рассказу и не придал ему значения. Я весь ушел в слушание.

Ольга Дмитриевна читает, как Багрецов и Пашка все-таки за воем метели услышали, что стучат в холодную дверь. Еще стук, бегут открывать. Стук... Открывают. Замерли...

Гоголь!

Не успела Ольга Дмитриевна прочесть эти строки, стук настолько явственный раздался рядом, что я невольно сначала посмотрел на запертую дверь, а потом оглянулся. Ольга Дмитриевна взглянула на меня и обернулась тоже к окну, куда я уже смотрел, ничего не понимая.

Что-то темное закрыло окно с улицы, потом собралось как-то, проскользнуло по стеклу до открытой первой форточки, потом стало большим вороном, который, ударив клювом в стекло, отогнул голову назад, подобрал, как полы фрака, свои крылья и вошел.

Мы смотрели, ничего не понимая. «Черт те что! Гоголь!» Все это длилось мгновение. Потом гость стукнул клювом в пространстве между окнами, что-то хотел там зацепить, ему не удалось, и он, продвинувшись на подоконник, вылез совсем из форточки и полетел вверх, что-то держа в черном клюве.

— Что это? — спросила Ольга Дмитриевна, смотря на меня.

Я сказал:

— Ольга Дмитриевна, вы можете чтением вызывать духов. Говорят, Скрябин мог вызывать музыкой грозу. А вы вызвали Гоголя. Как он фрак-то здорово подобрал, прежде чем войти...

— Нет, правда, Коля, — сказала Ольга Дмитриевна, — что это было?

Я подошел к окну.

— Что было? — сказал я. — Ворон сидел на противоположной крыше и нацелился отхватить кусок масла, который лежал в бумаге на тарелке между окнами. Он ударился о стекло, сполз до форточки, нагнулся, чтоб войти, уцепился за бумагу, бумага оторвалась, и он с куском упаковки вышел обратно и улетел... Вот и все... А вот почему он вошел с таким стуком, который и у вас в зимнюю ночь простучал, вот этого я не знаю. Совпадение! Но с Гоголем этот ворон здорово был схож. Как фалды-то фрака убрал!

Этот случай произвел большое впечатление на Ольгу Дмитриевну. Впоследствии она один из своих романов

назвала «Ворон» и происшедшее вписала в книгу в соответствующей обстановке.

И в письмах своих она иногда вспоминала этого ворона и напоминала мне о нем. Так в письме от 11 июля 1953 года она, между прочим, пишет: «А помните, как ворон, живой, черный вор, похитил из форточки на Вашем окне масло?»

Она очень любила и глубоко понимала Гоголя. Тайна его мастерства была предметом тщательного изучения. Она зачитывалась волшебными страницами Гоголя. И верила, что он и после смерти может шутить по-гоголевски.

Еще до войны производилась эксгумация гоголевского праха на Новодевичьем кладбище. Был уже вечер, когда вскрыли склеп Гоголя, гроб был пуст, опрокинут и все завалено кирпичным мусором.

«Вот, — сказала она, — гоголевские штучки. Взял да и ушел из-под носа». Но времена были суровые, без мистики, и Гоголя нашли. Оказалось, что, когда в свое время делали новый памятник в 1909 году (к столетию со дня рождения), для укрепления грунта насыпали в склеп кирпичей и первые же упавшие кирпичи перевернули гроб, выбросили тело на бок и сбили голову. При эксгумации все нашли и переложили в новый гроб, но Ольга Дмитриевна долго говорила: «Он, — намекая на Николая Васильевича, — любит шутить по-всякому...» И вот, по прошествии скольких лет, он явился вороном, расправив фалды-крылья своего фрака...

Она не раз мне говорила: «Хорошо сказал Николай Васильевич о писательской работе: «обращаться со словами нужно честно».

Всякий раз, когда я читаю «Ворона», передо мной встает этот жаркий день в Ленинграде, превращенный волшебницей — Ольгой Дмитриевной — в зимнюю ночь, и ворон, шагающий на возглас героев ее романа «Гоголь!».

* *

В годы перед Великой Отечественной войной существовал в Петергофе, ныне переименованном в Петродворец, отель «Интернационал». И в этом отеле по соглашению между трестом гостиниц и Союзом писателей было

отведено несколько номеров, чтобы писатели, в городских условиях стесненные разными обстоятельствами, могли здесь, творчески уединясь, работать в свое удовольствие.

В перерывах между работой они гуляли по великолепному старому парку, где летом взвивались к небу роскошные столбы больших и малых фонтанов, а осенью красота аллей способствовала отдыху глаз и склоняла к задумчивости и сосредоточению мыслей.

Писатели любили петергофское уединение, и многие ленинградцы пользовались этим отелем, и даже наезжавшие москвичи отдавали должное этому прекрасному месту вдохновения, расположенному всего в двадцати девяти километрах от Ленинграда.

Там бывала и Ольга Дмитриевна и также гуляла, отдыхая, и особое удовольствие было разделять с ней эти прогулки, потому что, гуляя, она говорила о многом и эти беседы на ходу или на скамейке в парке, такие жизнерадостные или приправленные хорошей иронией, были увлекательны так, что стоило бы их сразу же записывать, чего мы не делали, о чем сегодня очень жалеем.

Вокруг стояли дворцы, павильоны, статуи, творения великих зодчих прошлого, среди которых господствовал Растрелли, фонтанную сеть сотворил чудо-инженер — гидравлик Туволков, скульптурную группу «Самсон» создал Козловский. Английский дворец сотворил знаменитый Кваренги. Монплезир, Марли и другие удивительные сооружения часто служили темой разговора, как и статуи древних богов и богинь, стоявшие на берегу свинцово-серого залива, среди огородных гряд, смотря белыми глазами в туманные дали севера.

Мы и не могли предполагать, что очень скоро эта классическая тишина будет нарушена громом непрерывного сражения и место отдыха превратится в место смертельного боя, в котором будет решаться будущее нашего любимого города. Но об этом чуть позже.

Гуляя раз утром с Ольгой Дмитриевной, я рассказал ей, что был на днях в Александрии, дворце последнего царя, осматривал покои царской семьи и директор показал мне целый склад разных костюмов царя и предложил взять любой на память. «Мы, — сказал он, — эти вещи не музейного значения держим просто для порядка. Выдаем по требованию театра или киностудии для

съемок. Возьмите вот этот адмиральский мундир. В нем Николай Второй ездил на встречу со своим двоюродным братом — английским королем Георгом Пятым. Посмотрите, какой шикарный мундир. Сколько золотых узоров, да еще в придачу треуголка».

— Чего же вы не взяли! — воскликнула Форш. — Вот бы вырядились в него, и мы с вами произвели бы сенсацию, появившись в зале «Интернационала» к обеду...

— А как бы я объяснил это появление?..

— Пустяки, сказали бы, что вы снимаетесь в каком-нибудь фильме — моряком...

Мы посмеялись, но вдруг Ольга Дмитриевна сказала:

— А помните, я вас просила поискать мне тему для пьесы, и вы как-то сказали, что нашли для меня морскую тему. Где же она, выкладывайте...

Ольга Дмитриевна, как известно, время от времени обращалась к театру и кино — и пьесы и фильмы по ее сценариям шли с успехом. Действительно, я вспомнил, что некоторое время назад она вела со мной такой разговор и хотела, чтобы пьеса была историческая, близкая к ее историческим темам, чтобы в ней были яркие сцены и даже музыка и пение. Я, перебрав многие темы, напал на одну и начал собирать материал. Но все как-то не удосуживался поговорить об этом. Теперь она сама напомнила мне мое обещание.

Мы сели против домика Марли. Было хорошее свежее утро. Над заливом стоял легкий туман. Было тихо и тепло. Мы невольно прониклись очарованием старого парка, свидетеля многих исторических событий, тем более что я начал говорить о далеких временах начала XIX века, о том периоде, когда русский флот пенил волны Средиземного моря, появляясь на всей его широте, от эгейских волн до адриатических берегов, от Египта до Гибралтара, когда паруса боевых линейных кораблей отдыхали в гаванях Италии, имели базу в Венеции, брали Корфу, входили в порты Неаполя и адмиралы встречались как друзья: Нельсон жал руку Ушакову. Бурная политика того времени все время переставляла фигуры на доске исторических шахмат, и русские были то с французами против англичан, то с англичанами против французов. События менялись, годы войн были непрерывны...

Ольга Дмитриевна слушала внимательно.

— Какой же момент вы выбрали для меня? — наконец спросила она. — Пока я не вижу сюжета.

— Сюжет развивается в десятых годах, когда адмирал Сенявин со своими кораблями бороздит волны Адриатики. На его корабле плавает один морской офицер, некто Броневский, который оставил несколько томов описаний своих плаваний. Время, которое я взял, относится к годам от тысяча восемьсот пятого до тысяча восемьсот девятого. Этот офицер плавает у берегов Черногории, которая не хочет подчиняться французам. Помните Пушкина:

Черногорцы! что такое? —
Бонапарте вопросил, —
Правда ль, это племя злое
Не боится наших сил? . .

Так вот, этот Броневский, между прочим, был приглашен в Цетинье на пасху. Он берет матроса, надевает длиннейшую саблю, чтобы казаться представительней, и подымается в горы, где встречает страшный демократизм, так что сопровождавший его матрос теряется, не знает, как ему быть. Офицер приказывает ему повиноваться местным правилам, и они садятся как равные за стол, и во все время этого удивительного путешествия столько разного, неожиданного, драматического и смешного, что за всем этим надо прямо обратиться к книге Броневского, к той, где он сам замечательно рассказывает, как хозяйка одного черногорского дома, чтобы поднять его престиж, со слезами на глазах приветствует его, как русского, и представляет каждому, уверяя, что он — великий человек и даже знает грамоте!

Ольга Дмитриевна слушала с большим интересом. Я продолжал рассказывать приключения молодого Броневского, говорил о танцах народных и песнях, о том, как женщины целовали у офицера полу мундира, у матроса руку, от чего он вскакивал в смущении, о великой любви к России, о храбрости и гордости черногорцев, о том, как Броневский ходил из дома в дом и всюду должен был есть и христосоваться со всеми. Сам Броневский пишет, что он видел в горах простоту патриаршеских времен, беседовал с Ильею Муромцем, Добрынею Никитичем и другими богатырями нашей древности...

Мы долго сидели перед живописным Марли, и потом Ольга Дмитриевна сказала:

— Дайте мне почитать и достаньте что-нибудь про Сенявина. Славяне, дружба России. Русские на Адриатике. Передовые офицеры-моряки, будущие декабристы, — это интересно и ново.

...Я достал ей библиографию. Книги Броневского можно было взять в Публичной библиотеке, но потом какие-то новые замыслы увлекли Ольгу Дмитриевну, и, только когда мы встретились в Москве во время Великой Отечественной войны, мы вернулись в беседе и к Петергофу, и к Броневскому, но совершенно под новым углом. Времена уже были другие, и прошлое вставало по-другому, чем до войны.

* *

Когда наступили жестокие годы Великой Отечественной войны, Ольга Дмитриевна Форш была с семьей эвакуирована на Урал, жила в труднейших условиях, бедовала и горевала, много пережила трудностей, ездила с экспедицией Академии наук в Среднюю Азию и приехала в Москву весной 1944 года.

Она жила в гостинице «Москва», и к ней, конечно, началось целое паломничество. Война уже перешла свою решающую грань, уже ясно было, что она идет к концу, но он еще был не так близок. Форш чувствовала себя усталой, но с каждым днем силы ее прибывали, и она скоро стала такой же гостеприимной, доброй, готовой откликаться на все живое, как прежде. В первые дни жизни в гостинице с ней случился курьезный случай. Она както сказала мне:

— Коля, я не знаю, что делать! Это было бы смешно, если бы не касалось меня. Понимаете, до меня здесь жил какой-то летчик, видимо любитель веселого отдыха, и теперь мне звонят его девушки и требуют сказать, куда я его дела. «Мы знаем, — говорят они, — ты его прячешь, мы знаем, что он сейчас получил отпуск, и ты от нас его все равно не скроешь. Мы тебе отбить Мишу не дадим! Не думай себе». И они звонят мне каждый день. Я сказала, что я старая женщина — писательница, а они ругаются, кричат: «Что ты сочинительница, мы знаем и видим, а что старая — уж этого не сочиняй, подавай, где прячешь нашего Мишу!» Жизни нет, что делать?..

— Устроим, Ольга Дмитриевна, — сказал я, — не такие дела устраиваем!

И девушки, узнав, в чем дело, перестали звонить.

...В эвакуации она очень сдружилась с молодой и красивой украинской поэтессой — Оксаной Иваненко. Часто они вдвоем принимали гостей. Говорили, конечно, о событиях на фронтах, о жизни в эвакуации. Ольга Дмитриевна много работала на Урале, собирала в Алма-Ате материалы о панфиловцах, писала статьи, отказалась от празднования своего юбилея — ей исполнилось семьдесят лет: «Для банкетов сейчас не время».

Невольно в наших разговорах мы возвращались к дням ленинградской осады. Уже в январе 1944 года великая победа под Ленинградом смела фашистские полчища из-под стен города, и бои шли уже в Эстонии, далеко от города Ленина. Ольга Дмитриевна с жадностью слушала рассказы о днях голодной зимы, о подвиге ленинградцев, о разрушениях, нанесенных врагом.

Однажды она спросила:

— Вы были там, где мы с вами когда-то сидели на скамейке у Марли? Вы говорили о черногорцах. А как они сейчас сражаются замечательно! Они — герои... А что там теперь? Что там вообще было?

— Дорогая Ольга Дмитриевна, там был ад. Вы можете себе представить, что в Английском дворце, среди вещей, ковров, гобеленов, статуй и фарфора, дрались гранатами. Тридцать восемь тысяч снарядов выпустили гады по дворцу. Там я ползал среди обломков, потому что ходить там было нельзя. Кругом лежали осколки посуды, ваз, обрывки сожженных книг, ковров, ручки амуров, разбитые тела мраморных статуй. Александрия, где я не взял адмиральский мундир царя, сметена с лица земли. Марли — руина, Монплезир — тоже, Самсона украли...

— А Пушкин? — с дрожью спросила она.

— Пушкин, как ни странно, пострадал не так, но он — пустыня, как все эти маленькие городки. И всюду были мины. Саперы — наши спасители прекрасного — спасли руины дворцов от окончательного разрушения. Такие же руины в Павловске и в Гатчине. Крепость Орешек в Шлиссельбурге — это корабль, с палубы которого сметены все надстройки. Стена стала ниже, и на ней появились зубцы, каких не было...

Ольга Дмитриевна глубоко задумалась. Она своим

воображением дополняла мой рассказ, и перед ней проходили воспоминания дорогих мест, столько давших ее вдохновению, мест, где проходили лучшие годы ее жизни.

Она вернулась в Ленинград осенью 1944 года и сама увидела страшное наследие войны.

«Судьба Ленинграда, особо близкого мне города, заставила меня сосредоточить на нем все мои мысли и способности, задуматься, чем и как мне ему послужить». Это высказывание Ольги Форш в высшей степени характерно для направления всей ее последующей работы.

Город необычайной истории, только что совершивший величайший подвиг — остановивший у стен своих самые сильные армии, грозившие полностью его уничтожить, перенесший гигантские муки, заплативший неисчислимыми жертвами за свою победу, показавший классическую высоту духа своих жителей, — этот город стоял перед ней израненный, изувеченный — и все же великолепный, неповторимый в своей особой, удивительной красоте.

Тут-то, при виде этих таинственных стен, не подвластных никаким средствам истребления, при виде снова выступивших из мрака военных ночей памятников и зданий, созданных гением великих зодчих, писательницей овладело старое чувство, которое ввергало ее в раздумье при виде древнегреческих богинь, пришедших на плоский берег Финского залива и вставших в огородах Петергофа.

Петроград, созданный вместе с новым государством, и Ленинград, колыбель Великого Октября, явились перед ней как два символа непобедимого развития жизни, как два символа, стоящие над будущим, и старый Петроград уступал дорогу новому создателю города революции — человеку, создателю социалистического общества и победителю в смертельной борьбе за будущее.

Она сама писала о том, что хочет создать два романа: один — посвященный Петербургу, и другой — Ленинграду. «Михайловский замок» был первой частью романа о Петербурге.

* *

Я когда-то, по любви к горам, странствовал в долинах Аварии, над которыми, как фантастический утюг, каменный, угрюмый, возвышается Гуниб. Там, на Верх-

нем Гунибе, еще белеют омытые столетними дождями развалины последнего аула Шамиля и растут березы в роще, где окончилось его многолетнее сопротивление.

В середине Гуниба стоит большой белый дом со стенами почти двухметровой толщины. Из окон дома раскрывается безмерная пропасть, в глубине которой шумит река.

Я знал, что в этом доме родилась будущая писательница, и мне легко было и странно вместе с тем воображать, как маленькая девочка смотрит большими удивленными глазами на необъятный мир гор, на орлов, проносящихся ниже ее по ущелью, слышит шорох их серостальных крыльев и видит исчерченные темными выходами пород отвесы Кегерского хребта. Мне кажется, что эта природная ширь, эта суровость окружающего и какая-то внутренняя свобода остались в ней от этих неповторимых ощущений детства: запахи горных трав, краски скал, весь простор мира...

Когда я писал вступительную статью к четырехтомнику Ольги Форш, я перенес туда это гунибское впечатление и получил письмо от 10 февраля 1955 года, где Ольга Дмитриевна, говоря об этой статье, пишет:

«И как это удалось Вам сказать самое главное, указать истинный источник, откуда вытекла вся моя работа?!

Ну конечно, это Гуниб. Его незабвенная, навсегда восхитившая перспектива, его уходящие вдаль, в небо горы...

Именно это определило подсознательно характер и ритм речи, когда пришла зрелость мысли.

Но как угадали Вы то, что знаю только я сама, о чем 10 февраля говорила Тамаре как о начале «Записок», а вот 14 февраля услышала, что это самое же написано Вами.

Поистине вещун птица ворон, что пришел однажды к нам в форточку на Зверинской, неспроста нас связал...»

И не только Дагестан, где началось ее детство, но и Грузия, и очаровывающий всех город на Куре — древний и вечно молодой Тбилиси — не раз встречал ее и одарял дружбой и любовью. Она написала ряд рассказов про эту пленительную красоту Грузии и завязала живые связи. Я был с ней зимой 1933 года, вместе с

бригадой писателей. Мы встречались с писателями, с рабочими, с артистами и общественностью, которая тепло приветствовала гостей. Однажды я получил приглашение от Ольги Дмитриевны обязательно прибыть в один незнакомый мне дом вместе с тогдашним московским «грузином» — Витей Гольцевым. Мы пришли и застали Ольгу Дмитриевну в компании только женщин и очень удивились.

— Я исправляю несправедливость, — сказала она своим задушевным голосом. — Забывают всегда женщин, поэтов и писательниц. А я отыскала их всех, и вот лучшая из них — Мариджан, а вот... — и она по порядку представила нам всех присутствующих.

Оказывается, она уже успела ознакомиться с их творчеством и начала способствовать их популяризации.

Она бывала вместе с нами в домах всех известных поэтов, и всюду ее принимали как свою, и она своим умом, своей сердечностью стала широко известна. А когда мы возвращались домой в Москву и Ленинград, с нами ехали грузинские поэты и Мариджан.

Путь был заполнен стихами и рассказами, беседами за стаканом доброго кахетинского. Странствуя по гостям из вагона в вагон, я где-то потерял свою старую кепку, а на дворе был мороз, и Ольга Дмитриевна сказала:

— Нельзя вам возвращаться домой с непокрытой головой. У вас есть что-нибудь?

Я виновато сказал, что у меня есть хевсурские рукавицы. Большие, толстые.

— Дайте мне, — строго сказала она, и я покорно отдал рукавицы.

Перед Ленинградом она вручила мне шапку удивительной формы. Она сделала ее из рукавиц.

— Не думайте, Коля, что я погубила ваши рукавицы. Дома вам разошьют мои нитки, и вы получите снова рукавицы...

Я приехал в них домой и почти обманул всех, сказав, что это хевсурская шапка, которую мне подарили, но одна маленькая девочка разоблачила меня. Она громко сказала:

— Какая это шапка — палец во какой торчит...

Ольга Форш очень любила Тбилиси, у нее там было много друзей, и всегда, когда они приезжали в Ленин-

град, мы сидели большой компанией и читали стихи, и Ольга Дмитриевна много говорила о грузинской поэзии, о грузинской живописи, о полотнах Пиросманашвили, об архитектуре древних грузинских храмов.

В ее планах было написать роман о Грузии, о Тбилиси, она собирала материал о времени после пятого года, но, когда я раз спросил ее о том, как двигается работа, она сказала, горько улыбнувшись:

— Да, собирала, много интересного, но, видимо, надо что-то другое.

Она скучала по Кавказу и позже. Когда я, приезжая из своих горных поездок, заходил к ней и рассказывал о горах, она слушала внимательно, расспрашивала о друзьях. В последнем, вышедшем перед самой Великой Отечественной войной, номере журнала «Звезда» был напечатан мой рассказ из дагестанского цикла «Кавалькада».

Уже после окончания войны как-то при встрече она похвалила рассказ за верные краски горного пейзажа, за легкость изложения и потом несколько раз возвращалась к нему...

Ольга Дмитриевна Форш дружила со многими выдающимися писателями старшего поколения и с молодыми писателями, появившимися после Октября, но особенно надо выделить ее дружбу с Максимом Горьким. Их встречи были и до революции, но настоящая, хорошая переписка завязалась много позднее. Алексей Максимович чрезвычайно выделял талант Ольги Форш, дорожил ею и называл ее «умная душа». Недаром в «Сумасшедшем корабле» он занимает особое, высшее место в писательской иерархии, и все, что она говорит о нем, наполнено любовью, уважением, глубоким чувством и некоторым чудесным ощущением, что он вроде моста, соединяющего старую русскую литературу с новой: «Сейчас позабыли, но мы все прошли по нему...»

И Горький называл ее «чудеснейшим человеком», писал ей после получения книги «Под куполом»: «Старый, прокопченный литератор и писатель, я такие книги, как «Под куполом», читаю — т. е. воспринимаю с радостью».

Она жила, гостила у него в Италии, в Сорренто. Их переписка очень важна для понимания того внутрен-

него, что сидело в каждом из них и что требовало ответа писательского и человеческого. С этой стороны почитайте их письма о Достоевском, о женском вопросе хотя бы.

Однажды Ольга Дмитриевна показала мне письмо Максима Горького, где он затрагивал тему, которой касался с каким-то необычайным подходом. В этом письме было такое место: «Мое, от юности свойственное мне, преклонение и удивление пред силою женщины, — я говорю, конечно, не только о сексуальном обаянии, а о некоторой сущности ее, непонятной и, часто, враждебной мне, мужчине, — мое, говорю, чувство к женщине давно уже навело меня на мысль, что царствованию мужа Земли приходит конец и власть над миром должна перейти к жене и Матери Земли».

— А что же, — сказал я, — я могу с ним согласиться. Мы, конечно, идем медленно, но верно к матриархату. И это не так плохо, как кажется. Да возьмите себя в пример. Вы же настоящее чудо матриархата. Вы всю жизнь были во главе своей семьи, создали славную, замечательную обстановку, в которой воспитались прекрасные новые люди. Вы были поддержкой, другом, первым человеком для ваших дочерей и сына, их опорой в беде, их товарищем во всех добрых начинаниях. Как удивительно приятно приходить в ваш дом, где царствует искусство, литература, наука, где все исполняют свой долг перед каким-то высшим назначением, и над всеми, признаваемый и любимый, стоит ваш авторитет блестящего, мудрого человека большой души... И у вас уже внуки и внучки. Светлое счастье наполняет ваш дом. Я помню, как с первого же дня нашего знакомства я понял, что вы несете в себе замечательную миссию — распространять свет высокого служения литературе и дух взаимопонимания всех возрастов, и я полюбил вас за ваше бескорыстие и чистоту души.

Она улыбнулась тонкой своей, чуть иронической улыбкой и сказала:

— Да, я тоже могу согласиться с мягким влиянием женственности на грубых граждан сегодняшнего столетия. Вы помните, как в Тбилиси, когда я собрала женщин-писательниц и пригласила вас с Витей Гольцевым прийти на эту встречу, и вы явились, к моему стыду, после хорошего пира и начали шуметь непристойно, я

попросила писательницу, которая писала под псевдонимом Незабудка, вас укротить. Она взяла чианури, села на подоконник раскрытого окна, начала играть и петь, и вы от удивления раскрыли рты и протрезвились. Влияние женственности на умы было налицо... Помните?

Увы! Я помнил. Мы помнили, как после этого на обратном пути нас ругала Ольга Дмитриевна и мы смиренно просили у нее прощения.

— Так это же говорит в нашу пользу, — воскликнул я, — ведь мы были укрощены, как дикие звери, пением Орфея в юбке...

— Да, а откуда вы знаете, что женщины, взяв власть, не станут обращать ее на то же, что и мужчины? Семилетнюю-то войну кто вел — три женщины против одного мужчины: наша Елизавета, дщерь Петрова, Мария-Терезия, австрийская императрица, и мадам Помпадур, управлявшая Францией вместо короля. И так набили Фридриху прусскому, что он не знал, куда деваться, мечтал о самоубийстве...

— Но это были давние времена, дорогая Ольга Дмитриевна, теперь советские женщины много добрее.

— А вы знаете, — сказала она серьезно, — я хотела заняться советскими женщинами, но не знала, как подойти, именно к женщинам новым и необычайным: военные героини, летчицы, парашютистки, врачи, колхозницы — все привлекали меня, но на мое письмо, когда я эти вопросы поставила перед Алексеем Максимовичем, я не получила ответа. Статью я написала, а больше ничего не успела...

— А все-таки, дорогая Ольга Дмитриевна, вопрос о матриархате не снимается с повестки дня. Конечно, тот факт, что в той или иной стране на Западе правят королевы, еще не говорит о смягчении нравов, но не в них дело. Ваш семейный матриархат приветствую всей душой, потому что так приятно бывать в доме, где гармония существования достигнута, несмотря на все трудности и случайности быта. А то, что новая молодая девушка, которую зовут, как и вас, Ольга Дмитриевна, смело выбирает себе дорогу в жизни, хорошую и почти наследственную, — она, кажется, ботаник, — это просто замечательно...

Ольга Дмитриевна засмеялась совсем молодым смехом, хотя разговор этот происходил в самые поздние времена. И о матриархате она первая вспомнила — к разговору — и достала старое письмо Горького, которое зазвучало очень современно...

* *

В яркий зимний солнечный день, когда Москва тонула в голубом холодном блеске, когда декабрьское солнце заставляло особенно жарко светиться малые и большие купола кремлевских соборов и крыши дворцов, литераторы, приехавшие со всех концов советской земли, шли в большом возбуждении в Кремль — на открытие Второго Всесоюзного писательского съезда. Со времени Первого съезда прошло двадцать лет. Писательское волнение было вполне оправдано.

Делегаты проходили по широкой лестнице, над которой на огромной картине рубились воины Дмитрия Донского с полчищами Мамая, толпились в белом Георгиевском зале и рассаживались в зале заседаний Большого Кремлевского дворца, где происходило столько исторических, знаменитых выступлений, столько стояло на трибуне замечательных ораторов в самых важных мировых обстоятельствах. Теперь эта трибуна предоставлялась писателям, и все ждали, кто первый появится на ней и откроет своим словом съезд.

И вот настал момент, когда на заднем плане большого, пустого президиума появилось двое людей. Они медленно, не торопясь, почти торжественно приближались к столу президиума. Константин Александрович Федин, как всегда представительный, с плавными и уверенными движениями, почтительно, как бы представляя присутствующим, подвел к столу Ольгу Дмитриевну Форш.

Когда Федин занял свое место возле нее, она встала и начала речь, которую она никогда до этого не думала произносить, так как она никогда не думала, что будет открывать Второй Всесоюзный съезд писателей.

Первый съезд открывал Максим Горький. Теперь по праву старшинства съезд открывала Ольга Дмитриевна Форш. Это было очень хорошо, очень естественно. Перед собравшимися стояла всем известная, любимая, умная

писательница, автор многих популярных книг, которой старейшины поручили вступительную речь.

Но она совсем не была старейшей. Уверенным, звонким, молодым голосом говорила она простые и большие слова о вкладе советских писателей в народную жизнь, о силе нашей литературы, живущей «интересами народа, государственными задачами строительства коммунизма».

Она говорила о многонациональности советской литературы, о том, что «вместе с нами — вся прогрессивная литература мира».

Ее лицо было освещено внутренним огнем, глаза блестели, гордость за то, что ей поручили от имени всех первой сказать слово на таком знаменательном собрании, как бы сливалась с тем чувством высокой писательской ответственности, которое всегда жило в ней, и жаром этого чувства горели ее щеки.

Она как бы являлась примером настоящей значительности, почти суровости писателя, прожившего большую творческую жизнь, служившего родной литературе с беззаветной преданностью.

Ее доброе напутственное слово звучало с такой глубокой искренностью, что все, кто видел ее в эти минуты, не могли не почувствовать к ней благодарности, не могли не найти в себе волнения, потому что это волнение было слиянием со всеобщим волнением всех находившихся в этом зале. Это было сложное чувство писателя, стоящего со своими трудами, своими замыслами, своими ошибками перед народом, перед партией, перед всем миром. И обо всем этом говорила ставшая моложе своих лет старейшая писательница нашей страны.

Старейшины сделали правильный выбор. Ольга Дмитриевна Форш прошла с достоинством тот длинный путь, который начался в сумерках дореволюционной России и привел ее, через труднейший путь испытаний, через просторы неповторимых лет, в этот сверкающий зал, откуда видно на все стороны света.

В этот день я видел ее довольной, искрящейся энергией. Она очень волновалась перед этим выступлением. Ей сначала казалось, что она должна произнести что-то очень официальное, холодное, какое-то казенное слово, которое она не могла никак произнести в силу своего постоянного горячего, душевного отношения к священному делу литературы.

И когда оказалось, что она может говорить, что хочет, памятуя день и событие, она погрузилась в глубокое раздумье, потому что на нее набежало столько воспоминаний, столько родилось мыслей, что выбрать из них самое главное тоже казалось делом не таким легким. Но, будучи всегда сама собой и вспомнив свой собственный длинный, мучительный путь, свое отношение к бедам народным (недавно кончилась страшная война), она отобрала самые нужные, простые, сильные своей простотой слова и написала речь, которая потрясла всех присутствующих.

Мне казалось, что в этот момент ее всесоюзного, такого сердечного многонационального признания проявилась всеобщая, большая, хорошая любовь к ней за все, что она создала за долгие годы своего писательского труда.

А она стояла перед нами как самая молодая по духу и по сердцу. Она, как бы являясь послом от старой, дореволюционной, классической литературы, несла самое живое, самое подлинное ощущение той мудрости, которая дает возможность познать прошлое в его художественном, самом высоком воплощении и говорить о нем новым поколениям как самый горячий, самый вдохновенный молодой современник.

Много раз видел я Ольгу Дмитриевну в самых разных обстоятельствах, но этот день с ее словом съезду был днем особенным, и потому он и запомнился всем особенно ярко.

* *

Я получил от нее письмо из Тярлева, это около г. Пушкина, в июне 1958 года. Она писала, что у нее «очень болит правая рука. Но время идет, рука не проходит... Я собираюсь все лето жить у себя в Тярлеве, рисовать, читать... Дети и внуки мои разлетаются: Тамара с экспедицией на Аральское море, Оля в Осетию в горы, куда ехать по тропе верхом, университет командировал собирать тамошнюю флору. Оля одержима ботаникой. Она вывела таких два кактуса, что они дали неслыханный цвет: 54 громадных, розовых колокола. Снимали их все фотографы за компанию со мной. У нас кругом необычайный цветник фруктовых деревьев, ревень выше роста

большого человека, да еще полтора метра кверху, как желтый веник-цветок. Здоровье неважно, и сердце, и рука, и ноги. Но рисовать могу и счастлива...»

Старость стояла за спиной. На глаза опустилась синяя пелена. Приходилось приучать себя к худшему. Все ее существо, полное запасов какой-то скрытой энергии, протестовало. И пока сознание справлялось со всякими тревогами и ожиданием неизвестного, разум диктовал план новой книги — «Первенцы свободы». Чудо совершилось: врачи оперировали оба глаза, она стала снова видеть краски окружающего мира. И она написала роман и взялась за карандаши, и начала рисовать, как в былые годы.

И в эти самые тяжелые периоды она сохраняла свое удивительное, мудрое, жизнерадостное ощущение продолжающегося бытия.

Я видел ее последний раз зимой 1960—1961 года. В тусклый зимний ленинградский день, когда комнаты кажутся какими-то особо неуютными, пустынными и холодными, и она на мгновение показалась мне усталой, во власти болезненной слабости, делавшей ее обычно оживленное лицо бледным и строго сосредоточенным. Казалось, ей трудно вести разговор.

Она сидела полузакрыв глаза и говорила медленно, очень размеренно, тихо. Постепенно лицо ее становилось теплее, глаза начали блестеть, потом на губах появилась ее умная, тонкая усмешка и речь стала уверенной, громкой, выразительной.

Передо мной была та Ольга Дмитриевна, которую мы знали и любили так давно. Она говорила теперь о книгах и людях со свойственной ей привычной страстностью, она смеялась, шутила, негодовала и восхищалась...

Одна книга осталась недописанной. Она заранее называлась «Живописной автобиографией». Она должна была вместить всю жизнь писательницы. Шесть десятилетий, а то и больше, должны были найти в ней место. В этой книге воспоминания, документы, литературные портреты должны были чередоваться с рисунками самого автора.

Над всеми ее историческими книгами, трудами многих лет жизни, звучит как эпиграф ее собственная фраза: «Словно нравственным долгом стала для меня зада-

ча: воскресить и закрепить для будущего то, что русская история забыть не может и не должна».

Нравственный долг писателя побудил создать много книг, которые каждое новое поколение читателей встречает как добрых друзей, так хорошо говорящих о любви к жизни, к людям, к свободе, к человеческому счастью. Я хочу повторить то, что сказал однажды: «Ольга Дмитриевна Форш — гордость русской советской литературы. Написанные ею книги никогда не устареют, потому что сказанное ей сказано на том художественном языке, которому дано жить долгой и славной жизнью».

Н. Мещерский

СЕМЕЙНОЕ ПРЕДАНИЕ

*

Ольга Дмитриевна Форш — ближайшая родственница нашей семьи, причем родство это двухстороннее: она приходилась двоюродной сестрой моему отцу и была замужем за родным братом моей матери. Ольга Дмитриевна урожденная Комарова. Прежде всего нужно сказать о наших общих с нею предках и в первую очередь о Виссарионе Саввиче Комарове. Виссарион Саввич Комаров был военным инженером, участвовал в Бородинском сражении, после ранений был уволен в почетную отставку и служил начальником Белорусского почтового тракта, связывавшего в первой половине XIX века Петербург с Украиной через белорусские земли. По этому тракту многократно проезжали в бытность моего прадеда начальником и Пушкин, и Гоголь, и Шевченко.

Виссарион Саввич был отцом многочисленнейшего семейства: у него вырастало 17 детей. 3 дочери было от первой жены, урожденной Богданович; 7 сыновей и 7 дочерей от второй — Феодосии Леонтьевны Доливо-Добровольской (отсюда четверть украинской крови в Ольге Дмитриевне, о чем она нередко напоминала).

Бабка Федосья Доливо (так она названа в повести «Сумасшедший корабль») была героическая женщина: в 15 лет она стала женою уже немолодого вдовца и самоотверженно воспитала все его потомство. Из семи сыновей Виссариона Саввича пятеро стали впоследствии генералами, двое не дожили до производства в высокий чин: один, Владимир, погиб поручиком в Севастополе, другой, Леонтий, умер молодым полковником генерального штаба. Моя бабушка была одной из десяти дочерей Виссариона Саввича.

Из числа ее братьев наиболее прославился Александр Виссарионович, завоеватель Кушки, преданный за это военному суду. Александр Виссарионович был вынужден выйти в отставку и стал видным ученым — археологом и нумизматом. Отец Ольги Дмитриевны, Дмитрий Виссарионович — боевой командир, всю жизнь служил на Кавказе, много содействуя замирению этого края. Последний его чин — генерал-лейтенант. Женился он на уроженке Тифлиса Нине Шахэтдиновой, азербайджанке по фамилии, грузинке по имени и армянке по религии. Мать умерла, когда Ольге Дмитриевне не исполнилось и трех лет. Родственниками со стороны матери Ольге Дмитриевне приходятся известный естествоиспытатель-философ Павел Александрович Флоренский и ныне здравствующий Ираклий Луарсабович Андроников.

Двоюродным братом Ольге Дмитриевне со стороны ее отца был и ставший затем президентом Академии наук СССР Владимир Леонтьевич Комаров, сын рано умершего Леонтия Виссарионовича. Оля Комарова, оставшаяся круглой сиротой в 8 лет, получила воспитание в Николаевском сиротском институте в Москве, в том здании, где ныне Дворец Труда.

Мой отец, Александр Павлович Мещерский, хотя и был ей лишь двоюродным братом, стал ей особенно близок именно в годы учения в институте. Ее многочисленные родные братья учились в закрытых кадетских корпусах по различным городам и поэтому могли навещать сиротку-сестру только изредка. Отец же мой, в те годы проходивший специальные высшие агрономические курсы при Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии (ныне Тимирязевской), мог бывать у своей юной кузины постоянно. И когда в 1891 году

Ольга Дмитриевна окончила институт, она поехала к моему отцу в старое комаровское гнездо Долгушку, где отец в то время, будучи учеником и последователем известного писателя-народника Александра Николаевича Энгельгардта, организовывал культурное сельское хозяйство. Незадолго до этого появилась и первая книга моего отца — «Письма деревенского хозяина».

В Долгушке Ольга Дмитриевна провела более года. Впечатления, воспринятые ею тогда в заброшенной белорусской деревне, отразились в позднейшие годы в ее художественном творчестве, например песня крестьян-«волочебников», ходивших «со славою» по деревням в весенние праздники: «Волоцебницки волоцилися, по студеной воде промоцилися». Из Долгушки уже в 1892 году Ольга Дмитриевна, следуя призыву Л. Н. Толстого, отправляется «на голод»: участвует в организации бесплатных общественных столовых для голодавших крестьян Рязанской губернии.

В 1893 году Ольга Дмитриевна попадает в Петербург и здесь начинает учиться живописи в студии академика Павла Петровича Чистякова. Со своим будущим мужем и его родными Ольга Дмитриевна впервые встретилась 5 февраля 1894 года на свадьбе Эдуарда Эдуардовича Форша с Верой Измайловной Срезневской, младшей дочерью прославленного академика, филолога-слависта. Комаровы находились в свойстве со Срезневскими, и поэтому и Ольга Дмитриевна и мой отец оказались в числе приглашенных на свадьбу со стороны невесты. Здесь и завязалось знакомство Ольги Дмитриевны с ее будущим мужем, тогда поручиком саперного батальона, двадцатисемилетним Борисом Эдуардовичем Форшем.

Несколько слов о Борисе Эдуардовиче и его семье. Он был вторым сыном генерала Эдуарда Ивановича Форша. Эдуард Иванович происходил из интернациональной петербургской семьи, учился он в Инженерном училище почти в те же годы, что и братья Достоевские и братья Тотлебены. Имя Эдуарда Ивановича Форша записано на золотых досках в двух военных академиях: Инженерной и Генерального штаба. В последние годы своей службы Эдуард Иванович, видный ученый-геодезист, занимал пост начальника геодезического управления главного штаба и шефа корпуса военных топографов. Борис Эдуардович мечтал последовать военно-ученому призва-

нию своего отца. Учился Борис Эдуардович в Филологической гимназии, рядом с университетом, затем кончил Инженерное училище. Однако, еще находясь в гимназии, он перенес тяжелую мозговую травму: в школьнической возне его столкнули с высокой лестницы, он больно ударился головой о каменные ступени, получил сильное сотрясение мозга и с тех пор стал страдать мозговыми припадками, особенно мучившими его во время экзаменов. Из-за этой болезни он и не смог держать экзамены в Инженерную академию и вынужден был выйти офицером в армейский саперный батальон, проходя службу по большей части в тогдашних пограничных военных округах: в Остроленко, в Варшаве, в Киеве. Дядя Борис Эдуардович всегда был человеком немного «не от мира сего». Своей военной службой он тяготился. Зато был незаурядным поэтом-переводчиком. В те годы нередко появлялись в печати талантливые его переводы преимущественно детских стихов немецкого поэта Вильгельма Буша и других. В 1904 году он вышел в отставку, предвидя, что киевский саперный батальон может быть двинут царским правительством против массовых революционных выступлений народа. С тех пор он занимался разной малооплачиваемой частной службой, и семья их жила далеко не богато. В 1914 году Борис Эдуардович был призван в действующую армию в чине подполковника и провел всю первую мировую войну на фронте. После Великой Октябрьской революции он становится одним из первых организаторов военно-инженерной службы в Красной Армии. Погиб он в Киеве в начале 1920 года от сыпного тифа, оставив после себя мастерски выполненный стихотворный перевод обеих частей гетевского Фауста, затерянный во фронтовых неурядицах гражданской войны.

Мои родители впервые встретились друг с другом в тот же день, 5 февраля 1894 года, однако женился мой отец на Ольге Эдуардовне Форш, кстати сказать тоже учившейся рисунку и живописи у П. П. Чистякова, лишь 11 лет спустя, в 1905 году. И наша семья тогда составила в сущности одну семью с семьей Форшей. Ольгу Дмитриевну, тетю Олечку, как мы ее называли, я начинаю помнить с того же времени, как помню самого себя. Сохранилась выцветшая любительская фотография от лета 1906 года. На ней изображена Ольга Дмитриевна со

мною в возрасте 7 месяцев и моим двоюродным братом Дмитрием Борисовичем, Димой, который был старше меня на 16 месяцев. Мы сидим все трое на садовой скамейке в сельце Логи, Смоленской губернии, где мы все тогда жили.

Мне запомнилась припевка, которою тетя Олечка забавляла Диму: «Дима — кот, Дима — крот, Дима — толстый бегемот». Хорошо помню я и сказки, которые тетя Олечка, импровизируя, рассказывала мне и моим сестрам. К сожалению, лишь немногие из этих сказок потом были ею обработаны и напечатаны.

А вот еще отрывочное воспоминание, относящееся к 1914 году: Ольга Дмитриевна в нашей петроградской квартире расположилась, скрестивши ноги по-восточному, на широкой тахте в гостиной и философствует. В память мне врезалась фраза, произнесенная с неповторимой интонацией: «Что такое добро? Что такое зло?»

Осенью 1915 года меня из смоленской деревни привезли в Петроград для поступления в первый класс гимназии (немецкой Катариненшуле). Остальные домашние продолжали еще жить в деревне. Я поселился один у нашей тети Мальвины Эдуардовны Форш (сотрудницы Библиотеки Академии наук). Горестно переживая разлуку с близкими и непривычную обстановку, я целые дни тосковал и плакал. И вот как-то заходит Ольга Дмитриевна и, увидя меня, говорит: «Ну как не стыдно плакать! Вот у меня дядю Борю на войну взяли, а я ведь не плачу!»

И мне действительно стало стыдно, и я замолчал.

Особенно хорошо помню я встречи с Ольгой Дмитриевной в 1921—1929 годах, когда я кончал среднюю школу, а затем учился в университете и проходил филологическую аспирантуру. В 1921—1924 годах Ольга Дмитриевна жила в Доме искусств на углу Невского проспекта и Мойки, описанном ею в «Сумасшедшем корабле». Комната, которую она занимала с сыном Димой, помещалась на четвертом этаже с окнами на самый угол Невского. Когда смотришь из окна, кажется, что тротуар Невского под самыми твоими ногами. Комната была абсолютно круглой, и в ней не было ни одного угла, — некуда было бы ставить провинившихся, если бы таковые нашлись. Напротив, у моста, виднелся ке-

росиновый ларек, около которого нередко выстраивались очереди.

В эти годы Ольга Дмитриевна работала над романом «Одеты камнем». Естественно, в наших разговорах преобладали историко-революционные темы. Ольгу Дмитриевну постоянно навещали как другие обитатели «Сумасшедшего корабля», так и литераторы, жившие в городе. Помню встречи с Ивановым-Разумником, Корнеем Ивановичем Чуковским, поэтом и переводчиком Юрием Вадимовичем Верховским, с ныне здравствующим поэтом Надеждой Александровной Павлович, с художницей Щекотихиной, невестой Ивана Яковлевича Билибина. Невеста собиралась тогда ехать к жениху в Каир, где тот в те годы расписывал дворец египетского хедива Фуада.

В 1925 году Ольга Дмитриевна переехала на Литейный, дом 9. Там писались «Современники». Оттуда Ольга Дмитриевна Форш уезжала в 1927 году в заграничное путешествие. Помню, как, вернувшись из Европы, она с неподдельной живостью передавала свои свежие впечатления, затем отраженные ею в книге очерков «Под куполом». Ольга Дмитриевна неизменно дарила мне в те годы первоиздания своих книг с автографами. Несказанно жаль, что в дальнейших перекрестах судьбы эти дорогие для меня подарки погибли. Нередко случалось присутствовать при чтении и обсуждении произведений Ольги Дмитриевны, например пьесы «Равви» в Вольфиле, пьесы «Причальная мачта» в помещении Военно-политической академии имени Толмачева на Тучковой набережной и других.

В 1932 году мне пришлось по не зависевшим от меня обстоятельствам на несколько долгих десятилетий расстаться с Ленинградом. Я смог бывать в нашем городе лишь очень редко, кратковременными наездами. И столь же редкими стали наши встречи с Ольгой Дмитриевной. Жила она тогда уже в квартире на канале Грибоедова. Здесь шла работа над «Радищевым», над «Михайловским замком», над «Первенцами свободы». И снова, как и раньше, в самые трудные и тяжелые моменты жизни я встречал и ощущал столь же действенную поддержку и помощь со стороны Ольги Дмитриевны.

Помню, что зимою 1951 года мне посчастливилось сопровождать Ольгу Дмитриевну в Кировский театр (она

была тонкий знаток и ценитель балета) на спектакль «Медный всадник». Последняя наша встреча состоялась уже незадолго до ее смерти, осенью 1961 года. Я присутствовал при последнем свидании Ольги Дмитриевны с моей матерью, с которою она всю жизнь хранила завязавшуюся между ними еще в юности искреннюю, тесную дружбу.

Ольга Дмитриевна прожила долгую и славную жизнь. И вся жизнь ее была неразрывным звеном в смене поколений, в ходе истории создававших великую культуру нашей Родины, прославлению которой был отдан весь талант, все самоотверженное и самозабвенное творчество неустанной труженицы в искусстве слова.

А. Орлов

ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА ФОРШ — МОЯ УЧИТЕЛЬНИЦА В ЦАРСКОМ СЕЛЕ



Скажите: «Царское Село» —
И улыбнемся мы сквозь слезы.

Иннокентий Анненский

1

Ольга Дмитриевна Форш была моей любимой учительницей в пору раннего детства. Это было более чем полстолетия тому назад в тогдашнем Царском Селе (ныне город Пушкин), в 1910—1911 годах.

Моего отца, Владимира Ивановича, пригласил в 1899 году на педагогическую работу в Царскосельскую мужскую гимназию тогдашний ее директор Иннокентий Федорович Анненский — известный ученый-филолог, прогрессивный педагог, критик, драматург и лирический поэт.

Первым значительным, хотя и смутным воспоминанием моего детства была смерть Иннокентия Федоровича Анненского в 1909 году. На его многолюдные похороны в Царском Селе мы пошли всей семьей. Мой отец был близок с И. Ф. Анненским по педагогической работе и по научным и литературным интересам. Разумеется, сам я был слишком еще мал, чтобы сохранить в памяти живой образ Иннокентия Анненского: мне ведь было всего около шести лет, когда он, возвращаясь с лекции, скоропостижно скончался на Царскосельском вокзале в Петербурге. Однако помню взволнованный разговор об этом событии в нашей семье.

Сложившееся у меня с детства представление о многогранном благородном облике И. Ф. Анненского я воспринял от своих отца и матери. А они знали этого даровитого и прекрасного человека близко и были знакомы с его семьей. И. Ф. Анненский был приверженцем идеи женского равноправия. При его содействии и сообразуясь с его советами, Е. С. Левицкая и учредила в Царском Селе первую в России частную среднюю школу с совместным обучением и воспитанием мальчиков и девочек.

Подбор преподавателей, производившийся моим отцом, был в школе Левицкой исключительный. Например, ряд лет там преподавал литературу известный впоследствии советский литературовед, а тогда еще молодой ученый Владислав Евгеньевич Евгеньев-Максимов. Физику и химию вел Николай Сергеевич Золин, впоследствии научный сотрудник Нижегородской исследовательской радиолаборатории. Латинистом был крупный археолог Роман Христианович Лепер. Гимнастику преподавал чех, видный деятель славянского антигабсбургского «сокольского» движения Роберт Иванович Тодт. Другие предметы вели лучшие учителя Петербурга и Царского Села. Учебной частью заведовал мой отец. Преподавательницей рисования в школе Левицкой работала О. Д. Форш.

Положительный опыт этой наиболее прогрессивной из дореволюционных средних школ не пропал даром для советской школы, хотя об этом мало кому известно. Многое из него было использовано при советской реформе школьного образования, то есть при разработке Положения о советской единой трудовой школе, в которой участвовали О. Д. Форш и мой отец.

В педагогической среде, питаемой передовыми для своего времени идеями, жила и работала в Царском Селе Ольга Форш.

Думается, что работа в учительском коллективе школы Левицкой не могла не оказать влияния на формирование и развитие педагогического мастерства и педагогических воззрений Ольги Форш. Известно ведь, что сама Ольга Форш в детстве воспитывалась в совсем иных условиях, сменив свободу горного Гуниба на казенные стены Николаевского сиротского института в Москве, — у нее был масштаб для сравнения.

Говоря об этом, нужно снова обратиться к И. Ф. Анненскому, ибо под влиянием гуманистического духа его

идей находился педагогический мир тогдашнего Царского Села, к которому принадлежала в то время и Ольга Форш. Нельзя не отметить в этой связи и широты взглядов И. Ф. Анненского на общекультурные задачи школьного образования и на роль эстетического воспитания учащихся. Мне представляется, что и здесь налицо была идейная близость между Иннокентием Анненским и Ольгой Форш.

И. Ф. Анненский был председателем организационного комитета школы Левицкой и, можно сказать, ее добрым гением. Это ярче всего показывает, какие передовые позиции он занимал в русской педагогике начала XX века. И. Ф. Анненский внес большой вклад в разработку и развитие принципов школы Левицкой и ее учебного плана, включавших широкие гуманитарные основы наряду с сильно выраженным «реальным» элементом в образовательной подготовке. Интересно, между прочим, отметить, что в школе Левицкой было уделено место не только изобразительному искусству. Там уже со второго класса преподавалось, как отдельный предмет, «выразительное чтение».

Литературоведам лучше судить, оказал ли Иннокентий Анненский какое-либо литературное влияние на формирование писательницы Ольги Форш. Лично мне неизвестно доподлинно, встречалась ли Ольга Дмитриевна с И. Ф. Анненским при его жизни. Предполагаю, что встречалась. Но то, что Ольга Форш бывала в его семье, — факт совершенно достоверный. Ольгу Дмитриевну Форш я впервые увидел в Царском Селе именно в семье И. Ф. Анненского, где с нею познакомилась моя мать. Тогда же мой отец пригласил Ольгу Дмитриевну преподавать рисование в школе Левицкой. По совету Ольги Дмитриевны моя мать определила меня в тот детский сад, о котором я расскажу дальше.

В сознании наиболее культурной части обитателей тогдашнего Царского Села Иннокентий Анненский оставил неизгладимый светлый след на фоне непроглядного мрака столыпинской реакции. В И. Ф. Анненском видели опального носителя прогрессивных педагогических идей, человека высокой духовной культуры и благородных моральных принципов, активного сторонника женского равноправия и изысканного художника, человека, непримиримого

римо осудившего русскую действительность того времени. Думается, что в этом смысле несомненно протянулась какая-то ниточка от И. Ф. Анненского и к Ольге Форш.

2

Одновременно с работой в школе Левицкой О. Д. Форш вела рисование и лепку в детском саду Л. А. Пушкаревой. Это учреждение называлось: «Детский сад и приготовительная школа». Она строилась на педагогических принципах так называемой «школы действия». Учредительницей и заведующей была Любовь Алексеевна Пушкарева-Мальцева.

Этот детский сад помещался сначала в деревянном доме № 17 по Колпинской улице (ныне Пушкинская ул., дом не сохранился). Затем Л. А. Пушкарева перевела его на Госпитальную улицу в дом № 13 (ныне улица Пролеткульта, дом № 17). Это был трехэтажный каменный дом. Он цел и сейчас, и над ним недавно надстроен четвертый этаж. Надо надеяться, что со временем на этом доме будет установлена мемориальная доска с именем О. Д. Форш. Тогда этот дом принадлежал домовладельцу Селиверстову, у которого Л. А. Пушкарева снимала под свое детское учреждение большую квартиру из нескольких просторных комнат на одном из верхних этажей (кажется, на третьем). Вход был с улицы, но он сейчас заложен кирпичом. Впоследствии Л. А. Пушкарева передала свой детский сад и приготовительную школу Ольге Васильевне Бобылевой — жене царскосельского педагога Владимира Николаевича Бобылева. Не знаю, продолжала ли О. Д. Форш там работать и при Бобылевой.

Признаться, мне неизвестно, какую плату взимала Л. А. Пушкарева за пребывание детей в ее детском саду. Социальный состав учащихся был, как я теперь вспоминаю, довольно пестрый. Преобладали дети служащих-разночинцев. Некоторых детей, учившихся со мной в детском саду, я помню и до сих пор, хотя последующая судьба их мне неизвестна. Помню Левушку — сына репрессированного царским правительством литератора-критика Р. В. Иванова-Разумника, Тоню Глазунову — дочку бухгалтера и, кажется, родственницу известного композитора, Яшу Беленького — кажется, сына комис-

сионера, Катю (фамилию забыл) — дочь вокзального буфетчика или официанта. В этом же детском саду учился и сын Ольги Дмитриевны — Дима. Во всяком случае, там не было детей титулованной и нетитулованной знати. Судя по такому социальному составу, а также и по тому, что плата была доступна для моих родителей, — вероятно, она была не слишком высокой.

Больше всего мы, дети, полюбили уроки Ольги Дмитриевны. Это было необычайно интересно и увлекательно.

Откровенно говоря, сначала я дичился и боялся Ольги Дмитриевны. Как это ни странно, причиной тут была ее внешность. Всем известно, у О. Д. Форш была внешность южанки, ярко выраженный восточный тип, указывавший на ее армянское происхождение со стороны матери. У Ольги Дмитриевны были черные волосы, темные глаза и смуглый цвет лица. Мне еще в доме Анненских она показалась похожей на цыганку. А гораздо раньше, когда я был совсем маленьким и плакал, моя няня «непедагогично» стращала меня то трубочистом, то татарином с мешком, то цыганкой. Все эти «страшные» персонажи, которым она сулила меня отдать, были мне продемонстрированы неоднократно, и я их запомнил. Короче говоря, к цыганкам я испытывал почтительный страх. Со следами такого представления о цыганках я и пришел в детский сад. А тут вдруг учительница, показавшаяся мне похожей на цыганку! Но этот страх быстро рассеялся, так как учительница оказалась доброй, веселой и ласковой. Она рассказывала, читала и показывала нам массу новых и занимательных вещей.

Ольга Дмитриевна занималась с нами рисованием и лепкой.

Вспоминая и анализируя теперь содержание занятий, которые она проводила, я — сын учителя и учительницы и сам преподаватель высшей медицинской школы — поражаюсь и восхищаюсь оригинальностью ее методических приемов, ее педагогическим талантом и мастерством. Впоследствии, уже в мои школьные годы, мне приходилось сталкиваться с преподавателями рисования — сухими педантами. Выставит тебе какой-нибудь гипсовый орнамент или геометрическую фигуру из белого картона. Сиди и рисуй! Подойдет, взглянет с недовольным видом, поправит, покажет, как штриховать ка-

рандашом, и перейдет к другому ученику. Вот и вся методика.

У Ольги Дмитриевны было совсем иначе. В сущности, уроки О. Д. Форш, как я теперь заключаю, были не только уроками лепки и рисования, но и первыми уроками литературы. Она первая нам привила любовь к Пушкину. Она рассказывала нам, что Пушкин рос и учился здесь же, в Царском Селе. Ходила с нами к лицею и памятнику Пушкина, затем к статуе молочницы с разбитым кувшином. Читала нам вслух отрывки из «Руслана и Людмилы». Мы повторяли наизусть: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том...» Казалось, что сказочное лукоморье — это озеро в нашем любимом парке, что это наш царскосельский дуб.

Ольга Дмитриевна читала нам сказки Пушкина. А потом пушкинские образы, которые она вызывала в детском сознании, должны были детскими ручонками воплощаться в скульптурные изображения из глины. Она научила нас месить и формировать эту чудесную голубовато-зеленую, жирно блестевшую царскосельскую глину и показала, как работать деревянным инструментом, который назывался «стек».

Создавались скульптурные иллюстрации к «Руслану и Людмиле» и «Сказке о рыбаке и рыбке». Глиняные фигурки потом мы раскрашивали красками. Чтобы изобразить море, мы, по совету Ольги Дмитриевны, использовали стекло, синюю краску и фольгу. Из фольги же сооружался шлем и щит Руслана.

Пушкин, как добрый знакомый, первым входил в открытую Ольгой Форш дверь внутреннего мира русского ребенка.

Наряду с этим Ольга Дмитриевна обращалась на своих уроках и к западноевропейскому литературному материалу, приобщая тем самым своих маленьких учеников к мировой культуре. Она нам читала сказку Андерсена, и мы лепили Щелкунчика.

Помню, как Ольга Дмитриевна читала еще какую-то сказочку о кухонном человечке. Мы не знали тогда, что она сама ее сочинила. Этого человечка звали Духовик. У него вместо головы была луковка, а вместо ног — две макаронинки. Скандируя, читала она нам о том, как в отсутствие людей Духовик устраивает в кухне пляску. Там пускаются в пляс ложки и поварешки, отплясывает пет-

рушка с сельдерюшкой, пляшут красные морковки. Потом она раскладывала перед нами луковки и макарошинки, морковки, петрушку и сельдерей, принесенные ею с собой, и учила нас рисовать их цветными карандашами, а сама набрасывала нам смешной портрет кухонного человечка. Литературный образ сказки становился зримым и осязаемым.

Иногда же она предлагала нам рисовать, что кому хочется, так сказать, фантазировать на вольную тему, изображать по памяти предметы окружающего мира в наивных детских композициях.

Мы рисовали деревья и домики, детей и птичек, белочек, лошадок, собачек, кошечек. Однажды, помню, она откуда-то принесла, к несказанному нашему восторгу, живых маленьких «зайчиков». Кажется, это были крольчата. Это тоже была тема для рисования и лепки.

В моих детских рисунках на произвольную тему на уроках О. Д. Форш я почему-то больше всего любил рисовать паровозы. Вероятно, потому, что по пути в детский сад мы с матерью ежедневно пересекали железную дорогу и я видел на станции маневровый паровоз.

Ольга Дмитриевна будила у детей любовь к красоте родной природы. Мы собирали на бульваре желуди под кронами царскосельских дубов и опавшую осеннюю листву в пушкинских парках. Золото листьев липы, багрянец зубчатой листвы кленов, изящные контуры крепкого блестящего желудя, сидящего в матовой чашечке, мы старались передать на бумаге цветными карандашами и акварелью. А иногда Ольга Дмитриевна приносила садовые цветы, которые любила — орхидеи, астры, георгины, — или румяные яблоки и золотистые груши и учила нас отображать в наших детских натюрмортах волшебные краски щедрой природы.

Теперь детское изобразительное искусство стало предметом большого внимания, особенно у нас в Советском Союзе, а также в Индии, Японии и других зарубежных странах. Организован международный обмен выставками детского наивного рисунка. Маленьким художникам присуждают даже премии. А в то время развитие массового детского изобразительного искусства было еще в зародыше. Можно смело сказать, что Ольга Дмитриевна Форш была одной из зачинательниц в этом прекрасном

явлении человеческой культуры, одним из пионеров детского изобразительного искусства.

Интересно вспомнить, что, по свидетельству самой О. Д. Форш, в пору ее собственного детства рисунки зверей органически входили в текст ее «зашифрованных» детских дневников. Она пишет об этом в автобиографических «Днях моей жизни». Как видно, уже тогда зародилось то содружество между словесным и изобразительным искусствами, которое было потом характерно для ее педагогического подхода.

Особенно значительной представляется мне теперь одна тема, которая была привлечена Ольгой Дмитриевной в ее занятиях с нами в детском саду. Она оставила у меня исключительно яркое воспоминание. Это тема географическая, этнографическая и вместе с тем высоко героическая. В ней соединился элемент познавательный с элементом глубоко эмоциональным. Такой темой явилось путешествие Фритьофа Нансена на знаменитом «Фраме» во льды Арктики.

Много лет спустя мне довелось трижды в моей жизни плавать, в качестве пассажира, на морских транспортах по Белому, Баренцеву и Карскому морям Великим северным морским путем (в 1939, 1947 и 1955 годах). Часть этих рейсов всякий раз проходила во льдах под проводкой мощных арктических ледоколов. И эта картина всегда воскрешала у меня в памяти детство, Ольгу Дмитриевну, от которой я впервые в жизни услышал о Северном Ледовитом океане и о мужественном арктическом мореплавателе — Фритьофе Нансене.

С большим подъемом Ольга Дмитриевна пересказывала нам, детям, увлекательную повесть о мирном подвиге отважного норвежского ученого-гуманиста, готового пожертвовать собой во имя науки, на благо людей. Она рассказала нам и о храбрых русских поморах — предках Ломоносова, ходивших на своих кораблях по Студеному морю промышлять морского зверя. Показывала на картинках то, о чем читала и рассказывала. Белые медведи, моржи, северные олени, упряжные собаки, ледяные торосы, Нансен и его корабль, северные люди — эскимосы и, как их тогда называли, самоеды (ненцы), их жилища — чумы. Это было захватывающе интересно и поражало детское воображение своей непохожестью на знакомую окружающую нас обстановку.

Простыми, понятными для ее маленьких слушателей словами Ольга Дмитриевна объясняла нам, что не только на войне люди совершали подвиги (о войне мы уже слышали, видели каждодневно солдат и, к сожалению, увлекались оловянными солдатиками и другими военными игрушками). На примере Нансена она говорила нам о подвиге на мирном поприще, ради познания неизведанных и труднодоступных пространств моря и суши. Благородный образ Фритьофа Нансена, воспринятый из уст О. Д. Форш в раннем моем детстве, запечатлелся у меня в сознании с тех пор на всю жизнь.

Едва ли случайно выбрала она этого героя. Скорее всего она сама была увлечена тогда его образом. Не собиралась ли она писать о Нансене? Ведь Ольгу Форш — писательницу всегда привлекали и волновали мужественные и человечные исторические образы людей, шедших на подвиг, страстно боровшихся за высокие общественные идеалы и за осуществление созидательной мечты о прекрасном, живом и вечном. Таковы ведь Радищев, Бейдеман, «первенцы свободы» — декабристы, Баженов и другие герои ее произведений.

И опять, как бы отталкиваясь от литературного образа, Ольга Дмитриевна переходила со своими маленькими учениками к созданию в глине скульптурных групп, иллюстрирующих рассказанное. Мы лепили Нансена и его «Фрам», лепили эскимосов, их чумы и лодки, ездовых собак и северных оленей.

Запомнилась мне при этом любопытная деталь, характеризующая изобретательность и наблюдательность О. Д. Форш как художницы. В то время часто бывали в продаже поступавшие с юга съедобные каштаны. Ольге Дмитриевне, родившейся на Кавказе, они, вероятно, еще с детства были хорошо знакомы. Известно, что у кожуры каштана внутренняя поверхность пушистая, похожая на короткошерстый коричневый мех. Вот Ольга Дмитриевна и придумала использовать вывернутую наизнанку кожуру каштана для того, чтобы одевать глиняные фигурки в одежду из меха северного оленя. Получалось очень здорово! Иллюзия меховой одежды с капюшонами была полная. А снег заменяла кристаллическая борная кислота.

Ольга Дмитриевна была внимательна и общительна со своими маленькими учениками и вне урока. На уро-

ке танцев, при обучении всяким танцевальным па, шассе, глиссе, первой, второй и третьей позициям, учительница, толстенькая и очень живая отставная артистка балета (кажется, ее звали Клавдия Николаевна, а фамилии не помню), обучала нас и поклонам. Девочки должны были приседать в реверансе, а мальчики кланяться одной головой и «шаркать ножкой». Так вот, это «шарканье» я усвоил в каком-то карикатурно преувеличенном виде. Очень энергично и быстро взмахивал ногой в сторону, чуть ли не под прямым углом. Ольга Дмитриевна заметила этот мой комичный «акробатический» прием, которым я стал здороваться. Она весело смеялась, рассказывая об этом моей матери, и уверяла, что ей «уж очень нравится, как Алеша шаркает ножкой». Она это изобразила наглядно указательным и средним пальцами своей руки. Но рассказано это было без всякой насмешки, а очень добродушно, и я не обиделся на Ольгу Дмитриевну нисколько. Мне и самому стало смешно, и я постарался избавиться от этой неуклюжей манеры здороваться со старшими. Почему-то мне запомнился этот незначительный, но забавный эпизод моего детства, связанный с Ольгой Дмитриевной.

В 1911 году осенью меня отдали в младший приготовительный класс школы Левицкой. В школьные годы мне уже не привелось учиться у Ольги Дмитриевны. В приготовительных классах этой школы она не преподавала, а затем по каким-то причинам и вовсе оставила работу в школе Левицкой.

Спустя много лет мне, уже в бытность мою слушателем Военно-медицинской академии в Ленинграде, посчастливилось вновь увидеть и услышать мою первую учительницу, Ольгу Дмитриевну, когда она стала выдающимся мастером исторической прозы. Вспоминается публичный литературный вечер в переполненном студенческой молодежью зале Академической капеллы в 1928 году. На трибуне поэты и прозаики: Николай Тихонов, Николай Браун, Алексей Толстой, Константин Федин, Вениамин Каверин. Среди них Ольга Форш.

Один за другим выступали писатели с авторским чтением своих произведений. Ольга Дмитриевна прочла тогда отрывок из романа «Одеты камнем». Казалось мне, что голос ее звучал так же молодо, как и в ту давнюю пору моего царскосельского детства.

О. Мейер-Чистякова

«БЫТЬ ПИСАТЕЛЕМ — ВОТ ЭТО ВАШЕ ПРИЗВАНИЕ»



Наше первое знакомство состоялось в квартире профессора П. П. Чистякова, после скоропостижной смерти моих родителей заменившего мне отца, у которого она брала уроки рисования, и я запомнила подвижную, худенькую девушку с чудесными сияющими глазами и волной пушистых волос надо лбом. Ольгу же Дмитриевну, по ее словам, «поразила грустная фигурка маленькой девочки в траурном платье, из-под которого наивно выглядывали кружевца, стоящая в дверях мастерской», напомнившая ей собственное тяжелое детство, и она стала относиться ко мне с особенной внимательностью. Даже придумала ласкательное имя Микрокок. Вскоре я получила от «неизвестного лица» чудесную куклу с полным приданым.

О. Д. Форш, как разносторонне, богато одаренная натура, не сразу осознала и проявила себя как писательница. Она довольно долгое время полагала, что ее призвание — живопись. Мечтала стать художницей. Уроки рисования и живописи ей давал П. П. Чистяков, выдающийся художник и замечательный педагог, под руковод-

ством которого воспитывались наши русские художники-мастера, как например Васнецов, Врубель, Поленов, Репин, Серов, Савицкий, Суриков и др. Несмотря на сильную близорукость, Ольга Дмитриевна делала быстрые успехи и довольно скоро настолько овладела карандашом и кистью, что одно время успешно преподавала рисование в частных школах г. Пушкина (Царского Села). Она овладела также искусством выжигания по дереву.

Однако ни от ее собственных занятий живописью, ни от даваемых ею уроков удовлетворения она не получала. Ее неудержимо влекло писать, писать... Небольшие вещицы, созданные ею, охотно стали печатать в журналах. Одним из первых ее опытов был маленький рассказ «Черешня» — отчасти автобиографического характера. Кстати, нужно сказать, что, еще будучи учащимся-подростком, Ольга Дмитриевна нередко выручала своих сверстниц, удачно помогая им в их письменных работах. А позже, уже взрослой, казалось, ей ничего не стоило увлечь детей, а подчас и старших тут же экспромтом сочиненной ею занятной историей или сказкой. Ольга Дмитриевна не на шутку увлекалась также и театром. С большим успехом участвовала в любительских спектаклях. Видевшие ее талантливую игру советовали ей серьезно подумать о сцене. Домашние же и знакомые все эти ее занятия считали очередным увлечением, баловством, и только наблюдательный Павел Петрович Чистяков, с семьей которого она в то время уже сблизилась, когда Ольга Дмитриевна пришла как-то к нему на дачу (сама она тогда жила в деревне Липицы) прочесть свою повесть «Богдан Суховской» и некоторые из уже напечатанных ее рассказов, прослушав, очень одобрил их и с присущей ему прозорливостью сказал: «Быть писателем — вот *это* ваше призвание». И, как мы видим, он указал ей правильный путь.

Первым историческим романом Ольги Дмитриевны Форш был «Одеты камнем». Написанию его предшествовало ее личное тяжелое переживание. Она овдовела. Все заботы о семье легли на нее одну. Жила Ольга Дмитриевна тогда в Киеве. Ходила с сыном на поденку собирать малину, копать картошку. Начало двадцатых годов, нэп, Ольга Дмитриевна снова в Ленинграде. Условия для работы чрезвычайно тяжелые. Квартира холодная, непри-

ютная. Полуголодное существование. А она настойчиво трудится день за днем, пишет свою замечательную книгу... Урвав свободный час, она шла в казематы Петропавловской крепости, внимательно осматривала камеру за камерой, изучала каждую царапину на стене, каждую выбоину в полу, дышала тем воздухом, каким дышали заключенные в крепости, жила их жизнью... «У меня была просто одержимость крепостью», — пишет она в автобиографии. Только так и могла быть создана эта вдохновенная книга, фундаментом которой послужила лишь небольшая брошюра о Бейдемане, узнике Алексеевского равелина, изданная в «Былом».

Теперь позволю себе остановиться на тех условиях, в которых Ольга Дмитриевна писала две последние свои книги — «Михайловский замок» и «Первенцы свободы». После окончания Отечественной войны Ольга Дмитриевна Форш вернулась из эвакуации в Ленинград с сильно пошатнувшимся здоровьем: неправильный обмен, бронхиальная астма, воспаление нервных корешков, ревматические и подагрические боли и судороги в ногах, так что временами она совсем не могла ходить, тромбофлебит, а главное — катаракта обоих глаз. Она постепенно слепла. К этому времени ей стал необходим секретарь, и она предложила мне работать у нее. Таким образом я проработала с 1946 по 1954 год.

Кончала Ольга Дмитриевна «Михайловский замок» в то время, когда один глаз у нее уже ничего не видел, а другим она хоть немного и видела, но туманно, расплывчато, и при напряжении он быстро утомлялся и болел. Ей приходилось писать, как говорится, «на ощупь», и она старалась не терять ни одной минуты, работала с какой-то отчаянной, страстной энергией, спеша закончить свою работу до операции — снятия катаракты с ослепшего глаза. И «Михайловский замок» был закончен точно в самой себе ею назначенный срок.

Ольга Дмитриевна ложится в глазную клинику при больнице им. Мечникова. По ее просьбе — иметь при себе своего человека — в маленькую отдельную палату ставят вторую койку, и я с дочерью Ольги Дмитриевны, Т. Б. Форш-Меншуткиной, поочередно дежурим при больной. Врачи не ручаются за благоприятный исход, и все же Ольга Дмитриевна решается на операцию. К счастью, операция — удаление хрусталика из пораженного гла-

за — проходит прекрасно. Оперирует профессор Тихомиров. Назревает время для операции другого глаза. Прежде же оперированным надо пользоваться очень осторожно. Сразу очков надевать нельзя, а по их выписке рецепты несколько раз меняются. Между тем Ольга Дмитриевна Форш опять усиленно работает. Теперь уже над другим своим историческим романом — «Первенцы свободы». На операцию второго глаза врачи долго не соглашаются: возраст больной, сильная близорукость, при которой такая операция слишком рискованна. Боятся риска, почти уверены в неблагоприятном исходе. Предупреждают, что глаз может вытечь. Ольга Дмитриевна настаивает. И вот опять, наперекор всем отводам, профессор Тихомиров берет на полную свою ответственность это дело и смело, еще более блестяще делает операцию второго глаза. Хрусталик удален. И глаз видит даже гораздо ярче краски, чем до болезни. И вот Ольга Дмитриевна, окрыленная, с удвоенной энергией снова принимается за свою временно прерванную работу. Ко дню ее славного юбилея (восьмидесятилетию) исторический роман «Первенцы свободы» был окончен и сдан в печать.

В 1955 году Ольга Дмитриевна опять очень тяжело болела — водянка с осложнениями, но наша советская медицина и огромная воля к жизни самой писательницы спасли ее. После болезни, в период выздоровления, она начала рисовать цветными карандашами, а затем настолько овладела этой техникой, что целая серия такого рода работ заполнила стены ее квартиры. К двухсотпятидесятилетию своего любимого города Ленинграда ею были сделаны зарисовки примечательных мест его: Петропавловская крепость, дуб Петра, Павильон Росси, арка Генерального штаба и др.

Иногда удивительные совпадения бывают в жизни. И вот одно из них. На даче П. П. Чистякова (Московское шоссе, д. 23), по благожелательному напутствию своего «мудрого учителя», как Ольга Дмитриевна Форш называла Павла Петровича, она окончательно решила избрать себе путь писателя. Спустя много лет, в том же, теперь памятном доме с мемориальной доской, где жил, учил и творил покойный П. П. Чистяков, в бывшей его комнате, которую ныне занимаю я, Ольга Дмитриевна закончила «Михайловский замок» и написала свой последний исторический роман «Первенцы свободы».

И. Соколов-Микитов

ПЕТРОГРАД, КИЕВ, ЛЕНИНГРАД

*

С Ольгой Дмитриевной Форш я познакомился еще до Октябрьской революции. Помнится, это произошло в квартире известного в то время писателя Ремизова Алексея Михайловича на 14-й линии Васильевского острова, в доме знаменитого путешественника Семенова-Тяншанского. В те времена у Ремизова постоянными гостями бывали Михаил Пришвин, Вячеслав Шишков, Евгений Замятин, Федор Сологуб и другие писатели. Я запомнил еще бодрую, почти молодую Ольгу Дмитриевну, с которой потом не раз сводила меня судьба.

В лютый год гражданской войны мы встретились в Киеве. Я служил в снабарме — продовольственной делегации Северного и Западного фронтов. Помню, как с рукописью маленького детского рассказа или маленькой сказочки я пришел в редакцию детского журнала «Ковер-самолет», заместителем редактора которого была Ольга Дмитриевна Форш. Помню, как я вошел в редакционную комнату, где за столом сидели две женщины. На мне была матросская военная форма. За спиной в руке я держал рукопись моей сказки. Я заметил смущение

у женщин, сидевших за редакционным столом. Одна из них была Ольга Дмитриевна Форш. По-видимому, они испугались матроса, появившегося в редакции детского журнала. Откровенно сказать, я тоже смутился, робко передал рукопись моей сказочки. Ольга Дмитриевна в своих воспоминаниях описывает нашу киевскую встречу. Не помню, была ли эта сказка напечатана. Иногда я заходил в редакцию «Ковра-самолета», начал даже принимать участие в редакционных делах. Мы часто беседовали с Ольгой Дмитриевной, и я всегда чувствовал дружеское ее расположение. Потом все изменилось.

Киев переживал тревожные дни. Где-то на юге шевелился Деникин. С фронта приходили дурные вести. Я не знаю, где была Ольга Дмитриевна, когда в Киев вступили деникинские войска. Вместе с моими смоленскими товарищами, служившими в продовольственной делегации Западного и Северного фронтов, я застрял в Киеве.

Помню вступление петлюровцев, а потом деникинских войск. На улицах Киева происходило нечто невообразимое. У здания Думы шла пулеметная пальба. На Фундуклеевской улице расположилась деникинская контрразведка.

Нас троих арестовали в маленьком ресторане на Думской площади, куда мы заходили обедать еще в советские времена. К нашему столику подошли три человека в штатской одежде, вынули пистолеты, сказали: «Следуйте за нами на Фундуклеевскую в контрразведку».

Нас привели к гостинице, в которой помещалась контрразведка. Возле гостиницы стояла многолюдная толпа. В сопровождении деникинских солдат, одетых в английские зеленые шинели, мы поднялись в кабинет, в котором за письменным столом сидел деникинский офицер. Стукнув револьвером по письменному столу, он на меня закричал: «Красную звезду носил?!»

Нас обыскали, отобрали имевшиеся у нас бумажки и документы, запечатали в конверт и спрятали в несгораемый шкаф. Нас втолкнули в комнату, переполненную арестованными людьми. У окна мы увидели лежащего на соломе человека, который выбросился из окна и поломал себе ноги. Его притащили в комнату и бросили на солому. Ночью в комнату приходил деникинский офицер, выкликал имена людей, которых куда-то уводили, быть может на расстрел.

Мы просидели в контрразведке три или четыре дня. Нас спасло чудо. Однажды в комнату вошел человек, одетый в форму гвардейского офицера, с белыми аксельбантами на груди. К великому нашему удивлению, мы узнали в нем нашего сослуживца по снабарму. Он тоже нас узнал, спросил меня, как мы здесь очутились. Мы рассказали о том, как и где были арестованы и приведены в контрразведку. Я спросил у нашего бывшего сослуживца, как он оказался здесь. Улыбнувшись, он ответил, что он — помощник начальника контрразведки. Уходя, он обещал распорядиться освободить нас. Мы еще не верили нашему освобождению. Арестованные стали давать нам письма к родным. Вскоре за нами пришли. Мы вернулись к тому же офицеру, который допрашивал нас три дня назад. Он молча вынул из несгораемого шкафа запечатанный конверт с нашими бумагами и отдал нам. Солдат вывел нас на улицу и отпустил на все четыре стороны.

Я решил из Киева бежать. Киевское мое житье и сотрудничество в «Ковре-самолете» навсегда прекратилось.

Много лет я не встречался с Ольгой Дмитриевной. Судьба носила меня по многим морям и многим странам. Спустя много лет увидел я Ольгу Дмитриевну в Ленинграде. Мы жили в одном доме, на канале Грибоедова в писательской надстройке. Квартиры наши были на одной лестнице. Здесь мы довольно часто встречались.

Помню квартиру Ольги Дмитриевны, ее семью. Мы знали о несчастье, постигшем нашу соседку. Возвращаясь однажды от писателя Шишкова, жившего в Детском Селе, садясь в поезд, невестка ее Леночка поскользнулась и попала под колесо вагона. Ей отрезало ногу. Несчастье это надолго опечалило Ольгу Дмитриевну. Елена Георгиевна родила ребенка. Внучку назвали именем бабушки — Ольгой.

Девочка вырастала на наших глазах. Я вспоминаю уже взрослую девушку, студентку, большую любительницу живой природы. Ольга Дмитриевна очень любила свою внучку. Иногда мы собирались в ее квартире. За столом гостеприимной хозяйки сидели некоторые ленинградские писатели. В стоявшем на столе аквариуме плавали разноцветные рыбки, а по уставленному угощениями столу разгуливала черепаха, на спине которой сидела живая лягушка. И аквариум, и черепаха, и лягушка принадлежали внучке Ольги Дмитриевны.

Помню, как-то я убил в Кингисеппском районе под Ленинградом медведя. Моя мать приготовила медвежий окорок. Лакомиться медвежатиной ко мне пришла Ольга Дмитриевна. Она часто заходила в нашу квартиру, ласково разговаривала с моими дочерьми. Я познакомил ее с моим гостем, знаменитым в те времена полярным капитаном Владимиром Ивановичем Ворониным. Великолепный рассказчик, Воронин рассказывал Форш о своих морских приключениях и дальних походах. Помню, с каким удовольствием рассматривала она фотографию, на которой были изображены семь братьев Ворониных — все капитаны дальнего плавания.

В те времена Форш уже пользовалась широкой известностью. Все читали ее романы «Одеты камнем» и «Михайловский замок». На одном из съездов писателей, происходившем в Кремлевском дворце в Москве, старейшему члену Союза писателей Ольге Дмитриевне Форш было предоставлено вступительное слово. Помню, как ясно, кратко и сильно она говорила.

В последний раз я видел Ольгу Дмитриевну незадолго до ее смерти. Я заехал к ней на дачу недалеко от Детского Села. Она лежала в постели, с трудом поднялась меня встретить. Мы сидели за столом, вспоминали прожитые времена. Я боялся переутомить ее, но она не отпускала меня; видимо, эта дружеская беседа была ей приятна.

С тех пор я больше не видел Ольгу Дмитриевну. Мне рассказывали, что перед своей смертью она завещала похоронить ее где-то вблизи Детского Села.

П. Зайцев

НЕУТОЛЕННАЯ ДУША



Не один раз встречался я с Ольгой Дмитриевной Форш, и в памяти отстоялось — на многие годы: какая богатая, щедрая и в своей щедрости неутоленная душа у нее. Все ей хотелось встречаться с людьми, писать, делиться с читателями своим богатейшим жизненным опытом. Ее современник Валерий Брюсов сказал о себе: «Sed non satiatus!» («Все еще не утоленный!») С не меньшим правом это могла сказать о себе и Ольга Дмитриевна.

Есть люди особого склада. Они обладают чудесной способностью навсегда сохранять душевную свежесть и молодость. Вот к таким-то людям относится и Ольга Дмитриевна.

До октября 1917 года я не был лично знаком с Ольгой Дмитриевной. Но встречал иногда имя А. Терек в толстых дореволюционных журналах. В 1919 году я встретился и с самим Тереком. Это и была Ольга Дмитриевна, вскоре сменившая мужской псевдоним на свою настоящую фамилию — Форш. Познакомил меня с ней В. Ходасевич, работавший тогда в Наркомпросе. Я пригласил Ольгу Дмитриевну сотрудничать в журналах «Рабочий мир» и «Сирена» и попросил ее дать что-нибудь для них,

Не помню слов, которые были сказаны Ольгой Дмитриевной в короткой беседе при первом знакомстве. Но вспоминается, что даже и в эту мимолетную встречу я почувствовал свойственную ей простоту и доброжелательность. Было что-то привлекательное в ее по-вольтеровски острой улыбке, в ее внимательных к собеседнику глазах — глазах художника и писателя.

Вновь я встретился с Ольгой Дмитриевной весной 1922 года, приехав в Петроград за материалом для нового журнала «Узел», который у нас тогда затевался в Москве.

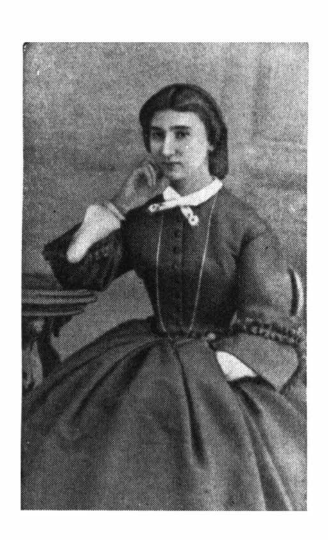
Вместе с И. А. Груздевым мы пришли к Ольге Дмитриевне в ее аскетически скромное жилище — комнату в Доме искусств. Я рассказал о Москве и о том, что делается в литературном мире. Вскоре Груздев ушел. Ольга Дмитриевна продолжала беседу со мной. Она заговорила о себе, о своем прошлом. Ее отец, военный, занимал в армии видный пост. Она рано вышла замуж и рано начала писать. Но домашние дела и семейные заботы отрывали ее от творческого труда.

Заговорили о петроградских писателях. Я спросил ее о Чапыгине.

— Чапыгин? Вы с ним знакомы? — живо заговорила Ольга Дмитриевна. — Его нет сейчас в Петрограде. Он у себя в деревне, в Олонецкой губернии... Удивительный он человек и писатель интересный! Представьте, в эти голодные годы взялся за пьесу из древнерусской истории, о князе Гориславиче. И как написал! — она пояснила: — Языком древних летописей и «Слова о полку Игореве»! Вы подумайте! Все диву дались: ушел в двенадцатый век! Надо же... И откуда у него это знание древнерусского, это чутье языка? А вещь преинтересная!.. Но что ему делать с ней?! Кто ее напечатает? И кто прочитает?! Лежит у него в столе. Да... Вот вам и маляр!.. Писал вывески, лазил по крышам. И вдруг — засел в библиотеке за древности и написал такую пьесу. Талантливый человек Алексей Павлович!.. А какая у него трудная жизнь была! И как труден был его писательский путь! — Ольга Дмитриевна помолчала, словно перебирая в памяти что-то, и потом добавила, как будто тяжесть взвешивая: — Да и у какого писателя был легок его путь? Знаете, — продолжала она через минуту, — я ведь тоже только



Отец О. Форш, генерал-майор Д. В. Комаров



Мать О. Форш, Н. Шахэтдинова



О. Форш и ее муж Б. Э. Форш. 1916

сейчас начала заниматься писательством по-настоящему. Только сейчас по-настоящему сажусь за писательский стол... Писала и раньше — урывками, когда выбирались свободные часы и минуты. Не много их было у меня... Нужно было работать, служить и дома о детях заботиться, дать им образование. Теперь они все у меня на своих ногах. Пришло время, могу и своим делом заняться...

Я слушал и думал: как хорошо сочетались в ней любовь к семье, забота о ней и верность основному призванию! А ведь тогда, в 1922 году, Ольге Дмитриевне шел сорок девятый год. Полтора десятка лет писательской работы было у нее за плечами: она начала печататься в 1907 году и успела написать, находясь в очень трудных условиях, роман, повесть и много рассказов. У нее уже было имя, а она все еще считала, что не занималась писательской работой по-настоящему!

Октябрь по-новому помог Ольге Дмитриевне найти себя как замечательного советского писателя — не для десятка тысяч читателей, а для миллионов. Октябрь широко открыл перед ней возможность создать значительные и волнующие исторические романы на запретные до революции темы: «Одеты камнем», «Горячий цех», «Радищев», «Михайловский замок» и «Первенцы свободы». И какое счастье для нее и для нас, читателей, что она нашла в них себя так талантливо и глубоко!

Я поднялся. Пора было уходить. Да и самой Ольге Дмитриевне надо было садиться за работу.

На мой вопрос, что Ольга Дмитриевна может дать для нашего «Узла», она обещала приготовить статью на литературную тему и, если успеет, рассказ.

Вскоре я получил от нее «с оказией» коротенькое письмо:

«От Вас ни слова, беспокоюсь, получили ли от Н. Н. Нагорской (которая обещала зайти к Вам немедленно по приезде в Москву) письмо мое и книгу от И. Груздева. Я прошу скорей ответить мне о судьбе рассказа и пьесы, ибо сижу без гроша, вдобавок больна.

Для «Узла» дам обещанную статью, когда приедет обещанный Вами человек. Напишите же скорее и будьте здоровы.

О. Форш»

Письмо, посланное мне Ольгой Дмитриевной с Н. Н. Нагорской, к сожалению, у меня не сохранилось.

Летом того же 1922 года Ольга Дмитриевна сама приехала в Москву. Мы с нею встретились в Госиздате, помнится, в редакции «Московского понедельника». Ольга Дмитриевна приехала кстати. В литературе, как бы в противоречии с жарким в том году летом, набухала тугими почками весна. «Завязывались» новые издательства: «Круг», «Недра», а немного позднее «Земля и фабрика» — три крупнейших издательства, возникшие в начальные годы советской литературы.

В Москву со всех сторон слетались писатели: с Поволжья приехал появившийся впервые в Москве А. С. Неверов, худенький, маленький, с загорелым лицом, в беленькой ситцевой косоворотке, простенький с виду, похожий на сельского учителя. Из Питера перекочевывал в Москву Всеволод Иванов с только что отпечатанной книгой «Цветные ветра». Из Крыма вернулись в Москву В. В. Вересаев и И. С. Шмелев, с юга же приехали В. П. Катаев и Владимир Нарбут, а с Дальнего Востока — Николай Асеев. С новым романом «Шкрабы» явился в Госиздат М. М. Пришвин, работавший в те годы учителем в одной из школ Подмосковья. Появились в Москве и будущие драматурги Борис Ромашов и Михаил Булгаков, тогда писавший еще только прозу.

Москва становилась центром литературной жизни, литературного движения, и это привлекало писателей. О литературном подъеме в Москве знала, конечно, и Ольга Дмитриевна. Мы обменялись новостями и пожалели, что «Узел» не состоялся. Но уже открывалось много других перспектив. В Москве зашевелились и частные издатели, одни — восстанавливая свою дореволюционную деятельность, другие — начиная ее в новых советских условиях, и при этом в условиях нэпа, на который они возлагали большие надежды.

Сама Ольга Дмитриевна была уже на подступах к следующему после «Одеты камнем» новому роману — «Современники» — о Гоголе и Александре Иванове. Иванов как художник по-особому мог интересовать Ольгу Дмитриевну. Может быть, не все знают, что она — не только писатель, но и художница, тонкая и своеобразная. До революции она училась у П. П. Чистякова, который внутренне был очень связан с Александром Ивановым.

О своем учителе Чистякове Ольга Дмитриевна написала прекрасный очерк «Художник-мудрец». Как художница она своей работы почти не продолжала: пересилила в ней, в ее творческих тяготениях, писательница. Но тема романа «Современники» воскрешала в ней тяготение к изобразительному искусству. Недаром позднее в переиздании этого романа в 1935 году Ольга Дмитриевна, сочетав в себе писателя и художника, сама сделала обложку для книги, строго графическую, а текст украсила заставками. Для фронтисписа она сделала портреты Гоголя и Иванова, поместив их сверху, а внизу — свой автопортрет.

Из позднейших встреч с нею в Москве мне запомнились больше других встречи в 1926 году. У Ольги Дмитриевны был живой, неугасимый интерес к людям, и это вполне понятно: каждый писатель нуждается в материале для своей творческой работы. Однажды Ольга Дмитриевна попросила меня связать ее с писателем Г. Я это сделал. И что же? Она у него побывала и с ним побеседовала. Но, зайдя ко мне после этого и присев на диван, она не без юмора и с присущей ей сочностью языка отозвалась:

— Ну и мерин же этот Г., прости господи!.. — и одним этим словом просто убила и перечеркнула этого, казалось бы, плодовитого писателя.

Зато очень мало писавший и еще меньше печатавшийся С. А. Цветков явно заинтересовал Ольгу Дмитриевну, и по особому поводу. Однажды я в разговоре с ней упомянул его имя, напомнив о том, что он редактировал в свое время книгу В. Ф. Одоевского «Русские ночи».

— Познакомьте меня с ним, — попросила Ольга Дмитриевна.

Это мне было нетрудно сделать: мы с С. А. Цветковым работали в одном из московских издательств. И в ближайший же день, вечером, после работы, сойдясь у меня, мы втроем: Ольга Дмитриевна, С. А. Цветков и я — отправились побродить по кладбищу Новодевичьего монастыря, тихому и пустынному. Я сопутствовал людям, у которых половина XVIII, весь XIX и начало XX века были как на ладони!

Ольга Дмитриевна как раз была в полосе своих больших исторических замыслов. С. А. Цветков еще в дореволюционные годы, работая над «Русскими ночами» Одо-

евского, целыми днями просиживал в московских и петербургских книгохранилищах и архивах и имел доступ к редчайшим книгам и рукописям. Ему в подлинниках доводилось читать дневники замечательных людей шестидесятых годов XIX века. Это было особенно интересно для Ольги Дмитриевны в связи с ее романом «Одеты камнем» — о людях той же эпохи. Ольга Дмитриевна много рассказывала о старине и о новом — о самых последних событиях литературной жизни. Вспоминали недавно умершего М. О. Гершензона. Ольга Дмитриевна рассказала о патетической речи А. Н. Чеботаревской, произнесенной ею над могилой Гершензона... Она хорошо умела рассказывать.

Вспоминается мне и еще одна встреча с Ольгой Дмитриевной. В апреле 1930 года мы шли с ней за гробом В. В. Маяковского. По другую сторону рядом с ней шел А. Н. Толстой, оба они — от ленинградских писателей, пославших их на проводы поэта в последний путь. Шли молча, подавленные. Молчали, потому что еще не было слов настоящих, а пустых никому не хотелось произносить... Позднее Ольга Дмитриевна в своем рассказе «В Париже», написанном в 1940 году, добрым, сердечным словом помянула поэта, отметив его высокую человечность. Героиня, молодая парижанка Алиса, «старший живой манекен» в модном торговом доме, попадает на «русский вечер», где слышит самого Маяковского, читающего свои стихи. Под живым впечатлением от стихов, от поэта и его голоса она просит свою русскую спутницу, автора рассказа, передать Маяковскому, если представится случай, «что, конечно, не бог весть кто, но все-таки живой человек, поддержанный его душевным огнем — это, знаете, доходит без слов, — нашел в себе силу изменить свою жизнь». А перед Алисой стояла альтернатива: дать в газете «Sourir» («Улыбка») объявление о себе как о «живом товаре» или, перестав быть и «живым манекеном», остаться живым человеком и никому не продающейся женщиной.

Очень умела Ольга Дмитриевна видеть жизнь, умела видеть ее и в большом и в малом, и даже подчас — в смешном, мелком. И, подобно трудолюбивой пчеле, она везде собирала драгоценные капельки жизни, собирая мед с любого медоносного цветка действительности, которую она умела видеть зорче, острее других. Среди ее

произведений есть небольшой рассказ «Всемирная баня». Десятки раз проезжал я в Москве на трамвае мимо «Всемирных бань» на углу бывшей Рогожской заставы, теперь заставы Ильича. И я регистрировал в памяти, проезжая мимо них: какое странное и смешное название: «Всемирные бани»! А Ольга Дмитриевна, проехав, может быть, только раз на трамвае мимо этих «Всемирных бань», одно это название, видоизменив его, развернула в целый рассказ — бытовой, сатирический, острый.

И все творчество Ольги Дмитриевны напоено, насыщено живой подлинной жизнью. Оттого оно так и волнует нас. Не может не волновать живое, полнокровное, в высшей степени человечное!

М. Слонимский

«ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ ОЛЬГА ФОРШ»



Родилась Ольга Форш в дагестанской крепости Гуниб, отец ее был генерал, и что-то от военного сословия чувствовалось в ее осанке, в ее неизменной выдержке при всех жизненных испытаниях, во всем ее облике. Ни разу за все десятилетия, что я знал Ольгу Форш, не привелось мне видеть ее по-женски плачущей или в отчаянии, хотя бывали у нее очень трудные моменты, тяжелые переживания. Не слышал я и от других, чтобы когда-нибудь она плакала или рыдала, как плачут, рыдают, жалуются женщины. Железа в ее характере было достаточно, она умела держать в узде свои чувства, даже самые сильные, или выражать их в сжатом слове, в поступке. Когда случалось у нее несчастье с ней самой или с ее родными, то наедине с собой она, конечно, очень страдала, но и в такие дни на людях она сохраняла уверенную устойчивость, словно сама была крепостью, возвышающейся, как ее Гуниб, на неприступной для робкого сердца горе. Никакой осадой не возьмешь, а огня и вылазки жди. Мне казалось всегда, что ее дружба с П. А. Павленко отчасти рождена была Кавказом. Гуниб был построен, кстати, на

той самой горе, на которой пленен был Шамиль. Павленко писал о Шамиле роман.

А. Н. Толстой перед отъездом с группой писателей в революционную Испанию сказал как-то:

— Вот бы поехать туда Ольге Форш!

И состроил этакое генеральское лицо, проведя пальцами над губой как по пышным старинным усам.

Не знаю отца Ольги Форш генерала Комарова, бывшего в семидесятые годы прошлого века начальником Среднего Дагестана, но повадка его дочери, вся манера ее вести себя была доброй демократической закваски, словно происходила она непосредственно от декабристов или — еще ближе — от Софьи Перовской, тоже генеральской дочери. В ее характере отсеялось то ценное, что отличало русских военных людей.

Никакими силами нельзя было сорвать Ольгу Форш с корней, уходящих глубоко в русскую почву, в русскую историю и культуру. В первые годы Советской власти страх, непонимание, заблуждения, косность, попросту ненависть гнали многих старых литераторов из Петрограда на юг, не только поближе к хлебу, но и к белым, а затем в эмиграцию. В те же самые годы, когда этот поток стремился прочь из Петрограда, Ольга Форш проделала (так же, кстати, как и М. Шагинян) обратный путь — с юга на север, в голодный, холодный, сыпнотифозный, холерный Петроград. Ураганный ветер Октября не отталкивал ее, как многих ее ровесников, среди которых были и знакомые и, наверное, друзья, — он влек ее к себе. Со своим чувством истории, со своим пониманием времени она жадно впитывала в себя события и всматривалась в людей пытливо и глубоко.

Ольге Форш было уже под пятьдесят лет, но она полна была молодой живости, веселости, энергии, когда появилась с сыном и дочерью в Петрограде и сдружилась с нашей тогдашней молодой литературной компанией, группировавшейся в ту пору, в 1921 году, вокруг Горького. Она поселилась в Доме искусств, много и разнообразно работала и делила с нами все радости и тяготы жизни. Впоследствии она написала о быте и нравах Дома искусств роман «Сумасшедший корабль», остро, подчас ядовито изобразив в нем его жильцов и посетителей.

Своим женским приветливым глазом она многое замечала в людях и с проницательным лукавством, с юмо-

ром, то пленительно-добрым, то весьма даже язвительным, давала меткие и едкие характеристики. Она любила тихо, как бы невзначай, с добродушным ехидством ущипнуть человека словом.

Молодые писатели еженедельно собирались у меня в комнате. Иногда мы очень шумели, споря, разговаривая, перебивая друг друга. А в том же Доме искусств, в одном коридоре со мной, жила почтенная писательница Екатерина Павловна Леткова-Султанова, старая народница, произведения которой хвалил в свое время Н. К. Михайловский. При всей любви к молодежи (ее сын дружил с нами), при всей кротости, она все же иногда вздыхала, когда наши голоса разносились по всему коридору, да еще громыхнут при этом за дверью солдатские сапоги кого-либо из опоздавших на наше собрание. Она вздыхала и однажды пожаловалась Ольге Форш:

— Il est très mal élevé. [1]

Она говорила это обо мне как о хозяине комнаты, который обязан отвечать и за себя и за гостей.

Форш не без удовольствия передала мне этот отзыв и любила повторять иногда, добродушно посмеиваясь:

— Il est très mal élevé.

Сама она не искала тишины и даже наслаждалась шумом на наших собраниях, на которых она была всегдашним, желанным, почетным гостем.

Спорили мы очень яростно и действительно очень шумели. Но что же тут делать? Было горячее время рождения советской литературы, и кричали мы о ней, о новой, революционной литературе. Без всякой водки, даже без чая и хлеба, на голодный желудок. Чтение и обсуждение рукописей мы на публику не выносили, как дело, так сказать, интимное, занимались этим в узкой компании. А вот для развлечений, для кино и театральных представлений мы переходили в гостиную, подальше от жилых комнат. Сын Ольги Форш, тогда подросток, впоследствии талантливый геолог, был непременным участником этих наших вечеринок. Конечно, постоянной посетительницей была и Ольга Форш.

Она не кичилась, не фыркала на молодых, не брала с нами тон этакого премудрого метра, патриарха, несущего себя перед брюхом на золотом блюде, а горячо и

---

[1] Он очень плохо воспитан (франц.)

заинтересованно слушала, читала, оценивала, радовалась, сердилась, упрекала, когда не соглашалась с кем-либо из нас, и все это без каких-либо требований обязательного, немедленного послушания. Во всем этом она была сродни Горькому. Она так же делилась с нами своими замыслами и работами.

Много всякого было в то бурное время. Одновременно с рождением новой, советской литературы и бегством из Петрограда ряда старых литераторов происходила стихийная переоценка дореволюционной беллетристики и поэзии. Сдувалось, словно и не было, все фальшивое, ремесленное, легковесное, слащавое, писанное хотя бы и модными, известными в дореволюционные годы писателями. Имена их меркли, иные из авторов вслед за своими книгами летели туда, где их сочинения еще признавались, в конечном счете — в эмиграцию.

Ольга Форш, автор талантливых произведений, имевшая уже тогда литературное имя, шла навстречу переоценке совершенно безбоязненно: она, видимо, и не думала о том, что можно тут чего-то бояться. Она глядела вперед, а не назад. Вообще когда вспоминаешь об Ольге Форш того периода, то опять и опять с недоумением соображаешь, что ведь она была старше, например, меня на двадцать четыре года. Двадцать четыре года разницы — а вот кажется, что мы были ровесниками. То было чудесное время равенства возрастов в одном деле, чрезвычайно трудном и совершенно новом, — в деле создания советской литературы. Озорства, риска, эксперимента было много и у молодых и у старых, тех старых по возрасту, которые были молоды душой и первым из которых был Горький, очень любивший Ольгу Форш.

Тогдашняя литературная среда не ограничивалась, конечно, только Домом искусств. Был еще и Дом литераторов, объединявший преимущественно старых, дореволюционных писателей и журналистов, были разные кружки, группы, группочки. В этом смешанном, путаном литературном обществе имели силу не только будущие эмигранты, еще ходившие в ту пору по Петрограду, но и ниспровергатели всего на свете, а прежде всего — всякой культуры в общении с людьми. Были сильные перегибы, раздавались голоса и против классиков, некоторые готовы были с легкостью необыкновенной выбросить за борт всю старую культуру. Среди нас такого не бывало, но

в других кругах случалось. И при столкновениях с такими отчаянными литературными революционерами и новаторами Ольга Форш возмущалась, негодовала, вступала в бой напористо и гневно, уговаривала, убеждала.

Были среди ниспровергателей и такие, кто распущенность и грубость считал признаками революционности. Недостатки, оставшиеся в наследие от прошлого, они возводили в принцип поведения, стараясь приспособиться таким образом к эпохе. В этом сказывалось их извращенное представление о народе и революции, их непонимание народного духа, движения истории. Ольгу Форш, изучавшую глубокий исторический процесс революционного преобразования России, стремившуюся помочь народу в критическом восприятии культуры прошлого, оскорбляли демагогические выходки этих особого рода «приспособленцев» (именно тогда родилось это слово), она отлично видела их фальшь, умела различить чуждую народу и революции суть. При встречах с их, так сказать, «принципиальным» бескультурьем в поведении она вела себя с большим чувством собственного достоинства, пресекая всякое хамство. Обходилось иной раз даже и без слов. Просто менялся весь ее облик, на замок замыкалось лицо, вдруг становившееся суровым, властным, негодующим, словно одним махом она возносилась из какого-нибудь чуждого ей сборища, на которое случайно попала, к себе в Гуниб, на недоступную вершину крутой, обрывистой горы. Развязность и невежество пугливо сникали перед таким преображением только что совсем доброй и простой женщины. Да, фамильярность с ней была невозможна.

Как-то я рассказал ей, что в 1919 году на курсах милиции, когда я спросил, кого из классиков признают собравшиеся своим любимым писателем, большинство высказалось за Тургенева.

Форш очень обрадовалась:

— Тургенев? Тургенев — любимец милиционеров!.. Вот видите... А кто первый назвал его? Женщина? А что именно? Лиза Калитина! «Живые мощи»!.. А что еще? И мужчины согласились? Вы рассказали об этом Алексею Максимовичу?.. Ну что же вы! Надо рассказать!

Она была очень довольна, что красные милиционеры любят Тургенева, читают и любят классиков. Что у жен-

щины-милиционера любимой героиней оказалась Лиза Калитина.

К злобе стариков она относилась так же, как к бескультурью. Некоторые из отходящих в прошлое литераторов фыркали и шипели на молодых писателей, ворчали и брюзжали. Один из них, скрывшись под мрачным псевдонимом Ипполит Удушьев, опубликовал грубую брань против молодежи в альманахе с мудреным названием «Абраксас». Я показал Ольге Форш эту статью как нечто смешное, юмористическое. Но на лице ее появилось брезгливое выражение, словно она наткнулась на нечто непристойное. Не сказав ни слова, она отшвырнула альманах, как пакость какую-то. Может быть, ее задело еще и то, что автором этой статьи был ее ровесник, с которым она когда-то была знакома. Ей противна была его злоба.

Для тех, кто хорошо знал Ольгу Форш, ничего неожиданного не было в том, что именно она стала пионером советского исторического романа. Конечно, именно она, глубоко и кровно связанная с историей и культурой русского народа, ясно видевшая место и роль России в мировой истории, она, с ее проникновением в связь времен, в связь эпох, — она и должна была дать роман, в котором сквозь прошлое прозревалось будущее и революционеры прошлого становились в один строй с живыми. «Одеты камнем» были первым историческим романом Ольги Форш и вообще первым ее романом.

«Одеты камнем» закончены были в 1924 году, когда Ольге Форш шел пятьдесят второй год. А уже 12 февраля 1925 года она писала мне: «Есть тема: две могилы (Гоголь и Иванов). Была у Гоголя в Даниловом монастыре и диву далась: совершенный двор Ивана Никифоровича, сушится на заборе разный дрязг, бабы, куры, вперлась жизнь, как ни бежал...» Это рождался новый роман, намечались контуры темы, шли поиски своего отношения к Гоголю, поиски характеристик — «вперлась жизнь, как ни бежал...».

Когда я впервые познакомился с новой жительницей Дома искусств Ольгой Дмитриевной Форш, я не знал еще, что бытовые, насыщенные острой иронией зарисовки, подписанные «А. Терек», принадлежат ей. Оказалось, что Форш и «Терек» — одно лицо, но Форш — гораздо богаче.

В дореволюционной мгле «А. Терек», роясь в душах

людей, извлекал подчас болезненные уродства, мутившие чистые воды творчества, воздействовавшие и на форму, которая теряла иногда свою естественность. Но не эти осадки тяжелых лет России остались от «Терека» в памяти. Запомнились его рассказы и очерки своей резкой оригинальностью, искусным штриховым рисунком на грани карикатуры, но не переходящим в карикатуру, и юмором, сатирой. Чувствовалось, что этот «Терек» где-то там, в глубине своей, очень веселый, ему так и хочется заиграть, вырвавшись из теснин на просторы, он только временно кажется сумрачным, некрасивым, как ребенок, болеющий корью или даже совсем неопасной ветряной оспой, а вот отшелушится — и тогда здоровье возьмет свое.

«А. Терек» не был, как лермонтовский, кавказский Терек, «дик и злобен», но саркастическим, язвительным был. Выйдя на простор послеоктябрьских лет, он освободился от чуждых ему психологических и стилистических наслоений и стал тем насмешливым, задиристым, каким, по существу, и хотел быть. Этот новый «Терек» состоял у Форш в услужении как выразитель неизменной, жизнелюбивой веселости, а подчас и как этакая метла, расчищающая путь от всякого сора. Так вот и жили в тесном, органическом слиянии подымающая и разрабатывающая огромные пласты истории романистка Ольга Форш и задорный, игривый, вызывающий улыбку и смех «Терек», забегающий, впрочем, иногда и в исторические романы своей доброй мамаши Ольги Форш. Очень милое содружество, показывающее разносторонность характера и творчества.

Этот псевдоним, правда, сначала ушел в скобки, уступив первое место подлинному имени писательницы, а потом и совсем исчез. На книгах «Летошний снег», «Московские рассказы», «Под куполом» стоит уже только имя Ольги Форш, но то был все-таки «Терек», все тот же неугомонный «Терек» с острым глазом и острым языком.

«А. Терек» был началом, разгоном, разбегом на пути Ольги Форш. Он был первым моим впечатлением от Форш как от писательницы. Осталась в памяти его острая насмешливость, все другое — болезненное — отпало, и потому запомнился он мне как символ веселости и язвительности в творчестве и жизненном поведении Форш.

Форш любила пошутить. В 1927 году мы вместе были в Париже. Как-то мы с женой зашли в Музей восковых

фигур. Разглядывали вылепленных из воска, одетых как живые, в живых характерных позах известных и знаменитых людей. В разных углах и на лестнице были расставлены фигуры — то девушки, поправляющей чулок, то молодого человека, закуривающего папиросу. Наконец мы вышли на площадку лестницы и прислонились к перилам, отдыхая. Стоим. И вдруг слышим голос:

— Как искусно сделаны!

И кто-то тронул меня за локоть, ощупывая. Конечно, это была Форш, якобы принявшая нас за восковых. Она настаивала:

— Нет, я правда думала, что вы из воска!

Она ходила с нами на обязательный для туристов Монмартр, мы с ней много гуляли, и она не уставала жадно копить новые впечатления о старом Париже. Особенно она любила потом вспоминать, как старательно я греб в Версале, катая ее на лодке от Малого Трианона к Большому и обратно. Ей было, видимо, интересно соединять такие слова, как Версаль, Трианон, с нами, отнюдь не версальской принадлежности людьми. Даже в надписи, сделанной ею на книге 1950 года, я нахожу рядом с ее подписью: «Трианон — 1927, Москва — 1945, Ленинград — с 1920».

Она любила безобидные шалости и у других. Под Ленинградом был приют, вроде дома для престарелых. Вспоминаю, с каким юмором рассказывала Форш о проказах тамошних старушек, среди которых она нашла и одну свою бывшую институтскую подругу. Ей очень нравилось, что эти старушки школьничали, убегали, когда их возили на автобусе на прогулку, поздно возвращались. Как девчонки.

В годы первой пятилетки она была депутатом райсовета и очень радовалась тому, что школьники и школьницы в районе называли ее «тетя Рая».

Она любила играть словами. В двадцатые годы говорилось: «Он (или она) хорошо подкован в идейном отношении». Форш повторяла слово «подкован», как бы беря его на слух, на нюх, на чутье, взвешивая на невидимых весах:

— А вы, Миша, хорошо подкованы?

И мне казалось, что у нее при этом возникает образ коня. Все-таки она выросла в военной семье, и слово «подкован» она чувствовала в других контекстах.

Ленинград, с которым неразрывно соединились творчество и судьба Ольги Форш с 1920 года до самой ее смерти, удивительно пришелся по характеру писательницы и влиял на нее своим закованным в строгие и стройные формы жаром, своей монументальностью, величием и красотой своих дворцов и памятников, садов и парков, улиц и площадей. Он раскрыл, подчеркнул, развил в характере Форш эти черты строгой сдержанности и монументальности. Ольга Форш стала певцом нашего города, его героев, его строителей. Она дышала в Ленинграде историей России, живой историей, которая давала ей зоркость при взгляде в будущее. Здесь решалась судьба Радищева, которому писательница посвятила свою замечательную трилогию, здесь на Сенатскую площадь вышли декабристы, о которых писала Форш в своих «Первенцах свободы». Историческими событиями огромного значения, революционным духом насыщена история города. Здесь совершилась Октябрьская революция, в которой заново родилась Ольга Форш как писательница и человек.

Известно, что Ольга Форш занималась живописью, рисовала. Она написала среди других картин пастель «Петропавловская крепость». Вот она стоит передо мной, эта пастель, и напоминает об авторе романа «Одеты камнем». Ее успокаивала живопись. Ей давала отдых природа. Было лето, когда мы жили вместе с ней в пограничном районе, в одной деревне. С большой охотой, с увлечением она встречалась с пограничниками, слушала их рассказы, выступала в пограничном отряде. Время было тревожное, в Германии уже бесчинствовал фашизм. Форш усиленно работала, а когда отдыхала, то садилась на горушку и глядела на море, часто здесь лохматое, неспокойное. Говорила мне:

— Как хорошо просто глядеть на море или уйти в поле, в лес. Только природа и дает мне отдых. Я возрождаюсь, обновляюсь.

Она казалась несокрушимой. Как-то художник Н. Радлов нарисовал карикатуру, изобразив писательский дом в двухтысячном году. Весь фасад он избороздил мемориальными досками: «Здесь жил и работал», «Здесь жил и работал...». А в центре поставил крупными буквами: «Здесь живет и работает Ольга Форш». Так она воспринималась всеми, кто знал ее.

В работе она прошла войну, всегда устойчивая, уверенная в победе добрых сил над кровавым фашизмом.

В послевоенные годы она писала медленнее, меньше. На похвалы мои ее «Михайловскому замку» она отозвалась:

— Да? — Помолчав, прибавила: — А я опасалась, что уже разучилась писать.

Она сказала это спокойно и серьезно.

Когда ей исполнилось восемьдесят пять лет, писатели собрались у нее на квартире. Постепенно мы начали шуметь, потом испугались, сообразили, что так все-таки нельзя. Но она была довольна:

— Как хорошо получилось! Мужчины поспорили, значит — хорошо...

И мне вспомнился шум молодежи в Доме искусств и сакраментальная фраза старой народницы:

— Il est très mal élevé.

Ольга Форш и в восемьдесят пять лет осталась верна любви своей к шуму жизни.

19 мая 1961 года в «Правде» была напечатана ее статья, всех изумившая ясностью, прозрачностью своей и глубиной, молодая статья старого по возрасту, перенасыщенного опытом и радостью жизни человека. Через два месяца Ольга Форш умерла.

13 января того же 1961 года Форш в письме ко мне обронила фразу удивительную: «Я во всей силе ума, памяти, воли — существую... Душа моя все еще молода».

Так написала она на восемьдесят восьмом году жизни.

В. Милашевский

МОЯ СОСЕДКА — ОЛЬГА ФОРШ



Тысяча девятьсот двадцатый год. Осень, конец октября или начало ноября. Я получил известие, что мне уготована комната в помещениях Дома искусств. Это одно из учреждений новой эпохи, которое должно воплощать собою новый быт людей.

Дом был выдумкой Горького, и должен сказать, что этим Алексей Максимович крепко помог многим писателям и художникам. Столько неприкаянных, одиноких людей искусства терпели бедствие.

Под проливным дождем, уже в сумерки, я вошел в этот дом, Мойка, 59. Самый верхний этаж. Темный коридор, освещенный тусклой лампочкой, излучающей темно-оранжевый свет. Такие лампочки освещают коридоры номерных бань. Зачем вам свет? Сидите и ждите в сыром тумане, когда освободится «номер». Коридорная, пожилая женщина, открыла дверь — дверь «моей» комнаты. Она была в самом конце коридора, загнутого какой-то колбасой или бумерангом. Ключ звякнул, и я переступил порог. Комната низкая, с двумя квадратными окнами почти у самого пола. Это, очевидно, для «архитектурно-

сти» фасада! Ритм, пропорции... а вы, временные обитатели двухсотлетнего дома, проживете и так... Пусть на уровне ваших глаз придется фрамуга! Эка важность! Этот дом создан для столицы!

Через два окна без занавесок на меня смотрела черная бездна. Мокрая и бесконечная. Она шла к Ладожскому озеру и дальше в леса... Дождь, дождь и дождь!

Темной ночью камень брошенный
В черный пруд...

Вспомнилось неоконченное стихотворение И. С. Тургенева. Это я — «камень брошенный».

Я старался уснуть. Вероятно, в этой «меблирашке» проживал капитан Копейкин и хлопотал о пенсии. А может быть, тут проживали «погибшие, но милые создания» и после танцев в «зальце» заводили в свою комнату гостя, прихватив пару пива!

Моя дверь выходила не прямо в коридор; перед ней находилась некая каморка, предбанничек, или, если именовать повозвышенней, назовем эту клетушку «аваншамбр». Тусклый свет через гофрированное стекло, вставленное в мою дверь, освещал ее.

Впритык к моей двери, но под прямым углом прижалась другая дверь, которая вела в соседнюю комнату. В первое же утро я заметил, что через предбанник в соседнюю комнату вошел кто-то... Она обитаема. Вскоре я столкнулся при выходе из комнаты с соседом — обитателем. Это была женщина, которую я уже видел. Мы раскланялись.

Третьего дня я провел вечер у Алексея Михайловича Ремизова. За столом сидели возведенные в рыцарский сан Великого Капитула «Обезьяньей палаты» Михаил Кузмин, Евгений Замятин, Вячеслав Шишков, Юрий Верховской. Мастера насмешек, острословы, балагуры, виртуозы прозвищ, гурманы русского языка — школа Лескова... На столе стоял самовар, пар от него поднимался кверху, обволакивая висевших на длинной веревке поперек комнаты разных чертенят, недотыкомок, кикимор, лешенят, рожденных лесом. Это были те забавные человекоподобные корешки, на которые теперь, в конце 60-х годов, появилась мода!

Хозяйка, Серафима Павловна, угощала коржиками собственного изготовления. Роскошь по тем временам не-

виданная и неслыханная. Щедрость умопомрачительная! Коржики темноватые, но присыпанные сахарным песком и чем-то темным, вероятно сухой рябинкой.

— Это толченая печень черного ворона, — шепчет доверительно хозяин. — Только ею и спасаемся!

Алексей Михайлович обвел всех многозначительным взглядом. Тут все рыцари капитула потянулись к тарелке, и она быстро опустела.

И среди этих апостолов злословия сидела молчаливая женщина, не смевшая вставить в общий разговор ни одного слова — она тихо благоговела. Типичная «родственница из Вятки», ну, может быть, учительша оттуда же. Темное лицо, темное платье с воротом до ушей, с обшлагами рукавов до пальцев, темные безжизненные волосы женщины на закате... Какая уж там прическа — куделька сзади, и все.

Она и просидела весь вечер скромненько, как и полагается родственнице из провинции. А за столом роскошествовали словесами и ехидствовали...

И вот эта «родственница» — моя соседка! Я раскланялся... Она узнала меня. Любезный, виртуозный разговор без имен и отчеств.

На кухне спрашиваю нашу коридорную:

— Кто же такая эта моя соседка?

— Ну, как же... Ольга Дмитриевна Фарш. Кто ее разберет: не то писательша, не то художница... Хорошая женщина, на кухню не лезет...

Ну, Фарш так Фарш!

Я пробовал разузнать о своей соседке у представителей литературной элиты нашего и иных коридоров. Все пожимали плечами, еле заметно, криво улыбались: «Да как вам сказать... может быть, до революции и удалось ей всунуть свой рассказишко в «Журнал для всех» или в «Общедоступную литературу». «Я сужу о ее литературных достоинствах по ее несколько «захолустному» облику... Возможно, я и неправ. ...хм-хм, однако вряд ли... Корней что-то знает о ее литературных подвигах, раз дал ей комнату — щель в этом темном коридоре... Ведь не предложил же он ей апартаменты, предназначенные для Екатерины Павловны Летковой, соратницы самого Михайловского...»

Но раз о моей соседке ничего не известно, то почему бы мне не сделать просто некий «этюд» ее «лика», не

основываясь на каких-либо документах и удостоверениях... Они бывают так часто фальшивыми, недостоверными, и просто многие документы уничтожаются самими удостоверяемыми... Ощущения, столь, казалось бы, мнимые, никогда не обманывают!

Итак, этюд, основанный ни на чем, — «фу-фу». Дуновение ветерка, принесшего запах дальних берегов...

Этюд Дебюсси — лунный свет через щель забора, упавший на осколок блюдечка в сугробе снега. Да! Но этот лунный свет Дебюсси, — в нем есть нечто, поглаживающее себя по головке. Как выйдет — так и ладно! Есть ведь еще и этюды Достоевского в «Дневнике писателя»!

Было что-то в Ольге Форш от эпох, предшествовавших той, в которой мы жили. Так, какой-то налет чего-то иного. Прическа, покрой платья, самое отношение к этому облику женщины было иное, чем это полагалось для прекрасного пола «конца самодержавия», «распутинщины» или «русского сезона в Париже»! Какая-то вчерашняя страница русской культуры! Отсюда и «персонаж из провинции», сотрудница «Журнала для всех», как выразился эстет с галстуком бабочкой!

Да! «Парижского сезона» в ее облике не было! Ее юбка, суровая, из жесткого сукна, была совсем-совсем не «распутинской». Юбка Форш была монашеской, но не какого-либо исторического культа, католического или православного, а монашества идейно-русского... Святыней этого верования был «стан погибающих за великое дело любви». Это юбка Софьи Перовской! Да! Да! это она... При чем тут документы?

И еще что-то вспоминалось, когда я вглядывался в облик Ольги Форш!.. Образы живописи Перова. Чуть-чуть цвет женских лиц на его картинах более смугловат, как и у Форш. Он как бы чем-то «иссушен»!

Девочка в знаменитой тройке! Дети, везущие ледяную бочку! Это она!.. Ольга Дмитриевна, в каком-то «предшествующем» пребывании на земле! Вижу родство! Однако... все недоказуемо, недокументально! Ну а «Гувернантка» и та девушка в картине «К дворнику», где Россия как бы шутя изображена и орлом и решкой. Да, она и там похожа, до замужества!

Но сверх всего этого, сверх печальной девочки (однако какая она одухотворенная, это ведь не немка и не француженка), сверх «Софьи Перовской» и сверх всех

девушек процесса 193-х есть что-то и от эпохи Николая Второго!.. Зигзаг модерна! Элитное православие, «Марфинская обитель», живопись Нестерова с его монашками, зацелованные губы, печальные, русалочьи глаза... «Бесы», «Скорпионы»!

Нет! Нет! Это я так... ушел в сторону! Недоказуемый Дебюсси!

Однако... Религиозно-философское общество... Воображаю, как бы хохотали и Перовская и Перов, если бы им предложили посетить один из вечеров этого почетного собрания под председательством Андрея Белого!

Еще шестнадцатилетним гимназистом я останавливался перед витринами книжных магазинов: Блаватская «У ног учителя, пресветлого Брамаштапутри», Папюс «Тайны оккультизма». Том первый (Сколько же их будет?). На титульном листе — фотография. Лицо толстого похотливого дьявола в обличье господина XIX века. Не то дьявол. Не то Азеф! Это совсем не тот интеллектуал, который беседовал с Иваном Карамазовым...

А ведь люди тогда, в эпоху тридцатилетней Ольги Форш, были ой как любопытны! Всего хотели попробовать! В этом и есть лиловые, врубелевские сумерки «эпохи между двух революций». Но довольно отсветов этого лунного марева.

Дальше черствые, осязаемые факты. Только факты! Узкая комната Ольги Форш походила на ученический пенал. В конце — единственное окно. Через него видно красное здание. Когда зимой солнце освещало это замерзшее здание, оно посылало зловеще-красные лучи в мою комнату и в комнату Форш. Красный отсвет как бы связался в нашей психике с теплом, с неким жаром, но красные лучи при морозе злы, остервенелы и даже фантастичны! В этой нелепой комнате мог проживать герой Достоевского. В ней свершилось чудо!

Из спеленатого, биологически еле-еле трепещущего серого комочка — кокона — вылетела бабочка с разноцветной окраской крыльев! Из женщины, спеленатой долгом жены, матери, вдруг родилась свободная писательница. В этой «родственнице», в этой «перовской гувернантке» таилась озорница! Женщина с перцем! Мастерица что-то подслушать, что-то toприметить и выплавить из этой косной руды — металл: искусство!

Она не жила в этой комнате. Она приходила писать.

Я слышал за стенкой, как Ольга Дмитриевна разжигает печурку, чем-то гремит... Потом тишина. Она пишет, пишет...

Каждый день около двух часов приходила к Форш ее дочь. Она уныло, как каторжник, приносила к обеду пшенку, вкусом напоминающую теплые сухие опилки...

— Что у нас сегодня к обеду? — веселым голосом хорошо поработавшего человека — низковатым баском — восклицала писательница.

— Вермишель!

— Великолепно! Я люблю вермишель!

Дочь молчала... Мать тоже утихала — ела.

Ольга Дмитриевна в этой узенькой комнате писала «Одеты камнем».

Наши отношения, мои и Ольги Дмитриевны, с течением времени становились все дружелюбнее. Иногда я ловил ее взгляд, обращенный на меня, полный ласки и тепла. Оказалось, что она, когда-то, в какие-то времена, в эпоху своего «женского распутья», хотела быть художницей. Настоящей, серьезной художницей, с изливом в это искусство всех своих чувств и мыслей! Может, эта ласка во взгляде отсюда? Я — ее бывшая судьба!

Иногда она вдруг стучала ко мне в дверь среди дня и говорила:

— Я вам не помешала? Вот что я нашла у себя в мусоре «прошлых моих жизней»! Я подумала, а может вам пригодится! — И она протягивала мне завернутые в тряпочку или измызганную старую бумажку кусочки кирпичиков акварели — ущербных, так часто это были только осколки дорогих заграничных красок! Они были все пропылены, на волшебный желтый цвет лимонного кадмия непременно прилипала ядовитая и неприятная берлинская лазурь! Но все равно это радость, почти детская, мальчишеская!!! Радость в годы, когда ничего нельзя было купить, а мои довоенные красочные «богатства» разошлись по друзьям. Разве можно было о них заговаривать через пять лет? Где-то ведь краешком сознания каждый друг думал: а вернусь ли я?

Возможно, по лицу моему расплывался в виде легкого акварельного растека нежный цвет розового краплака! Видеть его на моем лице, вероятно, доставляло Ольге Дмитриевне некоторое удовольствие.

— Постойте, постойте! Я, может быть, разыщу для

вас еще что-нибудь. Отжившие сувениры! Прошлые мечты! А выбросить этот мусор... почему-то не могла. Зацепка за душу была в этих пыльных кусочках краски. Как я рада, как я рада, если вы отмоете их и они будут для вас чем-то, инструментом для выражения вашего духа. Да! Все это ветошь, а что-то внутри осталось живое! Ведь я к любому литературному произведению подхожу, сужу его, отталкиваясь от печки изобразительного искусства! Я как бы перевожу язык литературы на язык рисунка, красочной гармонии и пластичности композиции! Там, в глубине психики, у меня хорошо застряли эти разноцветные кругляшки и прямоугольники красок!

И вот однажды она вошла ко мне более торжественно, чем всегда, «именинно». Она несла что-то длинненькое и аккуратно завернутое. Это была кисть, дорогая, великолепная, заграничная кисть!

— Вот вам подарок... настоящий, — сказала сияющая Ольга Дмитриевна. — Ведь дарить так же приятно, как и принимать подарки. Радость души — всегда сияние! Это кисть великого Чистякова!

Я был растроган, благодарен, но было что-то в моем лице, что при радости получения кисти, нужной мне кисти, промелькнуло как запрятанная ирония! Этот отблеск иронии она, как изощренный наблюдатель, сразу учуяла. Конечно, она ничего не знала о тех моих недоумениях, которые возникли в январе 1914 года на выставке Валентина Серова. Судя по рассказам профессора Н. А. Бруни, оказалось, что лучшими учениками великого педагога были Савинский, Гольдблат и сам Бруни, а совсем не Врубель и Валентин Серов, как полагали мы, тогдашняя наивная молодежь.

Внезапный поворот на сто восемьдесят градусов в мыслях О. Д. Форш, в этом и сказалась вся ее страстность, талантливость, цепкость на факты.

— Чистяков был настоящим Мефистофелем, — сказала она. — Он внутренне как бы издевался над неудачами учеников, над их отчаянием... Злорадная улыбка мелькала на его жестком лице! А когда молодому художнику казалось, что он достиг чего-то, что жар-птица у него в руках, — он быстро, одним замечанием, ехидным и безжалостным, сбрасывал мнимого счастливца с облаков на пыльную землю... Так дряхлеющий старец следит за любовными надеждами розовощекого, влюбленного юноши.

Точная копировка, которая в его глазах была искусством, стала бичом, которым он хлестал и хлопал как укротитель в зверинце. Зверь смирялся, глаза его тускнели, опускались руки перед «идеалом». Молодой художник превращался в пьянчужку или чиновника! Что хуже для художника — не знаю! Но как же я верила в него! Верила в нечто духовное, что он сообщает ученикам. Я брала несколько лет у него частные уроки!

Из деликатности я не стал углублять эту тему, въедаться в душу моей собеседницы. Все было и без того ясно! Какой-то момент отчаяния на трудном пути. Но этот источник, запруженный в одном месте, этот подземный родник нашел себе сам другой путь и разлился рекой на радость людям. Я слышал какие-то неясные отзвуки, там, у себя за стеной, клокотание этого родника, который находил себе путь... То быстрые шаги вдоль комнаты от окна к двери, вдоль пенала, то скрип стула, то глухое молчание!

Осенью 1921 года Ольга Дмитриевна переехала в круглую комнату и перестала быть моей непосредственной соседкой. Эту комнату в центре нашего темного коридора, то есть в углу бумеранга, она описала дважды: в романе «Одеты камнем» (тут происходит свидание Бейдемана с Достоевским) и в своей капризной и острой книге «Сумасшедший корабль».

«Мы вошли в удивительную комнату. Она была огромная и совершенно круглая. По внешней стороне, дугой огибающей проспект и канал с желто-зеленой водой, шли три больших окна. Первый план прекрасно совпадал с бесконечной перспективой на город. За окном, как призрак, возникало одно из чудес Растрелли — красный графский дворец. На фронтоне — две лисицы, взметенные на дыбы. В переменчивой игре заката они казались ожившими.

Когда все окно охвачено пурпурно-золотым небом заката и все здания зыбки, я в этом городе чую острее гений строителей, и Петербург предстает мне нередко Италией».

«А та, круглая, необыкновенная комната, по справкам, мною о ней наведенным, от приятеля Достоевского очень скоро перешла в руки к некой мадам Флоренс. Этой

даме служила она вплоть до революции общей залой для девиц и гостей ее легкомысленного, но доходного заведения...» («Одеты камнем». Шестая глава.)

Эта же комната описана в «Сумасшедшем корабле». До переезда Ольги Дмитриевны в нее там жила художница Щекатихина-Потоцкая. Описание красного графского дворца с его лисицами, поддерживающими герб Строгановых, — великолепно, романтично, музыкально и красочно! Не будем жалеть о том, что она не доучилась у Чистякова!

Меня часто спрашивают, кого описала в несколько фантастическом облике в своем «Сумасшедшем корабле» Ольга Дмитриевна.

Если внимательно прочесть ее предисловие к этой книге, то явствует, что автор не ставил себе задачу написать документальную повесть. Писательница желала литературно «пороскошествовать». Теперь нам кажется, что «роскошь», излишняя «орнаментация» для тех «годин» неуместна. Она только мешает уловить облик эпохи и ее людей. Но как оторвать писателя от литературных увлечений его эпохи? Амадей Гофман царил тогда во всех умах. Его личный причудливый стиль как-то совпал с нарочитостями кубизма. Сдвиги во времени, разрывы, перемещения! Конец повести — это всегда первая ее глава, и только в конце начало! Нет, без этих «соусов» не писал тогда ни один уважающий себя литератор! Иначе ты просто отсталый писака для журнала «Нива» или «Солнце России». Все это есть и в «Сумасшедшем корабле» с его путаницей, неправдоподобностями и сумбуром!

В эпоху Кронштадтского мятежа, разумеется, никаких кафе на Невском не было! Нарушено что-то основное в «лике» той эпохи. Уж никак не могла повесить на елку телеграммы Билибина из Каира художница Щекатихина. Она их прятала и не всем показывала! Но есть или, вернее, прорываются помимо Гофмана великолепные страницы русского реализма. Это страницы о Клюеве и Есенине...

Меня часто спрашивали в порядке разъяснения: кто и что? Спрашивали люди, проживавшие в те годы в Доме искусств, — настоящие «обдиски» («обитатели дома искусств» — так в шутку назывались мы все, населявшие

этот зверинец). Ряд забавных наименований, вроде вычурных елочных игрушек, скрыли имена реальных лиц. Прошло полстолетия! Все стало историей, и не стоит беречь эти маски. Они были иногда удачны и вызывали улыбку, иногда были натянуты и разочаровывали своей придуманностью. Либин и Котихина — великолепно и очень «елочно»! Это — художник Билибин и художница Щекатихина. Гоголенко — это Зощенко. Михаил Копильский — Слонимский. Эльхен — поэт Нельдихен. Поэтесса Эллан — последняя «снежная маска» — Надежда Павлович. Красивый сосед — не узнаю. Ариоста — Мариэтта Шагинян. Акович — Аким Львович Волынский. Гаэтан — Блок. Микула — Клюев (ну какой уж там Микула — слишком другое народ вложил в этот образ!). Еруслан — Горький, Инопланетный гастролер — Андрей Белый. Поэт с лицом египетского писца — Гумилев!

В. Шкловский

НАШ СОВРЕМЕННИК

*

Печататься Ольга Дмитриевна Форш начала в начале нашего столетия; перед этим работала учительницей рисования.

Девичья фамилия ее Комарова. Отец ее был крупным военачальником.

Форш — это фамилия мужа Ольги Дмитриевны.

Ольга Дмитриевна еще до революции строила свою жизнь не так, как легче ее построить, а так, как она ее хотела строить: она строила жизнь заново, отрицая прошлое, но не отрекаясь от него.

В Ольге Дмитриевне была армянская и украинская кровь; украинский язык она знала хорошо, и способность к шутке по мере рассказа была у нее украинская. Рассказывала она замечательно, и не просто передавала, что было прежде, а умела видеть то, что было прежде.

Первые рассказы Ольги Дмитриевны, как мне кажется, были написаны под влиянием Ремизова, превосходно владевшего языком и иронией.

Уже первые рассказы Ольги Форш реальнее, бытовее рассказов ее учителя.

Многие из нас легко и поспешно стареют и засыхают.

В одном из первых своих рассказов Ольга Дмитриевна подробно описывала человека, который не хотел мыть стекла окон своей комнаты: ему казалось, что с немытыми стеклами легче воображать иную жизнь.

Рассказ назывался «Шелушея».

Человек засыхает в своей комнате. Его больные мысли материализовались, живут рядом и вытесняют человека из жизни, переживают его.

Мне пришлось с Ольгой Дмитриевной познакомиться в Доме искусств в тогдашнем Петербурге в 1918—1919 годах. Старый дом, выходивший на четыре улицы, принадлежал до революции знаменитому фруктовщику, владельцу гастрономических магазинов Елисееву.

Ольга Дмитриевна описала этот дом в одном своем раннем романе — «Сумасшедший корабль»; этот же дом Александр Грин описал в рассказе «Крысолов».

Будущее стояло над городом крупным планом, было видно, как карта или как далекий берег.

Когда говорят слова «военный коммунизм», выделяют слово «военный», но коммунизма в том серебряном Петербурге было много.

Он жил не только надеждами, но и ступенями к будущему, уже становясь Ленинградом.

Ольга Дмитриевна была среди нас одной из самых старших — и была со всеми по возрасту «вровень». Она не торопилась стареть, торопилась работать, много писала, рисовала.

Со мной она была дружна; не сердилась на мой тогдашний, чрезвычайно отрывистый стиль, отведывала его, по тогдашним ее словам, как сухое шампанское, но про меня самого говорила, что я похож на портрет «курносого фурсика, императора Павла, и на сосредоточенного и недоверчивого раба, изображенного в картине Иванова «Явление Христа народу».

Так написано в «Сумасшедшем корабле».

Недавно издана переписка Ольги Форш с Максимом Горьким, — это значительные, веселые и печальные письма двух современников, понимающих друг друга.

Старый Петербург и старая Россия для многих из нас были вчерашним днем. Детство и юность заслонились войной и революцией. Для Ольги Форш дома и дворцы Петербурга были местами, в которых она раньше быва-

ла, она знала, как люди ходили в них, она была веселомудра и, казалось, жила в мире Николая Гоголя, Александра Иванова. Эти люди и были для нее главными современниками, но как будто освобожденными от тяжести лет, просветленными, хотя и трагичными.

Она читала и перечитывала Гоголя целиком, любовалась его прозой, статьями и среди мертвой шелухи «Выбранных мест из переписки с друзьями» видела блестки пробившего все вдохновения, пожара, согревающего будущее. Она просветляла прошлое.

«Сумасшедший корабль» оторвался от прошлого, плыл в будущее. Это был корабль первооткрывателей, увы, мы не всегда умели пользоваться точными ленинскими картами.

Города социализма тогда еще не строились.

Новое в городах надстраивалось над старым.

Ольга Дмитриевна жила в надстройке над домом, в котором когда-то жили певчие придворной капеллы.

Дом стоял над бывшим Екатерининским каналом, ныне каналом Грибоедова. Рядом старая улица называлась именем Софьи Перовской.

Софья Перовская душевно и социально близка Ольге Форш.

Когда меняется время, когда сменяется нравственность, лучшие люди, рожденные прошлым, уходят к новым людям, чтобы вместе с ними нести новые тяжести.

Дом, в котором когда-то торговали американскими швейными машинами, стал Домом книги.

Церковь, поставленная на месте, где бомба настигла Александра II, теперь напоминает о гибели первомартовцев.

Дом на канале Грибоедова был домом новой жизни. Здесь Ольга Дмитриевна создала один из первых советских сценариев — «Дворец и крепость», — это инсценировка ее романа «Одеты камнем». Это была очень хорошая, доходчивая народная лента, с презрительной, веселой и негодующей иронией, обращенной в прошлое. До сих пор помню несколько кадров из этой ленты, которую видел сорок лет тому назад.

Ольга Дмитриевна написала роман «Современники» про эпоху Гоголя, писала про старую Россию — про Радищева, ее история была современна. Она помогала народу переосмыслить прошлое.

Мы, наследники, на обломках прошлого ставим великие имена, как это завещал Пушкин.

Ничто не исчезает. Рука времен умеет промывать породу, для того чтобы добыть из нее золото. Время Екатерины становится временем Радищева и Пугачева.

Ольга Дмитриевна долго не соглашалась стареть, все время работала. Возраст у нее был непаспортный. Она оставалась современницей в быстром развитии советской литературы.

Я помню высокий стан Ольги Дмитриевны, ее ясный голос, когда она как старейший писатель открывала Второй съезд писателей.

Последнее, что я читал из написанного Ольгой Дмитриевной, это описание могилы старухи — ее няни. Статья напечатана в «Правде» и полна бодрой печалью. Это было очень поэтично: как надо уметь жить, умирать, ничего не боясь, работая и не жалуясь ни на что.

Новым поколениям и современникам Ольга Дмитриевна оставила не только книги, она дала урок подвига.

Она показала, для чего надо всю жизнь изменяться, как надо в жизни учиться новому, все время расширяя границы своего таланта.

Она умерла в новом доме, поставленном перед Петропавловской крепостью.

Умерла в глубокой старости, не покинув места в строю.

Е. Полонская

«НА ПАМЯТЬ О ПОДВОРОТНЯХ»



Много раз мы с Ольгой Дмитриевной Форш возвращались вместе со всевозможных писательских собраний и никогда не могли наговориться досыта. Расставаясь, мы стояли еще долго где-нибудь в подворотне, и я читала ей недавно написанные мои стихи, а она рассказывала мне про только что найденную ею достоверную деталь, необходимую для одного из ее исторических романов, деталь, за которой она давно охотилась, чувствуя, что обязательно должна найти ее, — и вот нашла про масонов, «и как раз то самое, что мне было нужно, — слушайте...».

Мы простаивали с нею еще и еще четверть часа и наконец расходились по домам, обещая друг другу встречаться чаще. Но проходило три, а иной раз и четыре месяца, пока очередное писательское собрание снова сталкивало нас.

Я всегда радовалась, увидав издали ее умное, одухотворенное лицо с черными, как вишни, глазами и гривой непокорных, присыпанных солью волос, ее усмешку, полную веселья и задора, но чуть-чуть грустную. У Ольги

Дмитриевны был необычайно низкий голос, контральто, немного скрипучее, — его даже можно было назвать женским басом; а росту она была небольшого, со склонностью к полноте, которая в поздние ее годы сделалась даже болезненной. Но в начале двадцатых годов она была еще очень подвижна, двигалась резко, ее ноги и интеллект казались неутомимы. Она не стеснялась расстояниями и жадно впитывала в себя все, что видела, слышала и читала.

Помню, как она первая заметила глубокомысленную надпись, появившуюся в начале нэпа на платформе тогдашнего Детскосельского вокзала, куда прибывали из Павловска и Гатчины поезда, переполненные торговками, жаждущими подороже содрать с голодных горожан за необходимое их детям молоко. «Молочницы выделяются в хвост», — обозначено было крупными буквами на куске фанеры.

Мы десятки раз проходили мимо этой надписи, сердясь, что никак не можем попасть в поезд, забитый толстыми, часто полупьяными молочницами, возвращающимися по домам — к своим коровам. Только одна Ольга Дмитриевна заметила, что железнодорожная власть принимала твердые меры, желая обеспечить порядок в поездах и удобство пассажирам, — молочницам предлагалось занимать места в конце поезда.

В начале нэпа Ольга Дмитриевна жила, так же как и многие другие советские писатели, в Доме искусств. Она была старше всей нашей компании «серапионов», но любила посещать наши собрания и с интересом слушала, как мы читали только что написанное и беспощадно критиковали друг друга. Константин Федин, Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, Михаил Слонимский, Николай Тихонов, Николай Никитин очень ценили ее меткое слово, когда она напускалась на нас за неточно выраженную мысль, фальшивую деталь или неоправданный композиционный ход.

Про нее говорили, что в одном из дореволюционных толстых журналов — не то в «Образовании», не то в «Русской мысли» — у нее был напечатан то ли роман, то ли повесть. В общем, ее литературное рождение состоялось давно. Никто из нас не читал этого произведения, но слух о нем держался упорно, и Ольга Дмитриевна «ходила в старых писателях».

Старые писатели тогда окружали нас тесным кольцом. Некоторых из них мы когда-то уважали, перед иными преклонялись. У них были твердо завоеванные имена, репутации, квартиры. У Ольги Дмитриевны не было квартиры, как и у многих из нас. Впрочем, те из нас, у кого была в Петрограде семья и квартира, предпочитали уходить от них: так было легче и проще.

Ольга Дмитриевна Форш вместе с сыном Димой также жила в эти годы в «обезьяннике» при Доме искусств. Рядом с ней, в такой же каюте, помещалась художница Щекатихина с маленьким сыном, а через коридор жила Надежда Павлович, поэт. В книге, которую Ольга Форш назвала «Сумасшедший корабль», рассказано о жителях этого дома, о фантастическом быте лет, когда бывший дом Елисеева казался нам куда-то несущимся призрачным кораблем.

Но сама Ольга Дмитриевна была земным человеком, полным жизни, веселья, интереса ко всему существующему. Она была одарена острой наблюдательностью, ее черные глаза сверкали лукавой усмешкой, ее меткое слово не знало пощады. Своего сына Диму и его ровесника, сына Корнея Чуковского Колю, шестнадцатилетних подростков, она прозвала недомерками и неподражаемо весело рассказала в «Сумасшедшем корабле» о том, как эти мальчики изображали дельфинов в «живом кино». Живое кино ставилось еженедельно в одной из гостиных под режиссерством и с конферансом Евгения Шварца, — в ее повести он фигурирует под прозрачным прозвищем Геня Чорн. Сценарий назывался «Антоний и Клеопатра» (не по Шекспиру); в связи с тем, что примитивная техника не позволяла показать флотов Антония и египетской Клеопатры, пришлось их заменить игрой восхищенных дельфинов. Прыгая под елисеевским ковром, дельфины — Коля Чуковский и Дима Форш, чтобы «перенырнуть» друг друга, показывали чудеса ловкости и даже разбили себе носы в кровь, за что им была выражена благодарность дружными рукоплесканиями зрительного зала.

Ольга Дмитриевна была не только талантливым писателем, она была еще и даровитым художником.

Уже на закате жизни, закончив ряд больших исторических романов, Ольга Дмитриевна как-то сказала мне: «Вот закончила я свою работу в литературе, теперь буду снова художником, — ужасно хочется писать природу».



О. Форш. 1924



Ю. Либединский, О. Форш, К. Федин. 20-е годы

О. Форш и М. Слонимский. 20-е годы

На память о наших разговорах, которые мы никак не могли закончить, у меня сохранилось несколько подаренных ею книг с дарственными надписями. Вот что она писала мне:

«Елизавете Григорьевне Полонской на память о подворотнях. 1923».

«Милой Елизавете Полонской, поэту, на память о том же: подворотня, речи злые и добрые, недоданная конфекта. 7 декабря 1926 года».

Много лет Ольга Дмитриевна жила у Тучкова моста в одной квартире с Ильей Александровичем Груздевым и его женой Татьяной Кирилловной, с которыми дружила. По ее просьбе Груздевы приняли ее «в дочки», — так она называла сама их совместную жизнь в тридцатые годы. Это было время, когда Форш писала трилогию о Радищеве. Работа в архивах и библиотеках поглощала много времени и сил. Помню, в один из приездов Ольги Дмитриевны из Москвы, где она работала в архиве, она с волнением рассказала, что видела те документы о восстании Пугачева, которые изучал Пушкин, когда занимался «Историей пугачевского бунта».

— У Пушкина все изложено точно, как будто стенографировано. А ты так не можешь! — поддразнил ее Груздев.

— Стенографировать могу, а вот сидеть в Москве по полгода — средств нет! — отпарировала Ольга Дмитриевна.

— А у него были? Он в долги влез, а ты не можешь.

Форш заговорила о другом:

— Счастливые мужчины: за них всю черную работу делают жены, и потому мужья могут только думать и писать. Хоть бы мне жениться на какой-нибудь умной женщине!

Всю жизнь Ольга Дмитриевна мечтала о маленьком клочке земли, где она могла бы жить и работать спокойно. Наконец (помнится, это было вскоре после войны) ей дали в аренду избу в Комарове, неподалеку от писательского Дома творчества. Помню, как она обрадовалась и сразу же побежала полоть крапиву на «своем» участке. К обеду она вернулась довольная, с обожженными по локоть руками. Вечером после службы приехал Дима, и оба взялись за приведение избы в жилой вид.

На комаровской даче я бывала в гостях у Ольги Дмитриевны, и она с достоинством показывала мне разгороженную ситцевой занавеской кухню с русской печью, полки для книг, а перед окном скамью и стол, сколоченные Димой, а также в огороде грядку с луком, который она посадила сама. Мы поговорили досыта обо всем на свете и выпили по две чашки настоящего крепкого черного кофе.

— Без кофе не могу жить, — пожаловалась Ольга Дмитриевна, — сердце не работает! — Потом улыбнулась и прибавила: — Требует, чтобы его подхлестывали.

Жилось Ольге Дмитриевне нелегко. Была большая семья, были горькие годы разлуки с дочерью, несчастье в семье сына. Были хлопоты о книгах, нападки критики, было мало денег. Ольга Дмитриевна стойко переносила все. Только сгорбилась немного да складки у рта обозначились резче. Но все та же веселая ирония сверкала в черных глазах под одетыми в снег непокорными волосами.

В 1953 году мы отпраздновали восьмидесятилетие Ольги Форш. Денег все еще не хватало, но была слава. Было много телеграмм и папок с адресами, много речей. Ольге Дмитриевне подарили телевизор. Ленсовет предоставил Ольге Дмитриевне две смежные квартиры в почти достроенном доме у моста Революции, и она перебралась туда вместе с детьми и внуками из той небольшой квартиры в пятом или шестом этаже писательской надстройки на канале Грибоедова, где она прожила столько лет. Теперь у нее была наконец собственная комната для себя, и квартира для детей, и отдельная комната для любимой внучки, которая тоже зовется Ольга Дмитриевна. Теперь она получила возможность начать строить собственную хибарку (так она ее называла) в Тярлеве, недалеко от того места, где жили родные ее учителя, Чистякова. И тут сердце отказало...

Недостаточность сердечной деятельности, кардиосклероз, слабость сердца и как результат упорная, не поддающаяся лечению водянка. В Союзе писателей пошли слухи о том, что Ольга Дмитриевна при смерти и никакие сердечные средства уже не помогают. Говорили, что к ней послан лучший из наших врачей-консультантов и что ее часы сочтены, что от больницы Ольга Дмитриевна отказалась.

Меня встревожило это известие — ведь я давно не видала ее и даже не знала о ее болезни. Неожиданно для себя, решив, что должна еще раз повидаться с милой спутницей многих лет жизни, со старым другом, я позвонила на квартиру Форш по телефону и спросила, можно ли проведать ее. Мне ответили не сразу: справились о моей фамилии и попросили подождать ответа. Я слышала какие-то голоса в комнате, потом мне сказали, что Ольга Дмитриевна просит меня зайти к ней в любое время. Я поехала к мосту Революции в тот же день к вечеру.

Больная лежала в постели. Она казалась очень слаба, но, увидав меня, улыбнулась, как бывало, и попросила посидеть с нею, рассказать, что делается на свете. Ольга Дмитриевна предложила мне выпить с ней кофе, и, когда пожилая дама, ухаживающая за ней, принесла и поставила перед нами чашки с крепким кофе, Ольга Дмитриевна с удовольствием втянула в себя несколько глотков и сказала:

— Вчера мне уже было очень плохо — хуже не бывает!

— А сегодня как вы себя чувствуете?

— Сегодня я чувствую, что мне лучше. Знаете, мне вчера принесли письмо из Гослитиздата, предлагают полное собрание сочинений. Я должна его подготовить!

— Ольга Дмитриевна! Но ведь это может вам повредить!

— Как это повредить! Сейчас это мне необходимо. Так я ему и сказала!

Я видела, что Ольга Дмитриевна сердится. Она помолчала минуту, потом шепнула мне:

— Сядьте ближе. Можно на кровать — никто не увидит.

Я придвинулась, и она сказала совсем спокойно:

— Вчера утром у меня был их консультант, — ну, вы его знаете...

— Дембо?

— Кажется, так. Он предложил мне лечь в больницу. Я объяснила, что хочу умереть дома. «Скажите, чтобы мне давали есть мясо, — хочу бифштекс, хочу черного кофе!» Он посмотрел на меня с подозрением: «Ольга Дмитриевна, у вас водянка». — «Знаю». — «Откачивать нельзя». — «Знаю». Еще бы не знать, когда я видела мой живот, лежа на спине, — он был как гора Машук!

Дембо еще раз предложил мне больницу, но я уже не могла говорить, так устала. Он еще раз выслушал мое сердце и, уходя, сказал Леночке за дверью: «Давайте ей есть все, что она попросит». Тут я поняла, что мне, кажется, крышка! Слушайте дальше.

Мне уже не хотелось ни кофе, ни бифштекса! А в пять часов принесли письмо из Гослитиздата, из Москвы. Письмо и договор. Не хватало только моей подписи. И я подписала.

Вечером у меня был еще разговор. Один на один, понятно? Я сказала ему: «Ты не можешь сделать так, чтобы я умерла сейчас, раньше, чем я получу деньги. Понятно? Мне нужно обеспечить детей, заплатить долги, понятно?»

Всю ночь из меня шла вода, — я думала, ей не будет конца. А утром я выпила черного кофе — три чашки подряд. Потом позвонили вы.

Это была моя последняя встреча с Ольгой Дмитриевной. Она прожила еще несколько лет и даже ездила в Крым. Но больше всего она любила жить у себя в Тярлеве и «рисовать природу», как она говорила.

Вс. Рождественский

ВСТРЕЧИ И БЕСЕДЫ



Если бы я захотел припомнить, когда и как произошло мое знакомство с Ольгой Дмитриевной Форш, мне пришлось бы вернуть свою память в далекие времена литературной юности, в эпоху незабываемого для моего поколения петроградского Дома искусств, сосредоточившего всю культурную жизнь города в трудную для него пору 1919—1921 годов.

Это своеобразное учреждение, детище неистощимой энергии А. М. Горького в ряду многих его культурных начинаний («ЦКУБУЧ» — Центральная комиссия по улучшению быта ученых, издательство «Всемирная литература», различные комиссии и совещания по музейным, библиотечным и театральным делам), было едва ли не первой и единственной в истории литературного быта литераторской коммуной-общежитием, объединившей писателей старшего и самого юного поколения: по мысли Алексея Максимовича, необходимо было создать им нормальные условия для работы в те годы, когда Петроград переживал нелегкое время всяческих бытовых лишений. Шла гражданская война, в городе не хватало топлива,

продовольствия, в бездействии стояли законсервированные заводы, едва ли не половина населения — и в первую очередь рабочие — находилась на фронтах.

Название Дом искусств оказалось в дальнейшем вполне оправданным. Как только обозначился решительный перелом на фронтах, как только стали поступать в город эшелоны с хлебом и возвращаться рабочие, оживать первые цеха бездействовавших раньше заводов и вообще восстанавливаться обычный распорядок городской жизни, решительно пошли в рост и первые побеги молодой советской культуры.

Это общее состояние не могло обойти и Дом искусств. Он перестал быть только общежитием, соединившим людей разных писательских поколений с их различием мнений и пристрастий, с неизбежной в таких случаях атмосферой мелких и чисто бытовых интересов. Чаще стали устраиваться публичные литературные вечера, носившие в то время названия «устных альманахов», развернулась работа различных студий для начинающих литераторов и просто энтузиастов-любителей. Занятиями руководили К. И. Чуковский и М. Л. Лозинский. Были попытки наладить камерные концерты и даже организовывать периодически выставки художников. Словом, Дом искусств постепенно становился центром культуры возвращающегося к нормальной жизни Петрограда.

К этому времени я уже считался давним обитателем Дома, где делил небольшую комнатку вместе с моим другом тех и последующих лет Н. Тихоновым. Оба мы еще носили военную шинель, оба служили в одной из частей петроградского гарнизона и, пользуясь «правом проживания на частной квартире», с увлечением готовили свои первые книги, принимая непосредственное участие в оживившемся обиходе писательской коммуны.

Старшее поколение занимало комфортабельные, хорошо обставленные комнаты елисеевского верха, держалось несколько обособленно; его связывали общие интересы и привычки, часто малопонятные молодежи. Самой старшей по возрасту и литературному стажу была старая писательница Е. П. Леткова-Султанова, в давней юности своей встречавшаяся с Тургеневым, близкая к редакциям радикальных журналов. Высокая, стройная, всегда в строгом черном платье, она и в старости сохраняла следы редкой красоты, держала себя величественно, хотя и без

оттенка надменности. У нее часто гостила ближайшая подруга, баронесса В. И. Икскуль, общественная деятельница эпохи позднего народничества, портрет которой написал И. Е. Репин. С ними дружила соседка по комнате, низенькая белобрысая старушка, сестра художника Врубеля. Где-то по соседству в том же этаже жил критик-идеалист А. Л. Волынский, автор обширных монографий о Достоевском и Леонардо да Винчи, прославившийся в свое время пылкой полемикой с Н. К. Михайловским. Низкого роста, худощавый, с узким личиком, изрезанным пергаментными морщинами, он, внезапно загораясь в споре, гордо вздергивал седеющий хохолок сильно поредевших волос и, резко взмахивая длинными костлявыми пальцами, сопровождал свою речь каскадом неожиданных, почти кабалистических жестов. Всякий разговор с ним превращался в затяжной, но всегда интересный спор, потому что не было для Акима Львовича большего удовольствия, чем сыпать внезапными афоризмами и приводить наизусть длиннейшие цитаты отвлеченно-философского характера. Он был вдохновенно многословен, вычурно красноречив, каждый спор переводил в собственный монолог, превращая собеседников в почтительных, загипнотизированных слушателей. Всех подавлял он своей изысканной эрудицией, за исключением, пожалуй, одной М. С. Шагинян, столь же пылко воспламеняющейся при каждом обнаруженном ею противоречии или недостаточно убедительном доказательстве.

А происходили эти прения обычно по вечерам в просторной кафельной кухне елисеевских покоев, единственном месте, хранящем весь день благотворное тепло, которого не хватало в скудно отапливаемых личных комнатах. Сюда, к обширному медному баку с кипятком, сходились все обитатели Дома с собственными стаканами и чашками в руках. Здесь пристраивалась на конце большого кухонного стола, вооруженная большими круглыми очками, Мариэтта Шагинян и старательно писала что-то в объемистой черной тетради. Медлительно прохаживался рыжеватый, с сильно поредевшими кудрями критик-эстет и дотошный исследователь русской просодии, сотрудник журнала «Аполлон» Валериан Чудовский, всегда в каком-то необычном бархатном жилете, поверх которого раскачивалось на черной широкой тесьме позолоченное пенсне. В стороне на табуретке, вытянув перед со-

бой длинные ноги, сидел всегда хмурый и молчаливый А. С. Грин и внимательно слушал развертывающуюся дискуссию. Он не принимал в ней участия, не вставлял ни единого слова и только изредка хмыкал себе под нос, что можно было принять за знак презрительного неодобрения. А центром беседы, как всегда, был Волынский. Он сидел на столе, далеко не доставая хилыми ножками до полу. Плечи его покрывал старенький клетчатый плед, а в сгорбленной спине было что-то зябкое, птичье. Но речь его текла неудержимо и была полна сарказма, обращенного на неуверенно возражавшего ему Чудовского.

Вот в этой-то обстановке зимнего кухонного клуба и довелось мне впервые увидеть и услышать Ольгу Дмитриевну Форш. Точнее было бы сказать «услышать», потому что видел я ее неоднократно и раньше в коридорах и переходах верхнего этажа. На людях появлялась она сравнительно редко и большую часть времени проводила у себя в комнате за рабочим столом. Писала она в то время один из своих первых исторических романов. Возможно, это было страстное повествование о гениальном художнике Александре Иванове и о его беседах с Гоголем под небом Рима или взволнованный рассказ о несчастном пленнике Петропавловской крепости Бейдемане, получивший впоследствии название «Одеты камнем» — по старинной надписи, до сих пор существующей на крепостной стене.

Ольга Дмитриевна вошла на кухню в самый разгар оживленного разговора, готового каждую минуту перейти в спор, и, как всегда, на самые отвлеченные темы. Невысокого роста, плотного сложения, неторопливая и всегда внешне спокойная, она остановилась, прислушиваясь, около группы спорщиков. Несколько отяжеленные черты ее лица выразили крайнее удивление. Большие глаза смотрели из-под густых бровей остро, пытливо и даже с налетом некоторой иронии. Мясистые губы едва удерживали насмешливую улыбку. Форш терпеливо слушала чьи-то пространные рассуждения на модную среди дореволюционной интеллигенции тему о стихийном и загадочном характере русской народной души, о полной невозможности предвидеть, как она поведет себя в тот или иной роковой период родной истории. И когда чуть ли не в десятый раз повторилось это дежурное слово «загадочный», Ольга Дмитриевна не выдержала. Тяжело и реши-

тельно шагнув вперед, она прервала оратора басовитой, уверенной репликой:

— И никакой загадочности тут нет! Нужно лучше знать и помнить нашу историю. Просто народу не давали сказать свое слово, затыкали ему рот, хотя он и пытался порою сказать в полный голос то, чего он хочет, что наболело у него веками. А вы все ведете спор о непостижимости его желаний! По старой интеллигентской привычке судите об этом с высоты своей индивидуальной башни. К чему тратить слова ради самих слов? Время таких словопрений прошло безвозвратно. Надо всем включаться в труд, и при этом самый будничный, неказистый, но сейчас совершенно неотложный. Труд для народа и обязательно с ним.

Возможно, все это было сказано не такими словами, но основная мысль осталась у меня в памяти. Запомнилась и общая реакция смущения, охватившая участников этого разговора.

Волынский, выдержав паузу, заметил примирительно:

— Вы, как всегда, очень прямолинейны, Ольга Дмитриевна...

— Я не считаю это недостатком, Аким Львович!

И столь же неторопливо и степенно, налив чайник у общего бака, удалилась в свой коридор. А молодая часть слушателей сочувственно посмотрела ей вслед.

Я привел этот, быть может, ничем особо не примечательный случай только потому, что в нем впервые открылась для меня обособленность положения Ольги Форш в тогдашнем Доме искусств.

Ольга Дмитриевна принадлежала к старшему поколению, жила в его среде, по происхождению, воспитанию, культуре могла говорить с ним на общем языке, но все ее интересы лежали в иной плоскости, и с молодыми она разговаривала охотнее и, как казалось, гораздо откровеннее.

Вообще она пользовалась большим уважением и к ее мнению прислушивались. А выражала она его всегда прямо и даже несколько категорично, впрочем облекая в такую форму, что никто не счел бы себя вправе обижаться. Воспитанность, сказывавшаяся в ее общении с людьми, и большая внутренняя культура сочетались в ней с простотой и духом подлинного демократизма, хотя выросла она в генеральской семье царского времени и во-

спитывалась, как говорили, в привилегированном учебном заведении. Среди старших Дома искусств Ольга Дмитриевна несомненно была самой молодой. В этом мы убеждались неоднократно.

После оживленных дебатов и обсуждений молодежь Дома искусств с тем же увлечением предавалась обычным для своего возраста играм и забавам. Впрочем, забавы эти были не совсем обычными. Если начинались шарады, то они импровизационно превращались в небольшие пьески с уверенно проведенным сюжетным развитием. Особенным успехом пользовалась игра в кинематограф. Тогдашняя кинопродукция оставила в наследство новой эпохе немалое количество салонно-мещанских мелодрам. Все это давало обильную пищу для пародий, разыгранных в лицах. Сценарий составлялся тут же на месте. Непревзойденным импровизатором бывал обычно Лев Лунц. Действие развивалось стремительно и вместо немых титров сопровождалось едкими, остроумными комментариями Евгения Шварца, возбуждавшими дружный хохот. Таких фильмов «впервые на нашем экране» прошло немалое количество. Запомнился один, хотя только по названию: «Графиня-соперница, или В когтях змеи». Евгений Шварц в пояснениях к нему превзошел самого себя.

Зрителей в тесное помещение, где все это происходило, набивалось много, и неизменно в первом ряду сидела Ольга Форш, которой подобные зрелища доставляли немалое удовольствие. Она даже порой подсказывала нужные реплики, и всегда со свойственным ей лукавым остроумием. Она была остра на язык, но пользовалась этим природным свойством умеренно и кстати. Любила меткое, емкое русское слово, любовалась им, когда оно попадалось на странице книги или в устной речи. И вообще ревниво относилась к чистоте родного языка. Помню, как однажды, читая какую-то газетную статью, отложила ее в сторону и, вздохнув, сказала:

— Русский язык портим. В каждой фразе два-три иностранных слова там, где и по-русски сказать можно. Ленин-то что по этому поводу говорил?

Ольга Дмитриевна любила шутку и сама на нее не обижалась. Людям, мало ее знавшим, казалась она несколько суровой, но стоило только ей лукаво улыбнуться, как ее крупно вылепленные черты озарялись поистине

пленяющим собеседника добродушием. Простой и естественной была она в привычном для нее кругу, но, случалось, принимала и весьма неприступный вид, если приходилось иметь дело с чьей-либо назойливостью и бестактностью. Все же привычная доброта в конце концов брала верх.

Как-то, это было еще до войны, отдыхала она в писательском Доме творчества «Комарово». К ней, уже известному автору исторических романов, время от времени приходили поклонники и поклонницы, вызывая ее на длинные и далеко не всегда содержательные разговоры. По свойственной ей воспитанности Ольга Дмитриевна не считала себя вправе уклоняться от таких посещений, хотя и занята была напряженной работой над очередной рукописью. Правда, потом вздыхала облегченно и, возвращаясь к своему столу, роняла на ходу:

— Сколько еще любопытных людей на свете!

Однажды явился к ней довольно бойкий, франтоватый молодой человек, оказавшийся затейником из ближайшего Дома отдыха, и упросил ее принять участие в литературном вечере. Ольга Дмитриевна вообще не очень охотно соглашалась на публичные выступления, но на этот раз не ответила отказом потому, что, как сказала она потом, ей «не хотелось огорчать молодого энтузиаста литературы».

Этот «энтузиаст» запомнился ей надолго. Открывая вечер в переполненном зале, он резво взлетел на эстраду и объявил громогласно:

— А сейчас, дорогие товарищи отдыхающие, маленькое сообщение: фокусник из Ленинграда опаздывает, и мы попросим нашу гостью, писательницу Ольгу Фарш, современницу декабристов, доставить нам удовольствие и развлечение. Просим! Просим! Приветствуйте аплодисментами!

Ольга Дмитриевна с самым серьезным выражением лица тяжело поднялась по ступенькам эстрады.

— Небольшая поправка, уважаемые слушатели, даже две. Во-первых, я не Фарш, а Форш, а во-вторых, я не современница декабристов, как меня назвал хозяин нашего вечера. Но я благодарю его. Он оказал мне большую честь, которой я вовсе не заслуживаю.

И так же спокойно, с чувством собственного достоинства развернула принесенную с собою рукопись.

Бойкий и развязный устроитель развлечений в Доме отдыха, видимо, чем-то задел ее воображение. Она вспоминала его не раз, и на наших глазах он превращался в литературный персонаж, наделенный особыми свойствами характера. Ему даже было придумано какое-то замысловатое имя, то ли Ромуальд, то ли Эрнест, и чуть ли не биография. А однажды мы выслушали такой рассказ-импровизацию:

— Иду я как-то ранним утром мимо ограды этого самого Дома отдыха. И вижу — на центральной площадке собралось немало народа. Люди все солидные, плотные — с брюшком, с лысинкой. Построены широким кругом друг другу в затылок. В самом центре этого круга наш знакомец, затейный юноша, а рядом с ним на табуретке вихрастый парень с аккордеоном в руках. Понимаю, что это час утренней зарядки. Юноша что-то объясняет, словно окутывая себя молниеносной паутиной жестов, в неожиданных изломах всего туловища, лихих выпадах то правой, то левой руки. Начинаю в этой вихревой скороговорке различать слова: «Начнем с классической походки, товарищи. Классическая походка — это вам не в магазин идти или там на футбольный матч. Это к нам из Древней Греции дошло. Одобрено философами. Аристотелем там и другими. Шаг широкий, мужественный, полувоенный. Ноги циркулем, во всю ширину. Ступня по правилам — с пятки на носок, с пятки на носок! Целевая установка — создать хорошее настроение и бодрый аппетит. Понятно? Итак, начнем. Вася, — это к аккордеонисту, — давай! Раз-два! Раз-два! Пятка! Пятка! Где пятка? Не вижу пятки. Носок! Еще носок! Вот так, вот так! А теперь все хором: «А вот так ходил босой Лев Николаевич Толстой!» Раз-два! Раз-два! Раз-два! С пятки на носок! С пятки на носок!»

* *

Вспоминается, как на одном из литературных чтений, уже после эпохи Дома искусств, кто-то из публики задал Ольге Дмитриевне коварный, с его точки зрения, вопрос: почему в ее исторических произведениях так мало истории?

Ольга Дмитриевна удивилась:

— Как это?

— У вас не так уж много о самих событиях. Ваши персонажи больше разговаривают, чем действуют.

— Ах, вот в чем дело! Ну, видите ли, те люди, о которых я рассказываю, сами по себе являются событиями своего времени. Более того, они носители определенных идей, которые и порождают действия. Я думаю, что история — это неустанная борьба идей социальной справедливости с темными силами, встающими на их пути. Борьба длительная, жестокая, шаг за шагом приводящая к победе правды. По сути дела ничего нового в моих писаниях нет. Мне только всегда хотелось видеть все эти отвлеченные идеи в образе живых людей, в их конкретном историческом воплощении. А это, быть может, ярче всего проявляется в их беседах, спорах, раздумьях наедине. Кроме того, у меня есть слабость к некоторым философским обобщениям, — и особой беды в этом я не вижу. Философствуют, конечно, и мои герои, но, разумеется, каждый на свой лад. Я же только слежу за ними, как дирижер за своим оркестром...

* *

В последующие годы наши встречи и беседы бывали значительно реже, если не считать обычных писательских собраний и общественных дел. Но однажды подошла полоса возобновившихся разговоров на близкую нам обоим тему, и это время я вспоминаю с чувством особой благодарности. В те дни я приступал к работе над либретто оперы «Декабристы» и чувствовал необходимость посоветоваться с Ольгой Дмитриевной по некоторым волнующим меня проблемам сценического воплощения хорошо знакомых и близких ей исторических событий.

Создание этой оперы стоило немалых трудов ее композитору, Юрию Александровичу Шапорину. Не менее сложным оказалось и написание либретто.

Началось все с того, что в начале 30-х годов известный историк П. Е. Щеголев обнаружил в архивах толстую тетрадь, исписанную мелким изящным почерком на французском языке. Рукопись повествовала о некоторых событиях, имеющих прямое отношение к восстанию на Сенатской площади в декабре 1825 года, и рассказывала о судьбе одного из его непосредственных участников. Авто-

ром оказалась некая Полина Гебль, француженка, мастерица из магазина мод в Москве, последовавшая за своим возлюбленным, гвардейским офицером И. А. Анненковым, в Сибирь после его осуждения на каторгу следственной комиссией Николая I. Этой романтической и полной трагизма историей, подробно изложенной в женском дневнике, очень заинтересовался друживший со Щеголевым А. Н. Толстой. Он даже набросал вчерне небольшую пьесу на этот сюжет. Композитор Ю. А. Шапорин, живший в то лето в Детском Селе (г. Пушкин) неподалеку от дома Толстого и часто по-приятельски с ним встречавшийся, тоже нашел повествование о судьбе декабриста Анненкова достойным музыкального и сценического воплощения. Он загорелся мыслью написать оперу историко-революционного характера. Но толстовская пьеса не давала для этого достаточного материала, да и сам автор не был ею доволен. Надо было создавать новое либретто. Композитор уже вступил в договорные отношения с театрами, и ему необходимо было для начала иметь перед собою готовое либретто. Путем сложных и длительных переговоров пришли к решению, что выполнение этой работы должно пасть на мою долю.

Я, разумеется, был рад такому лестному для меня предложению и принялся с увлечением за дело. Но задача оказалась много трудней, чем можно было предположить.

И вот тогда пришла мне в голову спасительная мысль: что, если обратиться за советом к Ольге Дмитриевне Форш? На ее благорасположение я всегда мог рассчитывать, как это бывало и в предшествующие наши встречи. Как потом оказалось, это было правильное решение.

Ольга Форш жила в это время на канале Грибоедова в старом каменном доме, два верхних этажа которого именовались в литераторской среде писательской надстройкой. Договорились по телефону, и я отправился к ней, захватив все свои предварительные записи. Пока я излагал ей основу своего замысла и общее течение сценических событий, разбивая их соответственно на акты и картины, Ольга Дмитриевна слушала меня внимательно, не перебивая ни единым словом. А потом вдруг спросила:

— А кто же будет главным, ведущим героем всей оперы?

— Как кто? Иван Александрович Анненков и Полина Гебль — лица, действительно существовавшие. Их трогательная любовная история, по словам Шапорина, дает богатый музыкальный материал. Ну, конечно, будут в опере и основные деятели декабрьского движения: Рылеев, Бестужев, Каховский, Якубович, Трубецкой. Будет и Николай с его ближайшим окружением. Задумано воспроизвести и основные этапы событий, в том числе и кульминацию их — восстание на Сенатской площади.

— Да, я все это вижу по наброскам сценария. Но меня берет некоторое сомнение. Любовная история Анненкова и Полины — это, конечно, хорошо для лирической части оперы. Но все же основные герои не Анненков, не Полина, а декабристы — недаром и весь ваш замысел носит такое название. Это ко многому обязывает. Ну пусть личная судьба вашей любовной пары останется необходимым лирическим эпизодом, общий фон должен быть другим. Тут надо создавать не личную, а народную драму, что-то вроде «Хованщины» или «Князя Игоря». Если бы Шапорин рискнул на такой масштаб, он мог бы написать произведение, достойное одной из самых трагических тем нашей истории. Но для этого нужно было бы шире и глубже построить и либретто. Не зря я спросила, кто же является основным героем. По-моему, не Анненков конечно, хотя он и прямой участник восстания, а все они, благородные, отважные, но вместе с тем и обреченные люди, задумавшие великое дело, но трагически оказавшиеся вне общего потока истории, ибо что они могли бы сделать без участия самого народа? Это и послужило причиной их героической неудачи. Опера без ведущего героя, без четкого сюжетного развития, как я понимаю, дело в оперной драматургии совершенно новое, непривычное. Я даже не представляю, как с этим могут справиться авторы — и либреттист и композитор. Я бы на их месте крепко задумалась над этой проблемой.

И в своих сомнениях Ольга Форш оказалась совершенно права. После многих обсуждений авторы в корне пересмотрели свой первоначальный план. Мысль о возможности создать историко-героическую эпопею, выйдя за рамки личных судеб, получила дальнейшее развитие.

В своем окончательном варианте опера приобрела характер историко-революционной драмы, а следовательно и более значительное идейное и художественное решение. По-новому была поставлена и проблема героя. Ю. А. Шапорин создал коллективный портрет главных деятелей 14 декабря 1825 года, соответственно распределив материал музыкальных характеристик. Он свел их потом в некоторое единство, психологически очень выразительно передающее общий идейный колорит эпохи. При этом не была забыта и народная подоснова музыки массовых сцен («Ярмарка», «Сенатская площадь») и хоровых ансамблей.

Из дружеских бесед-совещаний я как либреттист этой оперы вынес немало полезного для себя. Критические замечания Ольги Дмитриевны, относящиеся к построению сюжета, к правильному историческому освещению тех или иных сценических ситуаций, всегда были точными и конкретными. Делала она их с глубокой заинтересованностью, с горячим желанием помочь в затруднительных положениях и в сущности к чужому замыслу относилась с исключительной доброжелательностью — пример не столь уже частый в литераторском обиходе.

Можно было бы рассказать и о том, какие интересные конструктивные решения подсказывала она для будущих сцен, где нужно было показать связь и расхождение в намерениях Северного и Южного обществ, где в действенных эпизодах самого восстания требовалось наметить то спад, то подъем развертывающихся событий. Но и упомянутого уже достаточно, чтобы судить о характере и целесообразности ее дружеских советов.

Доброжелательность, особенно к литераторам начинающим, всегда была отличительной чертой Ольги Дмитриевны. В некоторой мере это происходило оттого, что и на литературный процесс она смотрела с исторической точки зрения. Ей дорого было чувство преемственности идей, а в развитии молодой советской литературы видела она осуществление лучших заветов нашего классического реализма, но в его новом, социалистическом качестве. Недаром ее романы на исторические темы так ценил А. М. Горький.

Писатель, пришедший к нам из дореволюционной литературной среды, к тому же сильно тронутой влиянием господствующего тогда символизма, Ольга Форш уже в

немолодом возрасте безошибочно определила свой дальнейший путь и с достоинством прошла его до конца в рядах молодой, набирающей силы советской культуры. В самые преклонные годы она с юношеским энтузиазмом работала над своими рукописями, и ее последнее произведение, посвященное декабристам и названное «Первенцы свободы», писалось ею с тем же увлечением, каким всегда были отмечены и предшествующие книги. Никогда не покидала ее бодрость мысли и горячая убежденность в неоспоримой правде советского искусства.

Н. Гаген-Торн

О ВСТРЕЧАХ С ОЛЬГОЙ ДМИТРИЕВНОЙ ФОРШ



Если вы сядете на автобус, поедете из города Ломоносова в село Лебяжье, — по правую руку от шоссе, вдоль всего пути, пойдет Финский залив. А по левую — тянется холмистая гряда, бывший берег древнего моря. Вначале залив скрыт за дубовой рощей, посаженной, по преданью, Петром Великим. А косогор слева покрыт парками старых пригородных дач. Потом парки кончаются, подступает к шоссе косогор в черемухе и орешниках. А слева все ближе подходит залив.

И наконец отделяет его от шоссе только узкая, покрытая жесткой серой травой песчаная полоса. В высокую воду эту траву и песок лижут волны, подкатывают к самому шоссе. В этом-то месте, по косогору, стоят две деревеньки: Кукузи и Лимузи. После войны от Лимузи остались только 4 дома да высокие старые березы показывают, где была улица. Подняться к ней по крутой тропинке — откроются уходящие вдаль луга и овраги. На юге, по горизонту, синеет кромка леса, а повернуться на север лицом — ляжет залив под ногами, как блюдо. По середине блюда пирогом — остров Котлин. Когда-то и залив назы-

вался Котлином, а земля — Ижорской пятиной. Это во времена Господина Великого Новгорода.

Потом это забыли, построили маленькие чухонские деревушки. Ловили жители рыбу, на своих парусных лайбах возили в Кронштадт и в Питер картошку и молоко. Летом — пускали дачников. В 30-е годы нашего века деревушка Лимузи — дворов на 30 — была оживленной. Чистые половины изб занимали дачники из Ленинграда. Автобусов тогда не было. Город Ломоносов назывался Ораниенбаумом. Рамбовом по-местному. Доехав до Ораниенбаума на поезде, перебегали дачники с вокзала метров 110 и громоздились в вагоны «подкидыша». Паровичок, громыхая, волочил за собой 3—4 вагона до форта Красная Горка. Сядете в такой вагон — отойдет городское: дела, заботы, люди. Бабы сидят с бидонами, красноармейцы едут на форт, рыбаки обсуждают, надолго ли задул «мокряк» — юго-западный ветер, который несет дождь и шторм. Ехала я раз в таком вагоне и думала, глядя в окно, что пора мне, пожалуй, натаскивать на «апорт» моего молодого кобелька Эхекена — к осени должен пойти по пролетному гусю и по белке. Он родом из тех лаек, что и перо и пушнину берут.

Обернулась от окна под чьим-то пристальным взглядом. Напротив меня — городское, интеллигентское, очень живое лицо. Черное серебро волос, глаза очень пристальные, все в себя вбирающие.

— Вы как сюда попали? — спрашивает меня, улыбаясь.

— Ольга Дмитриевна! Мы здесь вековечные, как говаривал отцовский егерь, а вас здесь — не ожидала встретить.

— Обосновались на дачах в Лимузи целой колонией: Груздевы, Николай Никитин, Слонимские, Тихонов. А вы где живете?

— В Ижорах.

— Мне сейчас выходить, — сказала она, поднимаясь. — Слушайте, приходите ко мне непременно! Столько лет не встречались. Я думала, вы где-нибудь в Сибири, в экспедициях.

— Спасибо, приду обязательно.

Так, в 1935 году, после десяти лет разлуки, встретилась я с Ольгой Дмитриевной Форш.

Через несколько дней пошла в Лимузи. Они по косогору, по оврагу раскинулись, в лугах. Подниметесь с залива, и охватит запах цветущих трав. В начале июня белеют овраги от дикого тмина. Позднее, до сенокоса, все пестро: клевер, липучки, ромашки. В тишине, кажется, звенят хрупкие синие колокольчики. Это не колокольчики — жаворонки.

Избы отгородились от улицы большими березами и палисадниками. Строены из толстенных бревен. Окошечки добродушно глядят на дорогу. Верандочки спускаются в палисадники. Чистую половину, с верандой, сдавали хозяева на лето дачникам. В задней, с ходом на двор, жили сами. Во дворах — хлев, амбар, сарай с воротами в огород, вся деревенская надобность. Обосновались в таких чистых половинах ленинградские писатели не богато. Но много простора: и луга, и залив, а улица не длинна.

Искать Ольгу Дмитриевну долго мне не пришлось: она стояла в палисаднике, пристально что-то рассматривая.

— Здравствуйте, Ольга Дмитриевна!

— А-а. Очень рада вам... Вы когда-нибудь слышали, что кошки едят огурцы?

— Нет, не слыхивала.

— Я тоже. Хозяйка наша мне пожаловалась на свою кошку, что с грядок ест огурцы. Я прямо не верила, а посмотрите-ка — правда! Сидит и ест.

Я подошла. Пестрая кошка поднялась, посмотрела на меня с человеческим презрением. Пошла, подняв хвост.

— Ничего в этом нет удивительного! — сказала я назло кошке. — Я знала лося, который ел котлеты.

— Как котлеты? Какой лось? — спросила Ольга Дмитриевна басом. Она чем больше удивлялась, тем глубже басила.

— У Бианок, в Лебяжьем, лось съел котлеты.

— У Виталия Валентиновича?

— Нет, у отца его, у орнитолога, Валентина Львовича Бианки. Мы ребятами раз сидели у них на веранде, городская гостья тут же была, а хозяйка, Клара Андреевна, вышла куда-то. На столе, у окна, котлеты стояли, к ужину. Вдруг в окно лезет черная морда. Рогатая и бородатая. Приезжая гостья задохнулась от ужаса. А лось поставил передние копыта на скамейку, что под верандой, сунул голову на стол и губищами сгреб котлеты. На

нас глядит и жует. Тут Клара Андреевна вошла, его прогнала полотенцем.

Ольга Дмитриевна захохотала.

— Как же он попал? Чей же лось?

— Их и был. Не помню, сам ли Валентин Львович нашел его в лесу маленького или какой-то мужик подарил, но вырос у них. Жил рядом с дачей, в сарайчике. За Кларой Андреевной по деревне и на прогулки как собака ходил. Приезжая гостья очень обиделась. «Безобразие какое, — говорит, — рогатый лезет на стол, точно черт».

Ольга Дмитриевна улыбнулась.

— Виталий Валентинович, значит, живал в этих местах?

— Он здесь вырос. Сначала они жили в Лебяжьем, а потом у нас в Ижорах. Половина его рассказов о наших лесах.

Стала ей рассказывать охотничьи истории про наши места. Ольга Дмитриевна любила и умела слушать. А рассказывала сама замечательно. Чуть шевельнет губу с усиками, бровь приподнимет, помогая словам, — все встает как живое. Хочет — смеются, хочет — грустят от ее рассказа.

Пришла я к ней в Ольгин день — поздравить. Опоздала немного, мне идти далеко. Гости уже сидели за столом. На веранде — теснота, полно! Столы заставлены пирогами, полевыми цветами, сластями, бутылками.

Ольга Дмитриевна в светлом платье, светит черненым серебром волос, улыбается.

— А, — закричала, увидев меня. — Наконец-то! Подтвердите им, что у Бианок лось котлетами питался и дам пугал. Они мне не верят.

Как она им подала эту историю, не знаю, но все смеялись ужасно. Умела подать. Я подтвердила:

— Закусывал лось.

Так повелось у нас в то лето. Я приходила с рассказами о зверях, рыбах и птицах. Собак приводила с собой. И водила всех дачников на прогулки. Тихонова не помню, не водила, а Никитин, Слонимский и Груздевы любили дальние прогулки. Татьяна Кирилловна Груздева убеждала:

— Оленька, ты хоть и вундеркинд у нас, но не далеко ли будет?

Ольга Дмитриевна отвечала:

— Не делайте из меня старуху, не хуже вас дойду. Еще в теннис играть буду, вон у Нины Ивановны площадка есть, говорит, у дачи.

В теннис все-таки не играла, но увлеченно смотрела, как мы играем.

Я, абориген этих мест, повела в первый раз лимузинских дачников на дальний пляж, за Ижоры, обещала, что будет красиво. Прошли поросшие сосновым лесом увалы, «банки», как зовут у нас эти песчаные полосы прежнего морского дна. Шли знакомой мне тропинкой между мшистыми, с морошкой и болиголовом, ложбинами. Вышли на крутой склон. И сразу широко раскрылся залив. Белый палец Толбухина маяка торчал на горизонте. Кронштадт сиял царственной головой собора, моргал блеском окон.

Под нами, на плоской песчаной полоске, шипели волнышки, добегали к берегу от хода далекого корабля. Сосны стояли очень прямые, не поддавшиеся ветрам, потому что росли густо.

— Заме-ча-тельно! — говорила Ольга Дмитриевна, оглядываясь. — Какие краски! Краски-то...

И все поддакивали. Подвижное лицо, быстрые глаза ее будто вбирали в себя сосны, воду в голубоватых переливах залива.

Татьяна Кирилловна Груздева, шумно усаживаясь на песок, распоряжалась мужчинами, чтоб не стояли покуривая, что-то делали: ей нужна была деятельность. Действия начали дети — моя темноглазая дочка и беленький Вова Никитин. Они прыгали с песчаного обрыва, опять взбирались, снова прыгали, сбегали к воде швырять плоские камешки.

Ольга Дмитриевна молча смотрела. У меня было чувство, что она активна в этом молчании: очень уж пристальны черные глаза, изменчивы взлеты бровей, подвижен рот. Точно вбирает, вбирает, вбирает с неостывающим любопытством все виденное. Груздев и Никитин плотно усаживались, заводили длинный окололитературный разговор. Тонкий и хрупкий Слонимский чуть лениво усмехался. Татьяна Кирилловна как-нибудь действовала: теребя разговор, перекрикивалась с детьми у воды, подзывая моих лаек. Ольга Дмитриевна наблюдала, помалкивая.

И казалось минутами: специально для демонстрации

ей важно проходили облака, отбрасывая на воду тени; чайки выписывали белым крылом кривые взлеты, чтоб показать себя. Стоило показывать: она понимала.

День шел по лесу, меняя пятна света и теней.

Возвращались мы под вечер. Медленно подходили к моему дому. Он стоял, упираясь сиренями сада в край леса. Я позвала всех к себе пить чай на балконе. Дом мой, большой и старинный, отцовский дом, Ольга Дмитриевна быстро окинула взглядом.

— Ого, — сказала она, всходя на крыльцо, — сохранилось же в тридцатые годы двадцатого века такое старинное профессорское гнездо! До чего типично.

— Мама все оставляет, как было при отце, — отвечала я немного сконфуженно. Тогда, в молодости, неловко, казалось, признать: на втором десятке лет революции и вдруг — старый дом.

Борис Николаевич (Андрей Белый) осудил справедливо этот профессорский быт в «Начале века»; «бытик» был с пылью и запахом книг. Пыль повыдули ветры с залива, но быт уцелел. Вышла мама поздороваться с гостями. Повела Ольгу Дмитриевну в спальню к себе вымыть руки. Там красного дерева кровать, французская книжка на столике у свечи, портрет в резной раме на стене над кроватью. Глубокое кресло перед раскрытым в сад окном. Ольга Дмитриевна все глазом окинула, забавляясь знакомым, осужденным Борисом Николаевичем стандартом. Любопытствуя, взяла в руки французскую книжку.

— Так я и думала. Классика, девятнадцатый век.

И мама, чуть усмехнувшись, кивнула головой, — они понимали друг друга, старые современницы.

Я запомнила мелочи потому, что удивило вдруг пахнувшее чем-то давно прошедшим благодушное понимание Ольги Дмитриевны. А я лишь терпела, немного стесняясь, слишком с детства знакомый быт. Мне бы завертеть его волчком, закрутить, а вот — стоит, не перевернулся.

И что поделаешь? Не ломать же. Мамино ведь... Интеллигентское прошлое.

Вернулись на балкон. Все уселись к столу. Лампу зажгли. Электричества тогда не было, еще зажигали вечерами фарфоровую круглую лампу-молнию, повисавшую на узорных чугунных цепях над столом. Бабочки бились вокруг. Ольга Дмитриевна и это приметила. Мама гостям разливала чай. Моя дочка принесла ягод из сада.

Все одобрительно загудели, перешучиваясь с ней. Она отбивалась от шуток; весело порхал на свету разговор, совсем темным казался сад.

Зашла я к Ольге Дмитриевне позвать ее к морю: шел красивый и шумный прилив. Большая вода подступила, как всегда, при западном ветре, уже покрыла береговые камни.

Ольга Дмитриевна сидела на веранде. Трогаться ей не хотелось: рассматривала рисунки, лежавшие на столе.

— Вот, — протянула она мне, — я нарисовала синтетический портрет Бориса Николаевича. Отдала такой Клавдии Николаевне — поместить его в мемуарах в томе «Между двух революций». В ленинградском издательстве Союза писателей...

Я взяла портрет и отшатнулась.

— Неужели она поместила? — спросила я с ужасом.

— Поместила, — ответила Ольга Дмитриевна, пристально глядя на меня. — А что?

— Неужели вы таким... таким его видите?

— Каким? — с интересом спросила она.

— Но ведь это — бедный безумец! Во всех пяти ипостасях безумец. А в середине-то: молитвенно сжатые руки, ужас в поднятых глазах — и веревка. Веревка на первом плане... его оплетает.

— Какая веревка? — спросила она, лукаво подняв бровь. — Просто телефонный провод на столе, обыкновенный провод.

— Он что, так, зря положен вами?

Она с интересом наблюдала мое волнение.

— Вы сами говорили когда-то: невозможно вместить в рисунок подвижность, многоликость его лица...

— Говорила.

— В многоликости должны быть видны черты гениальности, полет и огонь. Тут — одноликость, безумие в пяти ипостасях...

— А гениальность от ума?

— Она в преодолении всякого безумия, а тут безумие его одолевает. Зачем вы так... Недаром я тогда, в Вольфиле, знала: подкарауливаете вы, недобро что-то досматриваете. Очень критически.

— Да, да, — кивнула она удовлетворенно. — Это вы меня караулили. И взлетали, как фейерверк, на защиту Бориса Николаевича. Помню, как на меня нападали. Во-

семнадцать лет — и никакой субординации! Никакой субординации в вас не было, — забавляясь, припомнила она.

— В защите он не нуждался! Не девчонке его защищать, это я понимала, — сердилась я. — Но вот как смогли вы таким показать его? Зачем?

Она задумчиво рассматривала портрет — и меня. Ничего не сказав, положила на стол.

— Ну, я пойду к морю. До свидания, Ольга Дмитриевна.

— До свидания. Да вы поскорей приходите, обязательно приходите.

По тропинке я сбежала к заливу...

Вот так бабушка... Мудреная бабушка... Как смотрела на меня!.. В зрачках — огоньки зеленые.

* *

Я постараюсь в свои воспоминания, как в воду, уйти, в глуби нащупывая дно: 20-е годы. С них все начиналось. Ольга Дмитриевна всматривалась с фантастической свободой от быта в начало 20-х годов, в волны «Сумасшедшего корабля». Пожалуй, его можно было бы назвать и ковчегом, туда волны прибили нечистых и чистых, в безбытии истории. Она надела спасательные пояса искусства и плыла в них в неведомый мир, обладая местожительством в каютах «Сумасшедшего корабля», то есть в комнатах Дома искусств на углу Мойки и Невского. Волнами называются главы книги. Ольга Дмитриевна, сама плывя в этих волнах, метко охватывала увиденное.

Я встретила Ольгу Дмитриевну в 20-е годы не на корабле, где жили и писатели, и разные случайные люди, а как бы на острове — в Вольно-философской ассоциации. Там не жили, борясь с тяготами быта, туда сходились интеллигенты, принявшие революцию и верившие в Советскую власть, чтобы оглядеться, осмыслить, обдумать вопросы культуры и место в ней человека.

Вольно-философская ассоциация (Вольфила) создалась в 1919 году. В ноябре декларировала свое открытие афишей, текст которой я приведу. Афиша хранится в Пушкинском доме (фонд № 79, опись 5, № 13).

Большой лист желтой жесткой бумаги, напечатано крупным шрифтом: «Народный комиссариат по просвещению. Театральный отдел. Научно-теоретическая секция. Вольная философская академия. Высшее ученое и учебное учреждение».

«Русская Революция открывает перед Россией и перед всем миром новые широкие и всеобъемлющие перспективы культурного творчества. Впервые из единого человечества делаются практические выводы. Мечта о соборном строительстве единого здания мировой культуры может наконец осуществиться в действительности и должна принять характер конкретной организационной попытки. Этому делу хочет посвятить себя Вольная философская академия. Она связывает себя со словом «академия», в память о первых источниках европейской культуры, когда науки, искусства и общественность еще были связаны цельностью и законченностью античного мировоззрения.

Академия, видящая в свободе общения и преподавания ту естественную атмосферу всякого творчества, в которой только и могут зарождаться и развиваться существенные культурные начинания.

Академия, относящаяся к философии, как к той хранительнице заветов единства, без которого нет ни Единого Человечества, ни единого Общечеловеческого Идеала.

Именно в этом смысле вся работа академии должна протекать в духе философии и социализма. На этой почве Вольфила, философская академия, должна объединить деятелей разных областей культурного творчества и связать их с народными массами через посредство по возможности общедоступных лекций, семинаров, диспутов, выставок, театральных представлений, литературных собраний и т. п.

Важным пунктом в жизни академии должен явиться тот устрой отношений между членами академии и ее служителями, который преподавание превращает в сотрудничество между учителями и учениками и при котором станет возможным, чтобы и учителя учились у учеников.

Открывается отдел философии культуры и искусств».

А. А. Блок был председателем Вольфилы и открыл первое заседание в ноябре 1919 года докладом «Крушение гуманизма».

По вызову Вольфилы в 1920 году О. Д. Форш вернулась из Киева в Петроград. Стала одним из активных членов Вольфилы, вела там кружок по теории творчества, выступала с докладами, читала рассказы (она подписывалась в те времена псевдонимом А. Терек).

Всматриваюсь в воспоминания о Вольфиле. Ольга Дмитриевна встает как резкий черно-белый рисунок углем на стене. А за ней — карандашный набросок — Елена Данько, которую она приводила в Вольфилу. Обе — художницы. Для обеих в то время литература — дополнение к зрительному изображению.

И первое выступление помню Ольги Дмитриевны па докладе К. С. Петрова-Водкина. Крупноголовый и крепкий, он четко говорил о необходимости рисунком передать движение образа, вывести его из статичности изображения, свойственной живописи. Преодоление пространства и времени — основной вопрос культуры человечества в XX веке. Это надо ввести в живопись динамикой изображаемого. Он потом включил эти мысли в свою книгу «Время, пространство, движение».

— Позвольте, Кузьма Сергеевич, я не могу согласиться с вашим определением зрения художника. Хотя все, как всегда у вас, необычайно интересно, — загудела, отвечая докладчику, Ольга Дмитриевна. Она была стареюще-грузновата, но живые черные глаза смотрели молодо и остро. В черных волосах поблескивало серебро седины. Ей шел уже шестой десяток, но она была явно уверена, что все впереди, что ей предстоит еще ухватить жизнь, изобразить ее в возможном и невозможном многообразии. Надо лишь досмотреть многообразие и суметь сформулировать увиденное.

Этим и занималась: отыскивала необходимые формулы понимания, проверяя найденное экспериментально. Со свойственным ей юмором описала такую проверку на страницах «Сумасшедшего корабля». Поймал автор, то есть Ольга Дмитриевна, в Эрмитаже простодушного юношу, на котором решил проверить, как воспринимает неискушенный свежий человек идеи нового реализма, встававшие в картинах Петрова-Водкина.

«Итак, через достижения параллельные, через живопись, искал автор путей к новой прозе и влачил плененного юношу, как естествоиспытатель кролика, на испытание чувствительности в опыте нового восприятия. Иначе

говоря, отбив юношу, как предмет насаждения через искусство новой морали, у писательницы Долива, он кооптировал его для повышения модуса восприятий, уже чисто эстетических». «Как фаустовский пудель», бегал автор вокруг юноши, проверяя свой эксперимент.

Не только с простодушным юношей, с Андреем Белым ставила она эксперименты. Как гейзер, каскадами радуг взрывался на лекции Андрей Белый, мыслями и образами доказывая, что время и пространство в XIX веке, по Канту, координаты нашего постижения мира явлений, в XX становятся постулатами физики, приведенной Эйнштейном к понятию относительности времени.

Ольга Дмитриевна с блестевшими глазами слушала выступления и потом задавала вопросы нарочитой трезвости, как бы пытаясь гейзер заключить в водопроводные трубы.

Андрей Белый читал в Вольфиле отрывки своего романа «Котик Летаев». Из первого тома эпопеи «Преступление Николая Летаева». Вещь, в которой «изображено детство героя в том критическом пункте, где ребенок, становясь отроком, этим самым совершает первое преступление: грех первородный, наследственность, проявляется в нем». Говорил о соотношениях сознания и действительности. Осознание ребенком нашего мира дал Андрей Белый как вхождение из неведомых, другого ключа сознания, миров.

Ольга Дмитриевна задавала вопросы, делая вид, что не понимает, о чем это.

Я вскакивала в ярости за приземление ею открываемых Белым глубин сознания. Набрасывалась на нее с возражениями — об этом она вспомнила в тридцать пятом году, твердя: «У девушки не было никакой субординации» — и забавляясь этим.

Потому что она все понимала прекрасно: вопросы были методом экспериментатора, чтоб «досмотреть» интересовавшее ее.

В «Сумасшедшем корабле» назвала Андрея Белого «Инопланетный гастролер», потому что понимала, о каких космических кораблях шла речь у него. Но сомневалась: а не безумие ли.

Стало мне это ясно, когда увидела созданный ею синтетический портрет Белого.

Скепсис не мешал увлекаться блеском чужой мысли эстетически, обостряя внешнюю зоркость восприятия. Увиденное описывала с точностью и хладнокровием научного наблюдения.

Каждый присутствовавший при ее наблюдениях должен был, после читая их, признать: было действительно так. Но я не увидела, поглощенная узнанным или потрясенная событием. Она же, при самых стремительных увлечениях, сохраняла спокойную зоркость наблюдателя, взгляд со стороны, необходимый для передачи происходившего в закономерностях искусства.

Помню последнее публичное выступление Блока в Малом театре. Зал был полон народа. И на всех пахнул холодом его помертвелый облик. Создалось ощущение невидимой катастрофы. Оглядывались осторожно. Кто-то сзади меня прошептал: «Как тяжко мертвецу среди живых...» — и испуганно замолчал. Существовала не совсем понятная, охватившая многих тревога. Она захватила и Ольгу Дмитриевну, но вот как она описала выступление от лица своего героя Сохатого. «Он (Блок. — *Н. Г.*) необычайно долго для выступающего молчал, поглядывая вбок. Казалось, он соображает, возможно ли ему, даже не начиная, уйти. Сразу отметил Сохатый, что волосы у него почему-то некудрявые, неживые. Волосы умерли. И лицо Гаэтана (Блока. — *Н. Г.*), еще не старое, сморщилось, как у немецкого перестарка в аптеке. Ему повелительно крикнули: «Скифы. Двенадцать». Он перебирал на месте ногами и молчал. Потом вздохнул и сказал: «Стихи о России».

Но читать их не стал. Требования публики усилились. Он поднял голову. Притихли. Он сказал не то, что просили, и не то, что выбрал сам, а из самого первого тома: о том, как пела девушка в церковном хоре, как корабли ушли в море, как никто не вернулся назад. Голос был тверд и беззвучен. Таким говорят очередную речь над не слишком дорогим покойником».

А пишут так о ком? Ольга Дмитриевна несомненно любила Блока. Его стихи ей, как и другим близким к искусству людям того времени, были необходимы. Но она написала, что он показался в тот день с лицом «немецкого перестарка в аптеке». Нарочито снижая тревогу до гротеска.

Так может написать ученый-натуралист, врач, ампутируя собственную руку. Так, вероятно, описывал Плиний извержение Везувия, сидя на корабле и наблюдая гибель Помпеи.

Только сохраняя холодную ясность наблюдения, можно было так описать Блока, да еще и отметить гротесково-четкими словами вступительное слово Чуковского: «На сцене извивался, закручиваясь вокруг себя самого, как веревка на столбе гигантских шагов, высоченный человек. Он то прядал на публику, весь изламываясь в позвоночнике, подобно черноземлемеру, то выбрасывал, в своеобразном ритме, одни долгие руки вперед или вдруг сжимался и делался меньше».

Это было именно так. И это был Чуковский. Нужна была сражающая зоркость глаза, чтобы запомнить движения Чуковского в атмосфере катастрофы, охватившей театр. Она запомнила, заметила такие подробности, чтобы не поддаться атмосфере, увидеть трезвыми глазами. Заборониться трезвостью.

Ее основное движение — оборона трезвостью от какой-либо поступающей силы, перевод воспринятого в иронию наблюдателя. Вот и портрет поэта Клюева. Он пластичен до полной видимости. И ироничен — сквозь обостренное любопытство наблюдателя. «Микула (так назван Клюев. — *Н. Г.*) был кряжист, широкоплеч, с огромной притаенною силой. Он входил тихонько, благолепно, сапоги мягки, с подборами, армяк в сборку, скорбно сладок. А глаз не досмотришься — в кустистых бровях глаза с быстрым боковым оглядом. В скобку волосы, маслянисты, как у Гоголя, счесаны набок. Присмотревшись, кажется, что намеренно счесаны, чтобы прикрыть непомерно мудрый лоб».

Вероятно, этот образ создался у Ольги Дмитриевны от много раз наблюдаемых вхождений, вероятно у Клюева это был уже выработанный прием выхода в публику, и она подцепила прием. Я видела его вхождение один раз, году в двадцать шестом, у писательницы Е. М. Тагер. Именно так он вошел, поклонился всем поясно и благолепно. Ольга Дмитриевна явно испытывала удовольствие от такого спектакля. Я шипела ей:

— Какой комедиант. Поражает интеллигентское воображение нигде не бывшей древней Русью. Он — поддел-

ка, как храм Спаса на крови у Марсова поля. «Style russe».[1] И стихи — подделка. Подумаешь — «медный кит»...

Я по-детски возмущалась подделкой. Она посмотрела на меня насмешливо и хихикнула. Ее забавляла моя обида на фальшь Клюева, а интересовало ее то, как разыгрывает он «действо». И воздействие его на аудиторию. Это было одно из любимейших ее наблюдений: посмотреть, как действует прием искусства.

М. Л. Слонимский в воспоминаниях о Форш написал — «молодость души». Между ними, «молодыми», как называет Ольга Дмитриевна группу писателей, и ею было 20—25 лет разницы, но они чувствовали ее своей ровесницей.

О нет, это не была молодость души. Это была мудрость древней культуры. Неуемная зоркость и интерес наблюдателя разных эпох. Моя мать в разговоре с О. Д. Форш тоже чувствовала себя с ней ровесницей. Чуть удивлялась:

— Что находит такая почтенная, в высшей степени воспитанная дама в современной молодежи! Впрочем, — говорила она мне, — твой отец тоже охотно общался со студентами. И я знала много ученых с этим интересом к молодежи...

Ольга Дмитриевна всматривалась в человека, как Коненков в кусок дерева, чтобы найти в нем свою скульптуру. У нее была жадность ухватить и воссоздать любую эпоху. Отсюда воссоздание эпохи, историзм ее романов.

Кавказские горы древни и молоды одновременно. Древняя человеческая культура в них — тоже. У Форш был свой счет времени и мудрость кавказской культуры, соединявшей горячую страстность с умением обуздывать себя в наблюдательности.

* *

Последняя встреча моя с Ольгой Дмитриевной — во время войны. Судьба тогда закинула ее в Свердловск. Я проездом, случайно узнала об этом и разыскала ее.

Трудно передавать встречи военных лет. Как на вокзале: надо много сказать — и нет времени, неизвестно,

[1] «Русский стиль» (франц.).

с чего начать. Люди смотрят друг в друга, стараясь понять, угадать несказанное, перебирая огромность происшедших и грядущих перемен. Сдвинуты вещи, разломан быт, время летит в неизвестное. Перемешались заботы — общие, личные, семейные и мировые. Все в движении, спешке, в стремительно идущих мыслях и поездах.

Умные, быстрые глаза Ольги Дмитриевны озабочены свистоплясом и ревом растущего шторма войны. На ней заботы о семье, внуки. Как вырастить? Оленька уже большая...

— Ольга Дмитриевна... внучка. Она тоже Ольга Дмитриевна, — повторила мне несколько раз с какой-то удовлетворенностью.

И очень сердечно стала расспрашивать о моих заботах. Был в ее расспросах о людях в ту пору не только зоркий глаз наблюдателя, а горячее человеческое сердце.

Я знаю такой случай. Пришла к ней знакомая по давним ленинградским годам. Ольга Дмитриевна обрадовалась:

— Как, что, откуда вы?

— Да уж на обратном пути, закинула судьба меня на дальний северо-восток, в глушь Якутии, теперь выбираюсь.

— Что же вы там делали?

— Пастухом была, коров пасла.

— Почему же пастухом?

— Мужчин — ни одного в совхозе, мобилизованы. Бабы — заняты, а городские, эвакуированные, боятся тайги, коров. Я люблю животных, вот и взялась. — И, увлекаясь, стала рассказывать: — Жизнь стада — очень интересна, — я выучила коровий язык. Марр уверял, что у примитивных людей был вначале язык жеста, слова создались в результате команд в трудмагических процессах. Я всегда думала, что это неверно, потому что у животных уже есть свой язык, называйте хоть системы звуковых сигналов, хоть слова. Теперь выучила у коров около пятнадцати таких слов: тревога, внимание, сбор стада, перекличка, призыв на помощь, зов теленка — все имеет определенные звуки. Они хитрые, коровы: умеют сговариваться, как надуть пастуха и удрать в капустное поле. А я понимала, кто что сотворить собирается.

— Послушайте, это страшно интересно, — оживленно сказала Ольга Дмитриевна. — Вы записали?

— Да нет, некогда, где там писать... не до того. Я вообще перешла на изустную культуру: ни книги, ни бумаги. Говорю коровам стихи, когда они отдыхают, жвачку жуют. Ушами вертят, слушают...

— Знаете что, — сказала Ольга Дмитриевна, — вы обязательно про коров напишите. Талантливый человек — всюду талантлив, сумеет увидеть, найти неожиданное. Вот как увидели, так и напишите. Я здесь никого не знаю из местных писателей. Но здесь Мариэтта Шагинян живет в гостинице. Она со всеми связана, ее все знают. Она сумеет вас направить куда нужно. Подождите, я сейчас. — Ольга Дмитриевна втиснулась куда-то за шкаф и минут через десять вышла с письмом. — Вот. Мариэтта глухая, но вы не обращайте внимания, — когда надо, она все прекрасно слышит. Идите к ней в гостиницу с моим письмом, отнесете рукопись. Уверяю вас — все устроится. Я еще поговорю, чтобы поскорей напечатали.

Через полгода в свердловском журнале «Дружные ребята» появился рассказ — Н. Летаева. «Лето в лесу».

Летаевой же важно было не столько само появление рассказа, сколько дружеская рука, которая протянулась, расчистила путь, помогла.

У каждого человека бывают времена, когда надо схватиться хоть за соломинку. Протяни соломинку — и вылезет человек. Ольга Дмитриевна не забывала этого, умела видеть, когда протянуть.

В. Кетлинская

«ДЕЯТЕЛЬНОЙ СТАРОСТИ ПОРА»



...печалиться не надо,
Только бы — разумна и добра —
Длилась, как последняя награда,
Деятельной старости пора.

Александр Гитович

1

— Ольга Форш прочитала вашу повесть и хочет поговорить с вами. Приходите в редакцию к часу.

У меня дух захватило. Ольга Форш, автор романа «Одеты камнем»! Прочитав его, мы долго жили под впечатлением этой сильной и страшной книги. Ольга Форш, автор фильма «Дворец и крепость»! После многосерийных приключенческих лент и пошловатых салонных кинобоевиков нас так поразил этот суровый, необычный фильм! И вот — я увижу саму Ольгу Форш...

Это было продолжение сказки, в которой я жила весной 1928 года. Зажав под мышкой сверток с рукописью, я пришла в Дом книги на Невском и спросила у хмурого швейцара, где здесь печатают повести. Швейцар с недоверчивой усмешкой направил меня в издательство «Прибой». Там я долго не решалась к кому-либо обратиться — все такие занятые и солидные! Наконец немолодая женщина в очках с выпуклыми линзами — мой будущий редактор Л. М. Варковицкая! — сама спросила:

— Кого вы ищете, девочка?

Так началась сказка. Повесть прочитали, тут же реко-

мендовали ее журналу «Юный пролетарий», тут же подписали со мною договор, но сказали при этом, что надо еще хорошо поработать, «довести» повесть. А как «доводят»? Ведь я попросту рассказала то, что хотела, о нашей комсомольской жизни, потому что нам очень не хватало книг о самих себе, о своих проблемах. Я же не писатель! Редакторы смеялись: раз написали, выходит — писатель, только неопытный... И вдруг сама Ольга Форш, настоящий, живой писатель, будет со мною говорить!

...И вот она вошла, осанистая пятидесятилетняя женщина с крупной головой, с орлиным носом и зоркими, приметливыми глазами. Оглядела меня от красной косынки до белых носков — и в глазах запрыгали веселые огонечки. Ольга Дмитриевна взяла мою руку и, похлопывая по ней большой теплой ладонью, сразу заговорила о повести. Главное из того, что она сказала, врезалось в память на всю жизнь:

— Вы так естественно, изнутри знаете жизнь молодежи, все эти комсомольские волнения и споры, — говорила она. — Мы, писатели старшего поколения, пытаемся их понять, но со стороны это плохо дается, так что я вам даже позавидовала. Но, девочка, вы же еще ничего не умеете! И хуже всего у вас получается то, на чем писатели собаку съели, — любовные отношения. Может, от молодости? — она засмеялась. — Хорошо, что у вас лишнего ничего нет, но вот вы описываете свою Натку — а слова не свои, заемные. Обязательно надо поработать с редактором, да и с богом, поскорей издавать.

Л. М. Варковицкая с досадой сообщила, что рапповская редколлегия отказалась включить повесть в серию «Новинки пролетарской литературы» — не дело, мол, пролетарской литературы заниматься проблемами любви и быта. Ольга Дмитриевна снова засмеялась — смех у нее был грудной, мягкий и какой-то успокоительный.

— Выходит, пролетарии не любят и семей не создают? А вот у комсомольцев, оказывается, любовь есть и с бытом неблагополучно, и волнуются они об этом! Можно книжку издать и вне серии. Читать ее будут.

Прощаясь, Ольга Дмитриевна снова похлопала ладонью по моей руке и строго сказала:

— Садитесь и работайте.

И я вместе с редактором засела за работу. Повесть,

конечно, осталась незрелой, но успех имела — из-за остроты молодежных проблем. Слушая страстные споры читателей, я все яснее понимала, что многое до них не доходит, потому что написано невыразительно. А слова Ольги Дмитриевны: «Девочка, вы же еще ничего не умеете» — крепко запали в память, я начала упорно и жадно, по крупицам постигать загадочное искусство, называемое литературным трудом. Об этом искусстве Ольга Дмитриевна сказала мне спустя тридцать лет, накануне своего восьмидесятипятилетия:

— Учишься писать всю жизнь. Я до сих пор все что-то новое для себя открываю. И все кажется — вот теперь-то я поняла, как писать! Так что до девяноста лет учиться продолжаешь, а вот после девяноста — посмотрим.

2

В 1934 году судьба свела меня с Ольгой Дмитриевной на канале Грибоедова, 9, в кооперативной надстройке, прозванной «недоскребом». Я еще не была членом Союза, но кто-то из пайщиков отказался, и мне передали его квартирку на пятом этаже. Большую квартиру на четвертом этаже занимала Ольга Дмитриевна со своей постепенно разрастающейся семьей. Зайти к ней я стеснялась, но встречала Ольгу Дмитриевну часто и беседовала с нею не раз — лифта тогда не было, Ольге Дмитриевне было трудновато подниматься, она отдыхала на каждом этаже, широкие подоконники мы называли «клуб Ольги Форш». Кто бы из писателей ни шел домой или из дому, каждый останавливался возле Ольги Дмитриевны, иногда собиралась целая группа. К тому времени Ольга Дмитриевна располнела, но была не толстой, а царственно-массивной. Так и запомнилось — величавая фигура на фоне окна, умное, лукавое лицо, низкий голос и мягкий смех...

Если удавалось застать Ольгу Дмитриевну одну, я подсаживалась к ней и не уходила, пока она не скажет:

— Ну, поплетусь дальше.

Однажды она спросила, почему я до сих пор не член Союза писателей. Я ответила, что еще учусь, ищу себя, ведь не в членстве дело! Она охнула и рассмеялась своим чудесным смехом.

— Занятно! Значит, вы понимаете, что это не одно и то же — быть писателем или быть членом Союза писателей? Очень интересно, очень хорошо!

Особо запомнился один разговор году в 1937 или 1938-м. Это был тяжелый период моей жизни, который стал еще горше оттого, что я осталась одна. Ольга Дмитриевна ничего не знала о моих бедах и на этот раз сама окликнула меня, когда я, поклонившись, пыталась пройти мимо:

— Идите-ка сюда! Всегда вас любила, а сейчас буду ругать. Как же вы такого хорошего человека бросили?

В то время я замкнулась ото всех, избегала людей, но тут не выдержала и как матери рассказала ей все, что со мною произошло. Кто-то знакомый спускался по лестнице, кто-то поднимался, Ольга Дмитриевна движением руки показывала, что мешать не надо. Конечно, я жаждала сочувствия, но Ольга Дмитриевна только покачивала головой, потом зорко посмотрела мне в глаза и очень серьезно сказала:

— А может, это так и нужно?

Я не поняла — что нужно? Вот это лютое горе?

— Одиночество, — сказала Ольга Дмитриевна, — и горе нужно, и несправедливость испытать на себе, и через многие беды пройти. Без этого жизни не бывает, а пока писатель счастлив и беспечен, он чужой беды по-настоящему не поймет. Вам сейчас тяжело, но одиночество усиливает сосредоточенность, меньше отвлекаешься, глубже и нераздельней работаешь. А женщине ведь трудно, ох как трудно не отвлекаться!

Я тогда внутренне взбунтовалась: ей, старому человеку, окруженному семьей, легко говорить другому — цени одиночество! Я даже написала стихи, обращенные к Ольге Форш, они начинались словами: «Когда б вы знали, что такое быть одинокой...» Но Ольга Дмитриевна сказала хоть и жестокую, но правду — одиночество бывает плодотворным, — ничем не жертвуя в личной жизни, женщине почти невозможно профессионально сосредоточиться на творческом труде, он требует безраздельной отдачи, — может быть, именно поэтому так мало женщин осталось в истории науки, литературы и искусств!

Примерно год-полтора спустя, возвращаясь домой, я застала «клуб» действующим и весело присоединилась

к собеседникам. Ольга Дмитриевна поглядела на меня и улыбнулась:

— Ну вот, глаза блестят, румянец играет, значит, полегчало?

Я проводила ее до дверей квартиры. Она снова, как когда-то, похлопала ладонью по моей руке и вдруг сказала:

— А замуж выскакивать не торопись. Работай.

В конце 1938 года, когда, после многих перипетий, вышел роман «Мужество», я понесла книжку Ольге Дмитриевне. Она деловито осмотрела ее, одобрила переплет, огорчилась, что бумага плохая, потом как бы взвесила книгу на ладони:

— Видите, как хорошо. Может, в иных-то условиях и не написала бы?

Я призналась, что, внутренне споря с нею, даже сочинила стихи. Ольга Дмитриевна велела показать. Мне было неловко, но пришлось сбегать и принести. Она прочитала, перечитала и — вдруг засмеялась:

— Наверно, думала и порезче: старухе легко рассуждать. А ведь все равно не послушалась.

Позднее, когда она говорила со мною после прочтения «Мужества», Ольга Дмитриевна снова вернулась к этой теме:

— А пережитое в книге сказалось — и еще как. По-человечески жаль, конечно, но не перестрадаешь — не напишешь.

Весной 1941 года я поднималась по лестнице с сынишкой и присела на подоконнике — сверток был тяжел. Сверху спускалась Ольга Дмитриевна. Увидела, ахнула, заулыбалась, осторожно приподняла угольник.

— Молодец! Ну, молодец! — одобрила она то ли Сережку, то ли самый факт его появления. Потом скосила на меня смеющийся глаз, видимо вспомнив разговор о необходимости одиночества. Сказала: — И это тоже очень нужно. Женщине нужно и писателю.

Мы сидели рядом на подоконнике, Сережка спал, еще ничего не ведая о сложностях жизни, а у нас произошел интересный и важный разговор, который я не буду пересказывать, потому что его зачин касался только меня. Но то, что говорила Ольга Дмитриевна, говорила задумчиво, как бы впервые формулируя мысли в отрывочных коротких фразах, составляло целую жизненную програм-

му. И это я постараюсь передать как можно точнее, не дословно, конечно, а по смыслу и характеру речи.

— Значит, все успеть и сочетать. Не бояться жизни, а черпать и черпать. Что ж, правильно, писателю иначе нельзя. И вообще правильно. Трудное забывается, горечь проходит, а сердце всегда право. Нужно слушаться сердца. Если хватает смелости. И душевной силы — расплачиваться самой.

Слова как будто не так уж необыкновенны, но и в голосе ее, и в строгости коротких фраз, и во всем облике Ольги Дмитриевны было столько мудрости и смелости, что я поняла — она ведь и о себе, именно так она сама и жила, и живет.

3

Через три месяца началась война.

Заменяя ушедших в армию руководителей ленинградской писательской организации, я крутилась в Союзе с утра до ночи. Среди прочих дел было одно многотрудное и психологически сложное — эвакуация. Кроме женщин и детей предлагалось эвакуировать нетрудоспособных и престарелых писателей. Ссылавшихся на всякие хвори было немного, зато больных, уверяющих, что они здоровы, — более чем достаточно. Как сказать такому писателю, что он будет обузой в городе, к которому все ближе подкатывается фронт? .. Списки на эвакуацию составлялись и пересоставлялись, фамилии то вычеркивались, то снова вносились в список. В кабинете единственного секретаря Союза целый день толпились люди. В один из дней июля здесь появилась и Ольга Дмитриевна.

— Вписывайте или не вписывайте — не поеду. Никогда еще не бегала ни от чего — и сейчас не побегу.

С помощью товарищей я долго уговаривала ее, Ольга Дмитриевна обещала подумать. На следующий день она приехала снова.

— Думала, думала и со своими советовалась. Выходит, их надо отправлять, а куда же они без меня? Пока что я — главный добытчик. Поеду.

Вопрос благополучно разрешился, но дня через два она опять приехала:

— Как хотите — не поеду. Из своего гнезда — неве-

домо куда и зачем. Ведь не отдадут Ленинград немцам! А ничего другого я не боюсь.

Теперь уже я брала ее руку в свои, убеждала, упрашивала. Так продолжалось с неделю. А немцы подходили все ближе и ближе. Поняв неизбежность отъезда, Ольга Дмитриевна обстоятельно взялась за подготовку. Хотя нам обещали классные вагоны, Ольга Дмитриевна стояла на своем: дадут теплушки, и вполне в них удобно, только надо в каждой сделать в углу дыру с крышкой и что-нибудь вроде ширмы. «По гражданской войне знаю, как обставляться в теплушке».

Некогда было расспрашивать, куда и зачем она ездила в годы гражданской войны, но теплушечный быт она понимала. И насчет сроков не обманывалась: «Будем стоять на всех станциях, пропускать эшелоны к фронту» — и сурово осуждала своих будущих спутников, которые оставляли в городе зимние вещи, надеясь вернуться до морозов:

— Ведь глупость! В августе уезжать за Урал — да к морозам вернуться? Себя обманывают и семьи подводят. Не такая война, чтобы в три месяца кончить.

В то время многие утешались самообманом. Ольга Дмитриевна сурово смотрела правде в глаза. Она не любила никакого вранья — в том числе и себе самой, так же как презирала все показное.

В конце блокады я летала по делам в Москву, туда же прилетел с Северного флота мой муж Александр Зонин. В холле гостиницы «Москва» повстречали Ольгу Дмитриевну — похудевшую, постаревшую, но счастливую оттого, что победный конец войны уже обозначился, а сама она вырвалась в столицу. Обнялись, расцеловались. Зонин знал Ольгу Дмитриевну еще со времен работы в «Звезде», к тому же он не то привез с Севера, не то получил здесь по аттестату консервы, именовавшиеся «вторым фронтом». Мы пригласили Ольгу Дмитриевну к нам в номер поужинать.

Говорили, конечно, о войне. У многих наших эвакуированных товарищей при встречах возникало естественное желание рассказать о пережитых трудностях, о тяжелой, полуголодной жизни в тылу. Ольга Дмитриевна эту тему отвела и на мои расспросы недовольно сказала:

— Совсем это неинтересно. Вы мне о Ленинграде расскажите.

И стала дотошно выспрашивать, какие здания разрушены, что можно восстановить, а что нельзя, кто из писателей в Ленинграде и что делали и делают. Иногда говорила: «Это и я, пожалуй, сумела бы» или: «А вот это я бы не смогла». Была она явно нездорова и вымотана неустроенной, бесприютной жизнью, но юмор ее не покидал, и единственная история, которую она все же рассказала о себе, была приподнесена в жанре комедийном. Вторым действующим лицом комедии была одна литературная деятельница.

— Приходит ко мне: в воскресенье, мол, все писатели выезжают за город перебирать картошку. «Прошу вас, Ольга Дмитриевна, поедемте с нами». Ведь умнейшая женщина, а дура! Я ей говорю: «Как же я буду перебирать картошку, когда мне лежать велят и наклоняться запрещают!» А она говорит: «Так вы не перебирайте, мы вам какое-нибудь кресло поставим, вы с нами посидите для вдохновения». Я говорю: «Ну какое вдохновение, если я сидеть буду не работая? Это ж и другие вдохновятся посидеть возле меня». А она настаивает: дескать, подадите хороший пример. «А если у меня с сердцем плохо станет, — говорю, — и вы будете «скорую помощь» вызывать, когда сейчас и карет нету?» А она говорит: «Ничего, как-нибудь перевезем». Ну ведь дура, образованная дура. Я не поехала, так она еще надулась.

Насколько плохо у нее стало с сердцем, я поняла, увидев Ольгу Дмитриевну на нашей лестнице после возвращения из эвакуации. Она медленно взбиралась со ступеньки на ступеньку, подолгу останавливаясь, но, когда я подбежала к ней с приветом, она светло улыбнулась и сказала сквозь одышку:

— Вот я и дома.

4

Презирая все показное, Ольга Дмитриевна и в отношении себя самой не допускала никаких формальных «знаков почтения». Ее неизменно выбирали членом правления ленинградской писательской организации, но с годами она все реже выезжала из дома и перед новыми выборами решительно заявила:

— Больше не выбирайте. Ну не буду ходить, а зачем же для проформы? Никому это не нужно!

Ее убеждали, но она твердо стояла на своем. А вот делегатом на Второй съезд поехать согласилась:

— Соблазнительно! Так и быть, последний раз съезжу — друзей поглядеть, себя показать.

Уже перед самым съездом было решено, что открывать съезд, как старейшина, будет Ольга Форш. Она отнеслась к этому с деловитой храбростью: надо — значит, надо — и засела за подготовку вступительного слова. Накануне съезда группу писателей пригласили в ЦК на совещание. Сопровождать туда Ольгу Дмитриевну поручили Николаю Семеновичу Тихонову и мне. Принаряженная и возбужденная, Ольга Дмитриевна с трудом забралась в машину, а у подъезда ЦК с еще большим трудом вылезла из машины, сама над собой подшучивая:

— Я-то еще молодец, да вот нога никак не хочет.

При входе оказалось, что у Ольги Дмитриевны нет с собой паспорта.

— Сроду его не таскала, зачем это?

Пропустили ее без документа. В «шахматном» зале ЦК Ольга Дмитриевна попросила провести ее вперед, «чтобы всех рассмотреть». Шли мы по залу долго, потому что друзей у Ольги Дмитриевны было множество, с каждым ей надо было остановиться, поговорить. Наконец уселись. Во время совещания Ольга Дмитриевна то и дело надевала очки и, рассматривая членов президиума, громким шепотом спрашивала:

— А вот этот кто? А тот худущий кто? А который тут Микоян?

Совещание длилось долго, и Ольга Дмитриевна устала, Тихонов куда-то исчез, у дверей в приемную и в приемной еще толпились писатели, и для скорости я решила вывести Ольгу Дмитриевну через боковую дверь прямо в коридор. Как раз в это время туда же вышли члены президиума ЦК. Увидав Ольгу Дмитриевну, они почтительно остановились, пропуская ее вперед. Опираясь на мою руку и с достоинством отвечая на поклоны, она медленно прошла мимо них, а в лифте сказала с лукавством:

— Это у нас хорошо получилось, будто вдоль почетного караула прошли.

Трогательной и величавой выглядела она, когда открывала съезд. И все первое заседание, сидя в президиуме, была оживлена и, видимо, счастлива оттого, что вот вышла на люди, и много знакомых, и все к ней по очереди

подсаживаются... Но на следующих заседаниях она уже не была и, когда я зашла навестить ее, сказала:

— На съезде я свое отработала, а какой уж из меня теперь заседатель!

На прием в Кремле Ольга Дмитриевна тоже решила не ехать, но потом, с большим опозданием, все-таки приехала и остановилась в дверях Георгиевского зала, где были расставлены банкетные столы, с любопытством все оглядывая. Оказавшийся поблизости Даниил Гранин взял ее под руку и провел вперед, к президиуму. Она потом объяснила:

— Столько лет прожила, никогда на кремлевских приемах не бывала, надо все-таки поглядеть, что это такое. Боялась, что будет чинно, а ничего — расшумелись как дома.

Избегая всяческой парадности, Ольга Дмитриевна отбивалась и от юбилеев. Насколько я помню, первый юбилей, на который она согласилась, был в день ее восьмидесятилетия. Торжественное заседание в зале Дома имени Маяковского она высидела на сцене в глубоком кресле, поставленном недалеко от трибуны, и, как ее ни уговаривали, вставала каждый раз, когда ей вручали адреса и подарки. Мне кажется, ей все-таки было приятно слушать многое из того, что ей говорили с трибуны, и еще приятней — что зал набит до отказа писателями и набежавшей молодежью.

Юбилейный ужин был устроен в складчину в нашем ресторане. Здесь тоже предполагались речи, но Ольга Дмитриевна все повернула по-своему. Кажется, приехавший на юбилей Ираклий Андроников успел произнести тост, и сразу после него Ольга Дмитриевна попросила немного тишины:

— А я хочу рассказать, как Ираклий недавно скомпрометировал мою женскую честь.

И она с большим юмором рассказала такую историю: во время последней поездки в Грузию ее устроили отдохнуть и поработать где-то под Тбилиси в старом замке, где доживали свой век две бывшие княжны, две старые девы. Княжны не переносили мужчин и, гостеприимно приняв Ольгу Дмитриевну, поставили единственное условие: чтобы к ней не приходили мужчины. Вскоре в Тбилиси приехал Ираклий Андроников и захотел навестить Ольгу Дмитриевну. После деликатных перегово-

ров княжны нашли, что Ираклий Андроников «из хорошей тбилисской семьи», и сделали для него исключение. Андроников засиделся допоздна и уже после полуночи развлекал Ольгу Дмитриевну своими чудесными устными рассказами. Неподражаемый дар перевоплощения, позволяющий Андроникову по ходу рассказа принимать облик нового персонажа и говорить его голосом, привел к тому, что княжны через стену с ужасом слышали все новые и новые мужские голоса...

— И вот наутро мне отказали от дома, поскольку половину ночи я через окно впускала к себе разных мужчин.

В 1958 году намечалось отпраздновать восьмидесятипятилетие Ольги Форш, секретарь назначил меня председателем юбилейной комиссии. В то время Ольга Дмитриевна уже жила в хорошем новом доме с лифтом на Петроградской стороне, на набережной Невы. Я поехала к ней, но Ольга Дмитриевна категорически отказалась от официального юбилея:

— Это что же? Я буду жить и жить, а вы каждые пять лет будете устраивать и устраивать юбилеи? Вот до девяноста доживу, тогда уж так и быть, устраивайте. Все-таки круглая дата.

В то время она вернулась к оставленному в юности искусству художницы и увлеклась рисунком цветными карандашами. Показала мне некоторые свои рисунки. Рассказала, как осенью решила порисовать на Марсовом поле, сидела там на раскидном стульчике, а вокруг стеной стояли ребятишки, и как потом, когда она собралась домой, несколько мальчишек предложили ей донести ее стульчик и папку. Цветные карандаши — штука соблазнительная, можно с ними и убежать. Убегут? Нет, решила, не убегут. И действительно, не убежали, проводили до самого дома.

— Все бы ничего, — вдруг грустно сказала Ольга Дмитриевна, — вот только современников не осталось, это тяжело.

Отказавшись от парадного юбилея, Ольга Дмитриевна решила отпраздновать день рождения дома, с участием небольшой группы писателей. Мы долго думали, что подарить ей. Разведка донесла, что на дачке в Тярлеве, где Ольга Дмитриевна проводила все больше времени, она усердно разводит цветы, но роз у нее нет. Нам удалось

достать через розовый питомник полтора десятка кустов хороших чайно-гибридных роз. Мы поставили горшки с розами в большую бельевую корзину и так и внесли их в ее квартиру, поставив корзину к ее ногам.

— Вот угадали! — обрадовалась Ольга Дмитриевна. — Давно мечтаю о розах, а добыть никак не могла. Угадали, порадовали!

А до девяноста лет она немного не дожила. Заболела и уже не встала с постели. Когда я спросила лечащего ее врача, как себя чувствует Ольга Дмитриевна, он ответил растроганно и удивленно:

— Знаете, деловито готовится к смерти, соображает, как и что переустроить в квартире, что делать с книгами и бумагами, отдает распоряжения. Никогда еще не видал, чтобы так спокойно и деловито умирали...

А это было всего лишь последнее проявление ее могучего характера и мудрого понимания жизни как процесса вечного движения, развития и обновления, где смена поколений естественна и неотвратима.

Р. Мессер

НЕ ПРОЙДЕТ БЕССЛЕДНО...



На стене у моего рабочего стола висит портрет Блока. Он нарисован тонким пером. На нем — лишь лицо поэта. Таким увидел его автор рисунка: с резкими тенями, глаза пронзительно глядят на вас, в едва намеченной улыбке — раздумье, страдание, легкая ирония. Рядом — верхний край старинной тумбы, на которой высится узкий бокал. Здесь запечатлен облик поэта последней поры его жизни. Под изображением тем же пером написан текст блоковских стихов:

Но верю — не пройдет бесследно
Все, что так страстно я любил,
Весь трепет этой жизни бедной,
Весь этот непонятный пыл.

Рисунок сделан рукою Ольги Дмитриевны Форш, о чем свидетельствует ее авторская надпись вслед за процитированными ею стихами: «Нарисовала его я, Ольга Форш, и подарила на память Раисе Мессер. 19—12—37 года».

Каюсь, нет мне прощения: при жизни Ольги Дмитриевны рисунок этот хранился мною не слишком бережно

среди разных рукописей и писем. Мы ведь часто варварски обращаемся с духовными драгоценностями. И лишь впоследствии меня поразила мысль: я владею прекрасным даром мастера, передо мною — след его глубокого преклонения перед великим поэтом, поразительное проникновение в его личность и судьбу. Особенно если мысленно соединить этот портрет с тем, что писала Ольга Форш о Блоке в романе «Сумасшедший корабль».

Сколько я помню Ольгу Дмитриевну, она всегда много рисовала. И кажется, рисовать любила даже больше, чем писать. Во всяком случае, когда я бывала у нее и на старой квартире на канале Грибоедова и на новой, на улице Куйбышева, она больше показывала портреты и пейзажи своей работы, чем излагала свои литературные дела и планы. Она наслаждалась рисованием, одаряла своими рисунками. Когда на склоне лет ей пришлось перенести тяжелую глазную операцию, главной ее тревогой было: сможет ли она рисовать? В самые последние годы жизни ее попросили сделать серию рисунков к большому юбилейному альбому с пейзажами Ленинграда. Она любовно выполнила эту работу. С какой-то совсем не старческой лукавой усмешкой она говорила об одном из этих рисунков, запечатлевшем Зимний дворец и Петропавловскую крепость напротив друг друга: «Кончаю тем, с чего начинала — дворец и крепость». Так вспомнила она о начале своего пути как советского исторического романиста, о знаменитом романе «Одеты камнем».

Завсегдатаи Эрмитажа на протяжении десятилетий встречали знакомую массивную фигуру Ольги Дмитриевны на складном стуле, который она постоянно приносила с собой. Подолгу сиживала на нем перед любимыми полотнами. Рисование было ее второй профессией, втайне, пожалуй, любимейшей. Ведь Ольга Форш пришла к литературе от живописи. Она писала картины, выставляла их, преподавала рисование, была ученицей Павла Петровича Чистякова. Тематика, герои, стилистика ее произведений часто связаны с живописью.

Знакомство мое с Ольгой Дмитриевной произошло в 1935—1936 годах на деловой почве. Я работала тогда в сценарном отделе киностудии «Ленфильм». И быть может потому, что как критик занималась советским историческим романом, а в общем случайно, была назна-

чена редактором сценария, который Ольга Дмитриевна писала для вышедшего в 1937 году фильма «Пугачев», поставленного режиссером П. П. Петровым-Бытовым. И постепенно вместе с обычным общением редактора со сценаристом естественно вырастало мое увлечение самой личностью этой писательницы, складом ее ума, интенсивностью духовной жизни, покоряющим сплавом органического демократизма и тончайшей культуры. Мое поколение уже в 20-х годах воспринимало Ольгу Форш как человека преклонного возраста с нашей точки зрения: ей тогда шел шестой десяток. «Старик Форш», — шутили в нашей среде: ведь мы никогда не знали ее молодой. А тут вдруг все рядом: ореол славы, маститость, низкий, гудящий голос, орлиный взор. Да и предмет общения был тяжеловесный: екатерининская эпоха, вельможи, дворцы и рядом — пугачевщина. Было от чего робеть.

При этом сложность положения состояла еще и в личности режиссера, интересы которого, равно как и вообще студии «Ленфильм», я призвана была представлять при работе над сценарием.

Павел Петрович Петров-Бытов был примечательным человеком. Он и сам был похож на Артема, героя своей картины 1925 года «Каин и Артем». Его биография была сродни многим горьковским персонажам: жизнь «в людях», волжанин, бурлак, батрак, солдат. Приобщение к культуре, к искусству шло у него бурно, но клочковато.

Это был человек пылкий, обидчивый и нетерпимый. Первой его реакцией на любую сложность в искусстве было подозрение в формализме. Казалось бы, никогда им не найти с Ольгой Форш общего языка. Конечно, Ольга Дмитриевна с трудом воспринимала вульгаризаторские схемы Петрова-Бытова, говорила о них насмешливо, возмущалась. Она выговаривала Павлу Петровичу за его историческое невежество и бескультурье. В выражениях она не стеснялась. А Павел Петрович вообще относился к ней с недоверием. В самом деле, кем была она с точки зрения его биографии? Дворянка, генеральская дочь, бывшая институтка, символистка (что-то он об этом литературном течении слышал). Он, например, попрекал ее репродукцией картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», висевшей на стене в ее кабинете, уверенный в том, что картина висит здесь вместо иконы.

— Старуха тайно верит в бога, — жаловался он.

Но вот что поразительно: наряду с серостью и неразвитым вкусом Ольга Дмитриевна видела в Петрове-Бытове и силу. Совершенно так же, как видел ее художественный руководитель «Ленфильма» Адриан Иванович Пиотровский. Этот утонченный эллинист, переводчик древних поэтов и драматургов, крупный театральный деятель и теоретик разглядел эту силу в органической для Петрова-Бытова теме: человек, распрямляющий спину, рвущийся из темноты, томимый жаждой духовного освобождения.

Пиотровский публично защищал его от нападок, дорожил стихийным поиском им своей темы и образов, видел: ему есть что сказать.

Эту сердцевину видела в нем и Ольга Дмитриевна.

— Что же вы хотите, — говорила она задумчиво. — Ведь Павел Петрович признавался мне, что в тысяча девятьсот шестнадцатом году он был несмышленым солдатом в полку царской армии, усмирявшем таких же башкир, какие некогда участвовали в пугачевщине. Конечно, за годы революции он много понял. Но все же...

Ольга Дмитриевна с поразительной настойчивостью добивалась от режиссера понимания сложности изображаемой в сценарии исторической обстановки. Она, например, стремилась доказать ему, что граф Панин был не просто зверь-усмиритель, а утонченный вельможа, образованный дипломат, искусный царедворец, сложный человек и именно поэтому был особенно свирепым врагом пугачевщины. Так происходили споры вокруг каждого персонажа из лагеря, противостоявшего Пугачеву.

Но одновременно и она сама внимательно прислушивалась к размышлениям и догадкам Петрова-Бытова о характере и лексике главного героя будущего фильма. Более того, она нередко поражала режиссера своим точным ощущением как трагедийно-патетических, так и комедийных сцен, народного юмора. Под ее пером речь Пугачева насыщалась народной образностью, напевностью, поэтичностью. Пугачев в сценарии, в зависимости от обстановки, изъяснялся то природной скороговоркой, то рассчитанно важно, то пламенно. На страницах, повествовавших о предельном взлете его судьбы, его соб-

ственный язык, как и авторский, проникался ритмами и интонациями эпической народной речи. И Петров-Бытов не скрывал своего сильного впечатления, читая такие сцены. Он удовлетворенно хохотал, слушая придуманную Ольгой Форш (а может быть, найденную в материалах) частушку про генерала Рейнсдорпа, начинавшуюся словами: «А Раздрыпа-генерал». Само превращение немецкой фамилии в «Раздрыпу» восхищало его. А чему же здесь было удивляться? Ведь «Пугачева» Ольга Форш писала одновременно с «Казанской помещицей» и «Пагубной книгой», завершая трилогию о Радищеве. Стихия народной антикрепостнической революции была ею изучена, прочувствована, жила, что называется, «в пальцах». «Пугачев» был написан, конечно, неизмеримо сильнее, чем вышедший позднее фильм. И именно народные сцены были главной художественной силой сценария.

Способность Ольги Форш воспроизводить рядом с куртуазными дворцовыми сценами сочные картины народного быта, трагические и смешные, — не только особенность ее творчества, она отвечает складу ее личного характера. В ней удивительно сочетались истинный, ни в какой степени не наигранный демократизм и рафинированный аристократизм. В манере держаться, в отличном французском языке (которым она никогда не щеголяла, но который прорывался), в оборотах старинной русской речи чувствовались истоки ее происхождения и воспитания. И при этом в ней была истинная простота, непринужденность, непритязательность — легкое отношение к житейским невзгодам.

Бытовой уклад ее был прост, скромен. Семья была большая. Это был чистейший матриархат. Он проистекал вовсе не из властности главы семьи. Ольга Дмитриевна была нежно любима. Это слышалось всегда в интонациях постоянной заботливости, которой ее окружали близкие. И сама она была крайне тактична, деликатна в семейных делах. Как тщательно скрывала она свою боль при бедах, которых в этой семье было немало. Как старалась приободрить, заставить верить в лучшее будущее, как яростно сражалась с тяжкими превратностями в судьбах своих детей. С какой стойкостью переносила трудности военных лет в эвакуации — с полным пренебрежением к личным удобствам (а ведь она была уже тогда старым

и больным человеком) и с постоянной тревогой о детях и внуках. С какой нежностью говорила она о своей четырехлетней внучке: «Ольга Дмитриевна младшая». Но и семья была привязана к ней безмерно.

Помню, как в день восьмидесятилетия Ольги Дмитриевны, торжественно праздновавшегося в ленинградском Доме писателя имени Маяковского, старшая дочь ее, Тамара Борисовна, ответила кому-то на вопрос о самочувствии: «Самый счастливый день моей жизни». Это было сказано с полной душевной самоотдачей. Дети Ольги Дмитриевны, дочь и сын, люди самостоятельных и достойных профессий, вместе с тем жили ее творческими интересами, интенсивно помогали ей в ее организационно-издательских делах, делили с ней все радости и тревоги ее писательского существования.

Кстати, о юбилеях Ольги Форш. Она не очень-то жаловала этот церемониал. И лишь один раз — восьмидесятилетний — юбилей праздновался парадно, что называется по первому разряду. Но уже с самого начала вечера Ольга Дмитриевна внесла в праздник веселый, слегка иронический тон, рассказывала смешные истории, «разоблачала» тамаду, Ираклия Андроникова, в каких-то давних юмористических мистификациях в Тбилиси 30-х годов. И поразительно, как искрометно, на лету подхватил Андроников заданный ею тон, как весело, тепло было в Доме писателей. Вообще же день своего рождения Ольга Дмитриевна всегда отмечала дома, в небольшом кругу. А если уж на людях, то скромно, среди близких друзей. Так праздновалось ее семидесятипятилетие в Комарове: раскрытые окна в столовой Дома творчества, весенние цветы, небогатый антураж (первые послевоенные годы), но как душевно, хотя и негромко, было в этот майский вечер.

И в последний раз юбилейная дата (восьмидесятипятилетие) отмечалась у нее дома, на новой квартире, где Ольга Дмитриевна прожила недолго, лет пять. Она настояла на том, чтобы все было по-домашнему. Народу было немного, атмосфера неофициальная. Свет мудрого заката, свет трудно и прекрасно прожитой жизни изливался на нас тогда. Ольга Дмитриевна говорила мало, и каждое ее замечание было о ком-либо из присутствующих. И каждый раз это были слова ободрения, воспоминание о чем-либо забавном, трогательном. Было светло

и грустно. Чувствовалось, что вряд ли доведется отмечать следующее пятилетие, до которого Ольга Дмитриевна не дожила двух лет...

Личность Ольги Форш — сложная, многосторонняя. Меня всегда поражала в ней проницательность суждений о людях, часто знакомых ей поверхностно, по одной-двум встречам, иногда лишь по публичным выступлениям. Так, об одном молодом в 30-х годах и всегда преуспевавшем ленинградском литературоведе, оградившемся от многих жизненных сложностей позой академического беспристрастия, она кратко сказала: «лукавый царедворец». Она поразительно точно умела распознать мимикрию мелких чувств, фальшь, трусость за показной бравадой. И напротив, умела разглядеть чистую душу, благородство за тихостью, незаметной внешностью, иногда за громкой славой. Так понимала она М. М. Зощенко, которого очень любила, но, в отличие от иных слишком ретивых поклонников последнего, не считала гением.

— Миша слишком мудр, — говорила она, — но сколько в нем душевного изящества, скромности. Дар его — органический абсолютный слух к социально окрашенной лексике. Дар этот — огромный, так его нужно и понимать. Не следует лишь делать из Зощенко учителя жизни, это для него вредно.

Остро-саркастически отзывалась она о литераторах, склонных к руководящей роли, жаждущих официальных наград и званий. Обо многих проявлениях такой тяги к власти она с грустной иронией говорила: «Триста лет татарского ига». Поразительна была в ней эта меткость, лапидарность и глубина в определениях сложных общественных явлений через частность. Она постоянно выражала презрение к карьеризму, к стремлению «выпелятъся», показать свое превосходство, часто мнимое. Она делала это не щадя ни молодых, ни своих ровесников.

В своих суждениях о людях она была резка, иронична, непримирима. Но как была при этом и благожелательна, как заинтересованно, с какой добротой говорила о тех, в ком видела бескорыстие, искреннее служение своему писательскому делу, гражданскому долгу. Человек, богато впитавший в себя западноевропейскую культуру разных эпох, она была русской советской патриоткой. Об этом свидетельствует все ее творчество советского исторического романиста.

Сострадание к людям, не сентиментальное, а истинно душевное, всегда было свойственно Ольге Дмитриевне. Помню, с какой болью говорила она в первые дни войны о предстоявших бедствиях народных:

— Людишек очень уж жалко.

А как деликатно и осторожно стремилась она, при большой семье и скромных возможностях, поддержать, сколько могла, бедствующих, кого знала, — осиротевшие литераторские семьи. Иногда просто зазвать к себе и запросто накормить. И все это — без фраз, которые были ей ненавистны, шутливо, как бы между прочим. Вообще же хлебосольство Ольги Дмитриевны было известно в близком ей кругу. В довоенные годы она любила на патриархальный манер не только интересно угостить (именно интересно), но и нагрузить какой-нибудь бутылкой необыкновенного меда или изюмом, присланным ей из Армении.

Что-то кавказское по стилю было в ее гостеприимстве. В этом смысле армянские корни (Ольга Дмитриевна по материнской линии армянка) ощущались в ее бытовых навыках и вкусах. В сочетании с русским складом жизни, с происхождением из русской военной семьи Комаровых, с близкими родственными связями в среде русских ученых (двоюродный брат Ольги Дмитриевны — В. Л. Комаров, президент Академии наук СССР в 30-х годах) это рождало неповторимое очарование и особую прелесть окружавшего ее семейно-бытового уклада.

Ольга Дмитриевна была не из числа людей, которых принято называть гармоническими личностями. Напротив, она была человеком весьма контрастных черт. Простота и аристократизм. Гневливость и сострадательность. Саркастичность и способность глубоко волноваться красотой человеческой души и художественными впечатлениями. Веселость и величавость.

Хотя Ольга Дмитриевна жила довольно замкнуто, не вела обширной переписки с начинающими писателями, не работала, насколько мне известно, над чужими рукописями, но была чрезвычайно внимательна к любому заинтересовавшему ее новому, пусть еще не прославленному, имени и произведению. Ее суждения были метки, проницательны, предсказания прозорливы. Она пристально следила за судьбами таких молодых писателей. И была

беспощадна в оценках, сталкиваясь с небрежностью, общими местами, дешевыми эффектами, особенно если обнаруживала такие черты у писателей известных, но допускавших паразитирование на собственной славе. Она наблюдала за литературой, за живым литературным делом, радовалась обилию талантливых писателей, возмущалась ловкими стяжателями дешевой славы, халтурой, недобросовестностью. Презрительно отзывалась о мнимом новаторстве, часто распознавая в нем давно забытое старое. И восторгалась истинными открытиями.

Было бы ханжеством утверждать, что она была равнодушна к своей собственной литературной судьбе, к критическим отзывам о своей работе. Долгие годы Ольга Форш была, мягко говоря, не избалована вниманием литературной критики, серьезным отношением к своей творческой биографии. Долго писали о ней поверхностно, несправедливо, не понимали в ней большого писателя, последовательно воспитывавшего современного читателя на русской революционной культуре. Ее доброе отношение к людям, углубившимся в ее творчество, естественно. В частности, хотя знакомство ее со мной началось с «Пугачева», но, разумеется, сближению в огромной мере способствовало и то обстоятельство, что я начала писать о ней книжку. Это была, как бы ее ни оценивать, первая книжка о творческом пути Ольги Форш. Не во всем, видимо, соглашалась она с оценками, данными в этой книжке русскому символизму. Что-то, при всех ее сатирических портретах в романах «Сумасшедший корабль», «Горячий цех» и «Ворон», оставалось для нее дорогим и в самом течении, и в отдельных его фигурах. Ведь это же была часть ее собственной биографии. Но она никогда не говорила об этом прямо, ни на чем не настаивала. А многое ей было и по душе в этой книжке, о чем она высказывалась недвусмысленно, знакомясь еще с рукописью. Ее доброжелательность к автору этих воспоминаний выражалась и в общем внимании к его творческим интересам, возможностям, как она их понимала.

— Пишите прозу, — часто настойчиво говорила она мне. — Не столько по тому, как пишете, сколько по живой речи вашей вижу прозаика.

Прозаиком я не стала. Но слова Ольги Дмитриевны нередко заставляли меня быть требовательнее к соб-

ственной письменной речи. Увы, не всегда это удавалось. Что же касается отношения ее к моей небольшой монографии, я позволю себе привести здесь письмо, свидетельствующее о личности писателя. Письмо написано в деревне Тярлеве близ города Пушкина, где Ольга Дмитриевна в последние годы жила летом:

«Дорогая Раиса Давыдовна! Шлю Вам большую благодарность за книжку Вашу, написанную обо мне и принесенную к нам в дом милой Вашей дочкой Машенькой в мое отсутствие. Простите запоздалый ответ. Я невылазно сижу в деревне, часто болею, адреса Вашего нового не знаю. Когда узнали, привезли и снова утратили (для сохранности засунув в книжку — какую?) — снова прошло время... Вот какие ставит судьба препятствия для общения с Вами. Необходимо их пресечь. А потому приглашаю Вас к себе (следует новый городской адрес и телефон. — *Р. М.*). Как только приеду (едва начнут топить, теперь боюсь в холодных комнатах простуды), я Вам позвоню, и, надеюсь, удачно договоримся о встрече. И поговорим подробно о книге. Писать много мне трудно, и рукам, и глазам. Шлю привет.

13 октября 1956 года.

Ольга Форш».

До конца своих дней буду я горда доброжелательностью и вниманием ко мне со стороны этого необыкновенного человека и замечательного писателя.

Поразительна была широта ее интересов. Мало кто знал, какая она была театралка. На скольких премьерах, казалось бы самых для нее неожиданных, встречала я ее в довоенные годы. Бывая в Москве на пленумах Союза писателей, где ее присутствие всегда считалось необходимым, она находила время посещать и Малый театр, и МХАТ. Не пропускала она в Ленинграде и сколько-нибудь примечательные московские гастроли. Если не могла поехать на спектакль, всегда щедро раздавала пригласительные билеты: пусть кто-нибудь насладится интересным представлением. Когда выезжать из дому стало для нее физически трудно, она постоянно смотрела спектакли по телевизору, который в те годы был еще новинкой. Телевизор был ей подарен ленинградскими писателями в

день ее восьмидесятилетия. Телевизионный просмотр какого-нибудь интересного спектакля у Ольги Форш — это ряды стульев, заполнявшихся как в зрительном зале, от чего ее небольшой кабинет становился до предела тесным. Потом — оживленные разговоры об увиденном, о театре в разных контекстах и ракурсах. Потом — скромное по тем временам, но совершенно обязательное угощение.

Эта потребность щедрой души поделиться художественной радостью особенно запомнилась мне на домашнем просмотре первого спектакля «Комеди Франсез» — театра, впервые в 1953 году приехавшего в нашу страну. Шел «Мещанин во дворянстве». Попасть на этот спектакль было невозможно. Ольга Дмитриевна пригласила смотреть его по телевизору много народу. Как самозабвенно она смеялась, как наслаждалась французской речью. Только при таком близком общении можно было понять и оценить, каким талантливым зрителем она была, — это был процесс какого-то сотворчества. Притом — заражающего тех, кто был его свидетелем. Спектакль кончился поздно: длительные овации, большие антракты. Хозяйка дома заметно устала. Приглашенные стали расходиться. Ольга Дмитриевна задержала меня каким-то вопросом. Но и потом долго еще не отпускала. Она прилегла на диван и, не знаю по каким ассоциациям, стала наизусть читать стихи Пастернака — много, горячо. Все меня поразило в ней тогда: сила памяти при явной утомленности, страстность, молодая впечатлительность.

Ольга Форш с каким-то презрением, если так можно выразиться по данному поводу, относилась к своим немощам, лечилась неохотно, по настоянию родных. Ни тени многозначительности не было в ее тоне, когда она почему-либо упоминала о своем замечательном долголетии.

— Разве эти шесть пудов — это я? — сказала она в тот вечер, о котором говорилось выше. — Это все скоро кончится, а я — это все, что знаю, помню и люблю.

Мне не довелось видеть ее ослабевшей, молчаливой. Я всегда помню ее широкий мужской шаг, густой голос, заразительный смех, всегда активную интонацию: одобрительную, убеждающую, ироническую, восторженную или негодующую.

Еще больше поражало меня в ней презрение к смерти, искреннее, ненаигранное. Чаще всего оно выражалось в юмористической форме. Не один раз слыхала я от нее слова, сказанные о своем возрасте: «Порядочная старушка уж, верно, давно бы померла». Она постоянно подтрунивала, незлобно, но не без язвительности, над своей соседкой по даче, знаменитой престарелой актрисой, доживавшей свои дни в трепете перед приближавшимся концом жизни, в окружении богомолок. Резкий контраст представляли эти две дачи в Комарове. Одна — огромная старинная вилла с затейливыми башенками. Другая — маленький неприглядный домик, даже без всякого забора. Одна — пожизненная собственность. Другая — скромная аренда от Литфонда. В одной все наглухо закрыто, одиночество, страх, молитвы. В другой — настежь раскрытые небольшие окошки. Даже нет никакой веранды, простая скамейка под окном. А на траве под соснами, рядом с дорогой, — старенький потертый ковер, на нем Ольга Дмитриевна над чем-то хохочет со своими внуками. Тут и там — признание, слава. Но там — пустота и холод, а здесь — дети, игры, душевное тепло.

В духовном облике Ольги Форш много значил юмор. Он сказывался во всем: в литературных суждениях, в оценках людей и их поступков. С какой легкостью подшучивала она над собой, когда попадала, казалось бы, в непроходимо смешные положения.

С поразительным юмором говорила она всегда о бытовых незадачах и неурядицах. Четверть века прожила она на пятом этаже с труднейшей крутой лестницей со двора в одной из первых писательских новостроек, на канале Грибоедова. И никогда не жаловалась, лишь подшучивала над тяжеловесностью своего подъема. Небрежно упоминала она о материальных нехватках в первые послевоенные годы.

Человек, воспитавшийся в старом обществе, она тем не менее не одобряла барства в быту, презирала страсть к частной собственности, посмеивалась над дачевладельцами, погрузившимися в приумножение своего имущества. Никогда не стремилась строиться, не собиралась приобретать машину. Потребности ее были предельно скромны. Жила она летом всегда на маленьких дачках, арендованных Литфондом.

Когда ее, случалось, обманывали, она рассказывала об этом смеясь. Так, удивительно забавным был ее рассказ о том, как предшествовавший арендатор дачи в Комарове, уезжая, навязал ей покупку щенка, уверяя, что это породистый кобель. Уже после этого приобретения, сделанного по просьбе внучат, оказалось, что куплена сука. И в устах ребят, слышавших разговор взрослых об этом, имя собачонки зазвучало «Тюка». «Тюка Форш», — заключала Ольга Дмитриевна эту маленькую историю. Тюка прожила в семье до самой своей смерти, была неустанным участником детских игр, любимицей взрослых.

Вообще Ольга Дмитриевна любила разные семейные и бытовые истории, с любопытством слушала их, с удовольствием рассказывала сама. Но ничего не было в этом от пустой обывательской болтовни. Она рассказывала о людях, об их бедах и неудачах, потому что сочувствовала, сострадала, жалела. И всегда деятельно, стремясь помочь. Лишь о собственных житейских неувязках говорила походя.

Беседы с Ольгой Дмитриевной никогда не были тематически стройными и однородными. Это были разговоры «обо всем». Но всегда они несли в себе что-то высокое, чего бы ни касались. С удивительной органичностью звучали в ее рассказах, казалось бы, неожиданные скачки от простейшего случая к большим историческим, моральным и эстетическим проблемам. Для нее предельно естественным был переход от разговора о чьих-либо душевных неустройствах к Достоевскому: вот кто, говорила она, умел показать личную человеческую беду как беду мировую, как общественную трагедию, философски. Тема Достоевского была у нее не только разговорной. О Достоевском писала она в своих книгах. Достоевский был ее любимым писателем. И постоянное обращение к его личности и творчеству было для нее органично.

Другой такой любимой темой, к которой она могла обратиться «с места», с любой точки разговора, был Гоголь. Выше его сатиры по философской глубине она, по ее словам, не знала. О Гоголе — ее роман «Современники».

Среди наиболее чтимых ею имен в русской литературной классике — имя Герцена. Она часто с увлечением толковала о нем, считая его самым блистательным слия-

нием национального революционного духа и мировых культурных богатств. И это тоже была творчески глубоко ею освоенная тема. Удивительно ли, что о Герцене Ольга Форш могла говорить бесконечно?

Нельзя не вспомнить о ее приверженности к музыке, к симфонической классике. Любимым музыкальным произведением ее была «Неоконченная симфония» Шуберта, которая однажды даже исполнялась по ленинградскому радио по ее личному заказу. Стихия музыки звучит во многих ее произведениях: то как описание исполнения какого-либо музыкального произведения, то в картинах природы, душевного состояния человека. Как в творчестве, так и в личных вкусах музыка для Ольги Форш означала жизнеутверждение, реальную ценность. В начале настоящих воспоминаний говорилось о значении, какое имели в ее жизни и творчестве мотивы живописи и архитектуры. Все эти интересы выражали прежде всего ее самое, ее личность. Ее книги полны воображения, часто насыщены причудливыми фабульными ситуациями. Человеком пылкого воображения была она и в жизни. Любила таинственные фантастические истории, придумывала их по ассоциации с темой разговора. Ее творчество проникнуто разнообразно выраженной идеей высокого предназначения человека, она была писателем-гуманистом в высочайшем значении слова. Но и в практической жизни она также была гуманистом, притом воинствующим: хотела добра и творила его для людей хороших, желала плохого людям дурным.

Соотношение судеб революции и культуры было одной из ее центральных тем как исторического романиста. Проблемы этих же связей всегда волновали ее в жизни. Не все ее иллюзии в данной проблематике были ею изжиты до конца. Не всегда производила она строгий критический отбор в прошлом, не все должно было быть органически усвоенным современностью. Кое с чем из этого прошлого, вошедшим в ее собственную духовную биографию, ей было трудно расстаться. Такие проблемы и бывали содержанием некоторых наших споров. Но главное, на чем мы сходились во мнениях в конце концов, была идея преемственности революционного дела, мысль о нерушимой связи поколений русских революционеров. Для нее они были живыми и любимыми людьми. Она говорила о них с жаром, с горящими глазами, как будто

впервые узнала о них. Пламень их душ никогда не угасал в ней. С любовью и благодарностью судьбе за то, что знал Ольгу Форш, будет помнить о ней каждый, кто испытал радость общения с ней. В беседах, в штрихах обычной повседневной жизни всегда чувствовалось, что перед тобой — крупное явление русской советской культуры. Могучий дух старой русской передовой интеллигенции — и наш современник, чутко реагирующий на тревоги и запросы сегодняшнего дня.

А. Дымшиц

БЕССТРАШИЕ



Я был мальчишкой, школьником, когда на экраны вышел первый советский историко-революционный боевик. Он назывался «Дворец и крепость». Вначале, вслед за «обложкой» фильма, показывали портреты авторов сценария — Ольги Форш и Павла Щеголева.

П. Е. Щеголева мне приходилось видеть раньше, широко известны были его журналы «Былое» и его книга «Дуэль и смерть Пушкина». Об Ольге Форш я, к стыду своему, никогда не слыхал. Посмотрев фильм, я прочитал с большим увлечением ее роман «Одеты камнем». Этот роман показался мне произведением необыкновенным, написанным в какой-то особой манере, каким-то особым, своим языком, не похожим на язык других романов. Я тогда не мог выразить свои чувства в ясных определениях, но я понимал, что между фильмом, сделанным в очень театрализованной манере, и книгой, написанной резко по-своему, дистанция была огромного размера.

Много позже я познакомился с Ольгой Дмитриевной Форш, — это было в середине 30-х годов.

Как-то раз, сидя рядом с Ольгой Дмитриевной на писательском собрании, я обменялся с ней несколькими репликами и выяснил, что у нас есть общие друзья.

В конце этого собрания были выборы, в ту пору голосовали открыто, и, когда дело дошло до кандидатуры одного весьма неважного человека, я поднял руку против. Форш, ничуть не смущаясь тем, что этот кандидат (не помню уж — куда) довольно беззастенчиво рассматривал ряды голосующих, проголосовала против. При этом она одобрила меня и сказала, что скверные люди бывают нередко страшны потому, что их страшатся.

В этом незначительном эпизоде я запомнил нечто значительное, нечто очень важное для понимания характера Ольги Форш. Для нее не существовало чувства страха, она ему не подчинялась, потому что не знала его.

В довоенные годы я не раз выслушивал различные суждения Ольги Дмитриевны по литературным вопросам. Однажды у нас был очень интересный разговор, связанный с ее романом «Сумасшедший корабль», с ее отношением к символистам. Форш хорошо понимала, что в символизме выразилось отступление от великих реалистических принципов классиков, которые были ей так дороги. Но она утверждала — и не без оснований и аргументов, — что в символизме существовала и линия, связующая его лучших художников с русской реалистической классикой. Она говорила прежде всего о Блоке, творчество которого любила преданнейше. К Андрею Белому она относилась почтительно, — что ни говори о его духовных скитаниях, а он помогает понять глубины Гоголя. Да, глубины! Он одержимый человек, Борис Николаевич Бугаев. И музыку он чувствует по-особому, музыку в «кубке метелей», в симфониях, в романах, во всем, что живет вокруг, и в слове, которым он живет.

Не раз и позднее слышал я от Ольги Форш слово «одержимость» как выражение высокой оценки человека. Она применяла его и к очень разным, порой совсем противоположным людям.

О Камо сказала она: «одержимый». Этот образ был ей дорог, он напоминал смолоду знакомый Кавказ, ту пору, когда она была еще не Ольгой Форш, а Анной Терек. Но особенно дорожила она Камо как человеком высочайшей одержимости, поставившим идею революции превыше всего, превыше самого себя. И наверно, именно

потому написала она пьесу об этом настоящем революционном герое.

И в Радищеве, которому она посвятила свои замечательные романы, виделся ей прежде всего человек, одержимый самыми передовыми идеями своего века.

Мне показалось странным, когда Ольга Дмитриевна назвала одержимым Акима Волынского, известного критика-идеалиста. Я выразил свое удивление. Она объяснила: одержимость бывает разная. Волынский был одержим любовью к искусству. Он нередко путал и путался, — это известно и доказано умными людьми. Но он всегда увлекался и умел увлекать других. Он не только искал, но умел и находить. Вот, сказала Ольга Дмитриевна, сравните его книгу о Леонардо с романом Мережковского. Это же настоящая книга, настоящий труд, прочувствованный и выстраданный. А у Мережковского — одна идейка и кипа бумаги, а если что дельное и есть, то взято у того же Волынского. И не случайно Волынский остался в Советской России, он хотел понять новое, понять его красоту.

Под одержимостью Ольга Форш не разумела рассудочного фанатизма. В одержимых она ценила людей, характеры, личности. Герцена, которого она любила, декабристов, которым посвятила свою последнюю книгу — «Первенцы свободы». Одержимость — это не отказ от себя, это максимальное раскрытие своих духовных возможностей во имя избранных принципов, во имя увлеченности идеями и исканиями.

Однажды я рассказал Ольге Дмитриевне про то, как ходил с докладом к ее двоюродному брату — знаменитому ученому, президенту Академии наук Владимиру Леонтьевичу Комарову. Маленький старичок с ясными глазами, пухленький, очень вежливый и внимательный, с интересом прослушал рассказ о работах филологов Пушкинского дома. Потом я попросил Владимира Леонтьевича помочь изданию в Академии наук некоторых неизданных бумаг Достоевского, которые подготовил к печати профессор А. С. Долинин.

— Конечно, конечно, — заметил академик Комаров. — Достоевский — это же шутка сказать...

И он принялся вспоминать романы Достоевского, заговорил о его великой психологической силе, об удивительном его проникновении в детские души.

Когда я поведал Ольге Дмитриевне об этом своем визите и о желании Владимира Леонтьевича помочь в издании материалов Достоевского (что по тем временам было не так-то просто: Достоевского часто объявляли реакционером, и только), Форш сказала:

— Поможет. России нет без Достоевского.

...После долгого перерыва (война, несколько послевоенных лет) я увидел Ольгу Дмитриевну в сентябре 1948 года в Комарове, под Ленинградом.

Мы с женой приехали из Берлина на три недели и поселились в Доме творчества писателей, который, как оказалось, находился в десяти минутах ходьбы от дачи Ольги Форш.

Наш общий друг — Раиса Давыдовна Мессер, написавшая много доброго о романах Ольги Дмитриевны, передала нам, что Форш зовет к себе. Мы, конечно, последовали приглашению.

За годы, что я ее не видел, Ольга Дмитриевна постарела, но осталась такой же крепкой, я сказал бы — прочной. Мы застали ее возле дома, она хлопотала в саду, что-то выкорчевывала из земли — словом, работала.

— Вот вы и повзрослели, — сказала Форш, приглашая нас в дом. — Много видели. Нужно все записать. Мы иногда даже и не понимаем, как важно записывать. История не должна проходить мимо нас, за нее нужно отчитываться.

Я не могу в точности и даже приблизительно восстановить в памяти все, что говорила Ольга Дмитриевна за те полтора-два часа, которые мы провели у нее. Запомнились только два характерных штриха.

Форш весело рассмеялась, когда я рассказал ей о своем первом приезде в Веймар, после того как оттуда ушли американские войска.

— Американцы... Нет, вы подумайте, американцы, — смеялась Форш. И пояснила: — Недавно я читала у Батюшкова в записках или письмах, как русские офицеры во время похода по Европе бегали за немецкими девушками по веймарскому парку, по которому любил прогуливаться сам Гете. А после этой войны за немецкими девушками бегали в Веймаре американские офицеры, но Гете у гитлеровцев не оказалось. Вот вам — история не

повторяется. А если и повторяется, то в виде фарса, как сказал один умный человек.

Другое замечание Форш, врезавшееся мне в память, касалось известной актрисы, проживавшей поблизости. Ольга Дмитриевна заговорила о ней, коснувшись темы старости и смерти.

— Нет, вы подумайте, — говорила она, — Верка-то совсем спятила. Состарилась. Боится помереть. Окружила себя приживалками, гадают там на картах, гонят косую и в дверь, и в окно. И вот увидите — помрет очень скоро. Потому помрет, что боится смерти, думает о ней все время, цепенеет от страха — не помереть бы. И от страха помрет, от одного страха, помяните мое слово.

Я особенно запомнил эти слова и потому, что они сбылись меньше чем через два месяца, потому что в них была вся Ольга Форш с ее гордым пренебрежением к страху, с ее юмором и жизнелюбием.

Иногда бывает так: и видишь человека редко, а знаешь, что он есть, и от этого легче на душе. Думаешь о нем и знаешь, что и он тебя не забывает.

Мне всегда было радостно сознавать, что Ольга Форш, которую я встречал не так уж часто, живет и трудится, что она порой вспоминает обо мне. От этого бывало теплее на сердце.

Как-то я получил от Ольги Дмитриевны книгу с надписью, как-то она позвонила мне по телефону, чтобы поговорить об очередной постановке режиссера Н. Бромлей, которую любила и ценила с давних пор. Как-то я встретил Ольгу Дмитриевну в парке, где она наслаждалась красками осенних листьев, на которые ложился особенный, ленинградский, чистый осенний свет. Как-то поговорили мы в одной из гостиных Дома писателя имени Маяковского. Как-то побеседовали накоротке в Москве, куда Ольга Форш приезжала, чтобы открыть съезд писателей.

Однажды Ольга Дмитриевна позвала меня к себе, в небольшую квартиру на площади Революции, где она жила в последние годы. И, как всегда, ушел я после встречи с Ольгой Форш каким-то счастливым и душевно омоложенным, потому что этот очень старый человек всегда представлялся мне одним из самых молодых среди стариков.

В тот вечер у Ольги Форш находилась Маргарита Степановна Довлатова, ее верный друг, человек, много помогавший ей в работе. Форш была полна впечатлениями дня и делилась с нами этими впечатлениями.

— Утром, — рассказывала она за ужином, — я была в парке, писала пейзажи.

И я представил себе, как старая, крепко сложенная женщина широко и тяжело шагала по аллейкам парка с подрамником, с ящиком с красками и свернутым в трубочку холстом.

— Потом, — говорила Ольга Дмитриевна, — я отправилась на выставку Рериха. Очень, знаете, интересное явление.

И я представил себе, как Форш пробиралась меж группами посетителей выставки, с каким любопытством рассматривала она эту буйную природу на полотнах художника.

— А потом добралась до дома, отдохнула немного и вот — рада вас видеть.

Ольга Дмитриевна была радушной хозяйкой, все пододвигала и пододвигала мне разные блюда. И даже выпила со мной рюмочку водки.

Говорили, конечно, о литературе и литераторах. Форш тепло отзывалась о прозе Николая Тихонова, сокрушалась, что некоторые старые писатели перестали заботиться о языковом своеобразии своих работ.

Форш была в своих суждениях всегда независима от ходячих мнений, нередко шла против течения. Помню, в тот вечер она сурово критиковала очень видного прозаика, называя его книги вычурными по письму. Я спорил, говорил, что это крупный, настоящий талант, что то, что кажется вычурным, это и есть его индивидуальная сущность.

— Возможно, — сказала Ольга Дмитриевна, — возможно, что так. Но мне он решительно не по душе. Я люблю простоту, я не люблю, когда писатель превращает искусство в искусственность.

И Форш заговорила о художнике, который, нередко прибегая к манере сказа, был в ней прост и ненавязчив.

— Вот Миша Зощенко, — какое во всем чувство меры, сколько такта, как скромен он даже в назиданиях. Его ведь все знали, все любили. Когда еще до войны впервые наградили писателей, я тоже ездила в Москву за орде-

ном. Выдавал нам ордена Михаил Иванович Калинин. Он каждому улыбался, пожимал руку, говорил что-то хорошее. А дошел до Зощенко, задержал его руку в своей, стал его рассматривать, заулыбался как-то особенно и сказал: «Так вот вы какой!» Рассказы Зощенко все знали — и шоферы такси, и всероссийский староста. И всем он был мил.

Слушал я Ольгу Дмитриевну и поражался ясности и живости ее ума, разнообразию ее интересов, умению сохранять наполненный пульс жизни в такой глубокой старости. Она говорила, и в ней не было и тени усталости. Манеры плавные, величественные, голос грудной, глубокий, интонации чуть певучие, в словах уверенность, убежденность, какой-то, если хотите, молодой задор.

Больше я Ольгу Дмитриевну уже не видел. Но, как и очень многие, совсем незадолго до ее кончины прочитал в «Правде» статью, подписанную — Ольга Форш, в которой было столько жизненной силы, столько оптимистического пафоса и того бесстрашия, которое дается человеку непрерывным трудом и сознанием полезности этого труда для грядущих поколений.

Ольга Дмитриевна смолоду воспиталась на идеях материализма. Французские просветители XVIII века и их русские единомышленники были героями ее книг. Над героями ее романа «Одеты камнем» витали идеи автора «Писем об изучении природы» и автора «Что делать?». В годы революции Ольга Форш сблизилась с книгами Маркса, Энгельса, Ленина. Материалистическое презрение к смерти и страху смерти вошло в ее кровь и дыхание.

Форш жила в сознании того, что человек смертен, но бессмертен народ.

И жизнь ее была неустанным трудом.

Т. Иванова

НЕИСТРЕБИМО МОЛОДАЯ



Первое впечатление почти всегда самое острое, а иногда и неизгладимое.

Именно так произошло у меня с Ольгой Дмитриевной Форш. Тому сопутствовали и другие первые впечатления.

Знакомство наше состоялось в первый мой приезд в Ленинград, с моим мужем, писателем Всеволодом Ивановым. У Всеволода с Ольгой Дмитриевной были давние, прочно установившиеся взаимоотношения, начавшиеся еще в двадцать первом году, в «серапионовские» времена. Тогда Ольга Дмитриевна жила в Доме искусств и шефствовала над «серапионами», собиравшимися там же, в комнате Михаила Слонимского.

Теперь наша встреча произошла в квартире Груздевых.

С Ильей Александровичем я была уже хорошо знакома, так как, приезжая в Москву, он всегда у нас останавливался. От Ильи Александровича неоднократно слышала я рассказы о том, как отмечается у него на квартире традиционная «серапионовская» дата — 1 февраля.

Слышала я рассказы об этих «серапионовских» встречах и от других «серапионов», которые, бывая в Москве, всегда к нам приходили.

Посмеиваясь, рассказывал Михаил Михайлович Зощенко, как на одной такой «серапионовской» встрече, 1 февраля, «серапионы» отвлекли чем-то внимание хозяев и переставили в их квартире всю мебель, превратив спальню в столовую, а кабинет в спальню.

Михаил Михайлович, со свойственной ему невозмутимостью при самом смешном рассказе, показывал изумление и потрясение хозяев. Квартиру Груздевых он называл «профессорской» и говорил, что Груздевы вообще отличаются чинностью и аккуратностью.

Таким образом, мое внимание и любопытство к этой квартире были заранее подогреты.

Жили тогда Груздевы на Васильевском острове, и хотя мне уже приходилось бывать в Ленинграде, но именно на Васильевский остров я попала впервые. А тут еще странность местоположения квартиры Груздевых. Мы идем в «профессорскую» квартиру, а попадаем с улицы в невообразимый для меня, коренной москвички, ленинградский двор-колодец, потом каким-то мрачным переходом — в другой двор-колодец и наконец на темную лестницу черного хода.

Я уже полна литературными реминисценциями.

Наконец дверь открывается в действительно чинную, аккуратную, добротно и со вкусом обставленную квартиру. Среди уже хорошо известных мне «серапионов» две незнакомые женщины: хозяйка дома Татьяна Кирилловна и Ольга Дмитриевна Форш.

Ольга Дмитриевна с первого же взгляда поразила необычностью своей внешности и манерой держаться. В ней, на первый взгляд, непривычно сочеталась некоторая старомодность с молодой эксцентричностью. И разговор у нее ни на кого не похожий.

Меня она сразу отводит в сторону и говорит:

— Я вашего Всеволода давно люблю, а с тех пор, как он в «Похождениях факира» всенародно признался, что внук барона Кауфмана, я его особенно полюбила.

Я смущенно отвечаю, что это, мол, Всеволод в ироническом плане написал — не то он внук барона, не то его конюха, поскольку отец незаконнорожденный, а мать отца в экономках у барона служила.

Ольге Дмитриевне мой ответ явно не понравился, она начала упрекать меня в излишней рациональности мышления.

Татьяна Кирилловна хлопотала по хозяйству, а Ольга Дмитриевна стала показывать мне груздевскую квартиру и, приведя в самую маленькую комнату, сказала:

— Эта у них для гостей, и меня гостьей к себе зовут. Подумываю, может быть когда и воспользуюсь.

И действительно воспользовалась.

Какое-то время Ольга Дмитриевна жила у Груздевых, как она говорила, «нахлебницей».

В этом особенность писательского труда. Многие беспрестанно ищут, где им удобнее и спокойнее работать.

Одни пишут в Домах творчества, другие там и строчки написать не в состоянии.

Многих не удовлетворяет в этом смысле домашняя обстановка. И не потому, что дома плохо. А хочется чего-то особенного, что дома почему-либо никак не удается организовать.

Вот, например, Всеволод писал, во всяком случае ту часть своей жизни, что я была с ним, только дома. Но ему для работы всегда нужно было очень много книг и даже предметов (почти сценических аксессуаров), которые вводили бы его в атмосферу той среды, которую он в данный момент описывал.

А Ольга Дмитриевна в ту пору, когда она поселилась у Груздевых, мечтала о полной «отрешенности». Хотела, чтобы был полный покой, тишина и ничего, кроме собственных раздумий да бумаги на столе.

Я знавала одного писателя, который, куда бы ни пришел, неизменно говорил:

— Вот тут я, наверно, смог бы писать.

И так как это был очень большой писатель и обаятельный человек, его многие приглашали:

— Пожалуйста, сделайте милость, поселитесь у нас или, если хотите, приходите к нам работать.

И иногда он даже пробовал, но никогда из этих проб ничего у него не получалось. Но и он все же нашел, что ему было нужно. Абсолютно глухой угол, где никаких знакомых, никаких отвлекающих проблем и впечатлений, но возможность общения с природой и животными.

В груздевский период Ольга Дмитриевна на какое-то время тоже нашла нужную ей обитель.

Но для нее это было кратковременным. Слишком любила она своих детей и внуков и слишком остро ощущала потребность не только в каждодневном, но и в ежечасном общении с ними.

Ольга Дмитриевна буквально обожала своих внуков, но рассказывала про них только с юмором.

— Ну и народ пошел — Вовке всего пять лет, а уж разглядел, постреленок, что бабка у него — бездельница. Так дома родителям и доложил. «Пожил, — говорит, — у нее две недели, теперь знаю — притворяется она, что работает, а у самой даже и чертежной доски нет», — рассказывает Ольга Дмитриевна о своем старшем внуке Володе, сыне ее дочери Тамары.

Я отвечаю:

— Ну да, ведь совсем маленьким детям весь мир представляется похожим на их ближайшее окружение.

И ответно рассказываю, чем привожу Ольгу Дмитриевну в полный восторг, о нашем младшем сыне Коме, который в возрасте ее Вовы был взят впервые на балет в Большой театр, крайне взволновался и, увидев толпу у входа, закричал теснившимся в дверях людям: «Пропустите нас скорее, а то мы все ваши рукописи выбросим!»

— Вот, вот, — сотрясается от хохота Ольга Дмитриевна, — все они, пострелята, такие!

С нашей семьей у Ольги Дмитриевны сложились очень тесные дружеские отношения. Не только сама Ольга Дмитриевна подолгу гостила у нас и в Москве, и на даче в Переделкине, но и члены ее семьи тоже приезжали к нам.

Ответно и мы не могли себе представить поездку в Ленинград без свидания с Ольгой Дмитриевной.

Все свои книги Ольга Дмитриевна непременно нам дарила с трогательными надписями. После того как в сорок втором году сгорела в Переделкине арендуемая нами у Литфонда дача, а с ней и огромная библиотека Всеволода, уцелели только те книги, которые находились на московской квартире. Среди них «Радищев» Ольги Форш (1939) с дарственной надписью:

«Дорогим и любимым Тамаре и Всеволоду Ивановым. Их Ольга Форш».

Ольга Дмитриевна была прекрасной рассказчицей и очень интересной собеседницей. Можно только пожалеть, что не было у нас в доме где-то незаметно укрытого магнитофона, — вот бы воспроизвести теперь ее рассказы и речи. Или хотя бы догадаться мне тогда записывать. А память, к сожалению, удерживает очень мало и не всегда достоверно, а лишь приблизительно так, как было сказано.

Ольга Дмитриевна была не только великолепной рассказчицей, — по любому поводу имела она свое собственное и вполне оригинальное суждение. Очень остро и совершенно по-своему судила она об искусстве и литературе.

Часто высказывала желание (к сожалению, не осуществленное) написать статью с разбором юмора Зощенко и фантастики Всеволода. Это намерение долго не оставляло Ольгу Дмитриевну. Впервые она заговорила о нем еще задолго до войны, но и в конце 40-х годов писала: «Я прошу ВеВе прислать мне его книжку рассказов, мне до нее есть дело. Пусть пришлет!»

ВеВе — так звала Ольга Дмитриевна Всеволода (по начальным инициалам его имени — Всеволод Вячеславович). Она — вообще была выдумщицей и всем давала прозвища.

«Дело» ей было до чрезвычайно многого, вероятно поэтому кое-что и оставалось втуне.

Намерения и планы, тесня одно другое, постоянно бурлили в Ольге Дмитриевне. Многогранность ее интересов и была, по-видимому, основным стимулом ее неистребимой молодости.

Первое мое впечатление о некоторой старомодности Ольги Дмитриевны быстро стерлось. Наоборот, она была темпераментом моложе и «передовее» всех нас. Да и не только темпераментом, а и необычайной живостью ума и поступков. По возрасту она годилась мне в матери, но мы дружили как сверстницы. Ольга Дмитриевна была шутницей, поэтому могла проделывать невероятные для ее возраста трюки без какой-либо другой насущной надобности, кроме желания меня эпатировать. Когда мы шли куда-нибудь вместе, я не успевала опомниться, как она, несмотря на свою грузность, одним махом, оставив меня с разинутым ртом позади, вскакивала или соскакивала на полном ходу с трамвая.

Все в жизни она воспринимала и соответственно воспроизводила, рассказывая, с иронией и юмором.

Но она была и философом.

Ее шокировала моя излишняя, на ее взгляд, рациональность. Поэтому она пыталась меня перевоспитать. Учила ощущать жизнь как подарок и тренировать себя на восприятие любого окружения как чего-то неслыханно интересного.

Самое простое «приспособление», говорила мне Ольга Дмитриевна, — это суметь внушить себе, что вот этого человека, этот лес, это дерево, эту поляну, этот дом, эту улицу, этот город видишь в первый или (что равнозначно) в последний раз, и тогда все покажется несказанно интересным и даже прекрасным.

Для того чтобы «приспособление» подействовало, надо на минутку приостановиться, отключиться от поглощающих мысли и чувства мелких каждодневных забот и хлопот, так сказать, расслабить органы восприятия, — вот тут-то и войдет в сознание неповторимость красоты того, что находится сейчас, сию минуту перед твоими глазами.

* *

Война всех раскидала по разным городам.

Нашу семью забросило в Ташкент, где режиссер Луков доснимал по сценарию Всеволода фильм «Пархоменко», который требовалось беспрестанно переделывать.

Ольга Дмитриевна писала нам в Ташкент из Свердловска:

«*10/I—1942*

С новым годом!

Дорогая Тамара и все не менее дорогое семейство — приветствую! Шлю самые крепкие добрые пожелания здоровья, благополучия и главное, конечно, поскорей полнейшей нашей победы, радостного возвращения в родной дом и надеюсь, встретимся еще! Ваше письмо, Там, [1] я получила давно и написала ответ, но вдруг узнала, что

---

[1] Как уже говорилось выше, Ольга Дмитриевна любила прозвища. Меня, в отличие от своей дочери Тамары, она чаще всего называла Там. Впрочем, и дочь Тамару она предпочитала звать Тапиром.

Вы уже из Чистополя уехали, сказали мне, в Куйбышев — ан оказалось, в Ташкент. Очень радуюсь, что вы все вместе, это единственное сейчас счастье. Мы много всякого пережили и только недавно сносно устроились, т. е. у нас наконец тепло. Я очень болела плевритом, и Вова (сын Тамары) тоже, и мы просто замерзали (два градуса в комнате, лучшее — при топке двух раз печи — 10—11). Сырость была, как в болоте. Сейчас тепло и не надо ходить за водой. Все пятеро живем в одной комнате (16 метров). Она глаголем, и у всех углы. Начинаю писать. Трудно, но думаю, преодолею. Морозы тут лютые — 38—40. Ветер еще хуже — ураган, грязь, не виданная нами, ребятишки сразу врастают и стоят как статуи. Их матери отрывают, калоши засасывает. Сейчас морозы, но тихо, и небо синее, но скоро ждут крещенскую волну холода и вьюг. Мне очень труден этот климат. Болят оба легких, и первое воспаление предположительно окажется уже последним. Валенок же нет как нет! Все обещают в Союзе... Думаю, так и прохожу в газетной бумаге. Отсюда — редкий выход. О, как мечтается о солнце и яблоках при слове Ташкент. Оправдывает ли он себя? Хоть Вы-то греетесь? В общем ничего — живем. Дети вот только очень болеют. Диму перевели сюда на службу, оттого мы и приехали все в Свердловск. Очень рада, что Тамара (дочь Ольги Дмитриевны. — *Т. И.*) на работе в Фил. Ак. Наук — химиком. Из знакомых здесь ближе всего Комаровы, была больна, лежала у них. Сам Владимир Леонтьевич (Комаров. — *Т. И.*) тоже очень болел, сейчас лучше. Здесь Финк, Ромашов, Верховский (потерял дорогой весь чемодан и одну калошу), Гладков, Мариэтта (Шагинян. — *Т. И.*). Ей глухота, верно, впервые оказала услугу. Она, сестра, дочь в одной комнате. Мирель родила носатую девочку тут же, но Мариэтта крика девочки не слышит и пишет на курьерских. Да, Барто здесь и наполнила собою весь Союз, город, окрестности. Дорогое семейство! Большие и малые, будьте счастливы, напишите, хорошо ли у вас жить.

От Груздевых сразу неск⟨олько⟩ писем. Сидят у себя в квартире, как в окопе. Очень много работают по дому. Хотели было ехать, но хвост оч⟨ень⟩ велик и многолетен. Бабке больше восьмидесяти — аэроплана боится, мать, тетка, две племянницы, две собаки. Их усыпить хотят и не могут. Илья тушит зажигалки. Живет часто на крыше.

Очень его ждала. Слыхала, что будто летит он в Москву — Свердловск, но нет его пока. Тамара шлет привет, и я тоже.

Ваша Ольга».

* *

В Ташкенте мы прожили с декабря 1941 года по октябрь 1942 года.

Вернувшись в Москву, поселились, как и все, не только иногородние писатели, но и те москвичи, чьи дома не отапливались, в гостинице «Москва».

Туда же приехала из Свердловска и Ольга Дмитриевна. Существовал комендантский час, и потому все, у кого не было специальных пропусков, торопились вернуться в срок к месту жительства. А в гостинице в это время начиналось хождение из номера в номер. В особенности после радиосообщений «в последний час». Всем хотелось поделиться друг с другом мыслями и радостными надеждами.

Так ходили и мы к Ольге Дмитриевне, жившей на другом этаже, ходила и она к нам.

Вот однажды приходит и, как водится, обменявшись вначале свежими впечатлениями от радио и газетных сообщений, хитро щурится и говорит:

— Сейчас я вам расскажу, что вчера со мной произошло. Сижу я с Эренбургами (там же, в гостинице «Москва»), сидим разговариваем — то да се, я уже и устала, и задремывать начала. — Ольга Дмитриевна с присущим ей артистизмом изобразила, как она начала задремывать. — Глаза открою: то они оба со мной сидели, а то, гляжу, одна Люба осталась, — куда же, думаю, Илья-то Григорьевич запропастился, поговорю, поговорю с Любой, опять подремлю, глаза открою, он передо мной сидит, а ее вроде и вовсе не было. Наконец я встала и говорю: «Дорогие гости, не надоели ли вам хозяева?» Тут-то и выяснилось: я, оказывается, запамятовала, что к ним пришла, думала, это они у меня в гостях сидят — до трех часов ночи припозднились. Номера-то эти окаянные один на другой как две капли воды похожи. Так что вы, Там, не теряйтесь, если я у вас задремывать начну — сразу меня под руки и к лифту ведите, не то вам хуже, чем Эренбургам, придется: у вас номер ординарный, а у них — двойной. Когда я задремывала, они, оказывает-

ся, по очереди спать в другую комнату уходили. — И хохочет, хохочет Ольга Дмитриевна.

Никогда точно не установишь, что действительно случилось, а что она присочинила «для интереса», как сама определяла.

* *

Всеволод вел дневник. Привожу его запись того периода:

«10 ноября 1942 г.

⟨...⟩О. Д. Форш, бодрая, веселая, говорящая много о работе — и упоминувшая раза три-четыре о смерти. Она рассказывала, как ездила по Средней Азии,[1] как видела Джамбула, который сердился на фотографов, съевших его яблоки. Хочет ехать в Алма-Ату. Тамара отговаривала ее. Перед уходом она сказала:

— Мне очень любопытно узнать, что происходит сейчас в Германии. Робеспьер, Демулен и прочие вожди французской революции родились в масонских клубах. Там получали они идеи, которые подали народу. ⟨...⟩Где-то там, в теософических кругах, родился и воспитан этот истерик, марионетка Гитлер, за спиной которого стоят... не теософы ли? Это ужасно интересно.

На ногах у нее «коты». Белье стирает она сама, да шьет на себя сама — широкая, старая-старая. Она уехала в Москву, чтобы пайком ее питались дети сына. Обрадовалась, когда Тамара добыла ей сухой паек вместо обеда в столовой нашего клуба».

Всеволод любил расспрашивать Ольгу Дмитриевну обо всем. А период ее увлечения антропософией особенно его интересовал, и он все уговаривал ее написать об этом, она же в ответ жаловалась, что на все замыслы не хватает времени.

В конце декабря мне пришлось срочно выехать обратно в Ташкент, так как находившиеся там дети заболели тифом. Всеволод остался в Москве один.

Привожу еще его дневниковые записи.

---

[1] Речь идет о поездке Ольги Дмитриевны в Казахстан летом 1942 г. с экспедицией АН СССР.

«1 марта 1943 г.

Приходила О. Д. Форш. Повторила свои рассказы о внучке, которая спрашивает — трех лет — о боге... и Ольга Дмитриевна очень рада этому обстоятельству (а небось сама и научила, не замечая того), восхищалась «Дядюшкиным сном» в МХАТе, ругала М. Шагинян за то, что та «от абстракции» всех считает дураками и всех учит. ⟨...⟩

— Вот бы мне на два года бесхлопотной жизни, я бы написала все, что знаю, никогда не летала, перед смертью — полетать, качки боюсь, вас очень люблю, люблю бывать у вас, в поезде ехать одной страшно, Екатерина Павловна (Пешкова. — *Т. И.*) рассказывала: «Утащили два чемодана, утащат последнее». Вот так и говорит, делая ротик, как колечко — от молодости осталось кокетство. И говорит так правомочно, как будто от всей литературы... «Но кто может похвастаться тем, что его поняли? Все мы умираем непонятыми. Это давно сказано устами женщин и авторов» (Бальзак «История тринадцати»)».

* *

Следующей зимой 1943—1944 года дом на Лаврушинском начал отапливаться, и вся наша семья оказалась там в сборе. Но Ольга Дмитриевна, приезжая в Москву, по-прежнему жила в гостинице «Москва». И комендантский час существовал по-прежнему.

Вот сидит у нас Ольга Дмитриевна на Лаврушинском, и близится комендантский час. Я говорю сыновьям, что кому-нибудь из них надо пойти проводить Ольгу Дмитриевну до метро.

Ольгу Дмитриевну все в нашей семье очень любили, поэтому оба мальчика дружно вызываются проводить ее, но их опережает молодой человек, находившийся в гостях у старшей дочери, говорит, что и ему пора — к метро.

Ольга Дмитриевна, закутавшись в платки и шали, уходит в сопровождении молодого человека.

По прошествии какого-то времени (во всяком случае уже за пределами комендантского часа) врывается к нам обратно этот злополучный молодой человек. Он рвет на себе волосы и буквально со слезами упрекает нас за то,

что мы ему толком не объяснили, кого именно он вызвался проводить до метро, и вот теперь он на всю жизнь себя опозорил и погубил.

Так парень убивался, что и про комендантский час забыл. Пришлось его ночевать оставить.

А Ольга Дмитриевна, придя к нам на другой день, вся тряслась от хохота, рассказывая:

— Ну идем мы к метро, я паренька и спрашиваю: чем, мол, молодой человек, в жизни занимаетесь? А он отвечает: «Не знаю, как вам, бабуся, объяснить... Бывали ли вы когда-нибудь в кино?» Я вижу, парень понятия не имеет, с кем идет, ну и прикинулась перед ним деревенщиной. А парень-то, оказалось, на сценариста в ГИКе учится. Наболтал он мне всякой чепухи полный короб. И так расхорохорился от моих подначиваний: «Я, — говорит, — вас, бабуся, в сценарий вставлю», что не только до метро, но и до самой гостиницы меня проводил. Ну, прощаясь, я ему и назвалась. Его как ошпарило. Схватился за голову. «Пропал, — говорит, — на всю жизнь пропал. Да вы же моя любимая писательница!» И убежал, бедняга, без оглядки. Уж больно он меня развеселил. Я и ночью проснусь, вспомню этого парня — и опять меня смех разбирает.

* *

Кончалась война. Все вернулись на насиженные места. Жизнь входила в привычную колею. Опять Ольга Дмитриевна приезжала к нам. Иногда писала:

Приведу несколько сохранившихся у меня ее писем.

«Ленинград. 31/III — 1945 г.

Дорогие Тамара, ВеВе, дети, здравствуйте! (тете[1] пишу на особицу, уж так она утешила меня зверем!)

Я конечно ⟨виновата⟩ перед Вами, что пишу только сейчас и замечательный факирский юбилей[2] восприняла

[1] Тетя — моя сестра Зинаида Владимировна Каширина — художница-прикладница. Речь идет об игрушке, сделанной по ее модели и посланной в подарок Ольге Дмитриевне.

[2] В феврале 1945 г. Всеволоду исполнилось 50 лет, а «факирским» его юбилей Ольга Дмитриевна называет, отталкиваясь от книги «Похождения факира».

лишь poste facture и только сердечными чувствами без их внешнего выражения. Но чувства горячи, искренни навсегда. Писать бы⟨ло⟩ я и хотела (хотя узнала поздно), но рука была как овечий хвост (распухла, болела и болит — отсюда малограмотный почерк). Лежала, болела, телеграмму не отправили своевременно — все хотелось по-настоящему поздравить, а вышло пока ни по-какому.

Напишу ВеВе не прозу — стихи, в знак вечной любви! Вот и напишу!..

Жду своих со всех сторон: неблизких — с Байкала Тамару, из Свердловска — мелочь и дедов. В мае — полный комплект девять человек в четырех комн⟨атах⟩. Одна общая столовая. Топится из них одна, дожимаю до девяти-десяти градусов тепла. Отсюда обострение подагры. Но ничего — работаю. Скоро кончу первую часть «Бессмертного города» под загл⟨авием⟩ «Михайл⟨овский⟩ замок», и еще хочу к *торжеству нашей победы* о современных людях! О молодых героях.

Очень чувствую страшную утрату Виктора Шкл⟨овского⟩ и Никитина (за 3 дня до Кити,[1] уже единственный). Напишите мне о Шкловских. Там думаю очень о них, а слов нет, что тут слова? Но о тех, кто не увидит, не услышит победы нашей последней и окончательной берлинской, мне очень хочется хорошо, достойно их написать. Ищу материал документальный...

В Москву пока не собираюсь, я так рада, что живу в своей комнате, и, хотя быт не легкий, не жалуюсь. Со мной один Дима, который до позднего часу занят службой, диссертац⟨ией⟩, восстановлением своего учреждения. Был печником, водопроводчиком, маляром и т. д. Я же один день домработницей, другой автором и только истопником. У меня через день поделенная с Мих⟨аилом⟩ Зощенко услужающая гражданка. Но дела хватает и мне, если воспротивляться зарастать грязью. Я прошу ВеВе прислать мне его книжку рассказов, мне до нее есть дело. Пусть пришлет!

Целую все дорогое семейство и жду обособленных, а не гуртовых сведений:

---

[1] Китя (Никита Викторович) Шкловский — сын Виктора Шкловского, юный лейтенант, погиб в последние месяцы войны, а за три дня до него погиб на фронте второй сын Николая Николаевича Никитина.

1) Таня (Индия, каток, женихи, поклонники, ангельский лик?).

2) Миша (Живопись? Рисунок? Натура? Композиция?).

3) Кома (Стихи? Вес тела? Рост? Ужели не угомонился, обогнал ли дядю? Профессиональный уклон? Мускулатура?). Кто победитель в боях, если бои продолжаются, — Миша или Кома? Привет маме, Николаю Вл⟨адимировичу⟩,[1] Марусе.[2]

Ваша Ольга Ф.».

Из вопросов, которые задает в письме Ольга Дмитриевна, интересуясь каждым членом нашей семьи в отдельности, видно, что она приняла нас всех вкупе в свою «родню».

Это же подтверждает и надпись на книге «Михайловский замок» («Советский писатель», 1946):

«Дорогой семье Ивановых от любящего их автора этой книги Ольги Форш. 9 февраля 1946 г.».

Книга была нам подарена в очередной приезд Ольги Дмитриевны в Москву, когда, по установившейся традиции, она у нас остановилась.

Свидевшись после долгой разлуки, мы всегда никак не могли наговориться вдосталь. Начав беседу с вечера, засиживались в разговорах чуть не до утра.

«Г. Пушкин, Московское шоссе,
д. 21, кв. Чистякова

26/I — 1950 г.

С новым годом!

Дорогое мое семейство, поздравляю и каждому члену желаю его собственного счастья!

Я часто о всех думаю и шлю мысленно лучшие свои чувства, но вот писать очень трудно. Сначала и физически, после операции глаза в Мечник⟨овской⟩ лечебнице, а потом просто полная отвычка и неприязнь к эпистолярной форме общения.

Но в чувствах прошу не сомневаться. ⟨...⟩

Мечтаю весной, едучи в Ессентуки, на неск⟨олько⟩

---

[1] Николай Владимирович Михаловский — мой брат.

[2] Мария Егоровна Трунина — наш друг, няня наших детей.

дней застрять в кабинете ВеВе и всех повидать как следует.

У меня же — вторая молодость! Обручилась с декабристами! После оч⟨ень⟩ тяжелого года, когда думала, что ослепну, и никак, никак это принять не могла, — соперировалась и прозрела и работаю, как верблюд. Живу в Пушкине, день расписан, гулять чудесно, и работать можно. Скоро будет готова 1-я часть (всего 2). Вторую уеду писать в Ессентуки. Вот проспект на будущее, если что-либо не переменится. Домашние так живут: Дима на оз⟨ере⟩ Балхаш, пробует свою машинку, получил авторское право, Тамара заменяет Намяхина, к сожалению, ходит на работу на 8 этаж, что ей при малярийном сердце плохо. Леночка — аспирант, Олечка — в 6 кл. дома развела улиток и проч. биологию, Володя — в 4 кл. Есть кошка Фенечка, но и крысы есть, ее не боятся. На ночь от них прячем кошку. Ну будьте все здоровы, милые, не сердитесь, что не пишу — ей-богу помню.

Ваша О. Форш».

«*Ленинград, 28 декабря 1952 г.*

С новым годом!

Дорогую Тамару и все семейство сердечно приветствую и желаю самого хорошего пятьдесят третьего! Надеюсь скоро всех повидать, потому что предполагаю во второй половине января приехать в Москву на недельку. Тамара получит командировку и берет меня с собой.

Остановимся в гостинице «Якорь», и, конечно, сейчас же Вам позвоню.

У нас зимой было много болезней. Олечке (внучке) делали операцию. Здоровье ее, конечно, очень меня волновало. Дима тоже все время хворает астмой. А мне самой приходилось тоже круто: кончить надо большую работу, а глаза плоховаты. Хотя видят, но ненадолго — все сливается. А читать безмерно много, и слушать не умею, надо все самой...

Сейчас работа кончена, — над ней суд историка, редакторов и т. д.

Вот сдам и приеду свободной. Очень хочу повидать всех Вас. А пока целую, шлю привет всему дорогому семейству, и Маме Вашей, и Николаю Владимировичу, и Тете Зинаиде Владимировне.

Ваша О. Форш».

Приписка на полях:

«Если напишете мне, не забудьте Ваш телефон.

Вернулся ли Федин в Москву. Хочу его видеть, передайте привет».

Намерение остановиться в гостинице «Якорь» оказалось чистой утопией. И Ольга Дмитриевна, и Тамара Борисовна, как и во все предыдущие приезды Ольги Дмитриевны в Москву, остановились, к большой нашей радости, у нас.

Ольга Дмитриевна привезла с собой томик избранных своих произведений (Гослит, 1953) с дарственной надписью Всеволоду:

«Дорогому факиру с благодарностью за новое чудо — воскрешение Ломоносова.

На добрую память Всеволоду Иванову от крепко любящего автора — сиречь Ольги Форш».

Каждый приезд Ольги Дмитриевны к нам был для нашей семьи праздником. Она обладала даром одним своим присутствием заставить засверкать любые будни.

Ольга Дмитриевна входила в нашу жизнь, ничуть не меняя ее распорядка, так, как будто всегда в ней присутствовала. Разве что Всеволод несколько дольше засиживался за столом в разговорах с ней.

Разумеется, я сопутствовала Ольге Дмитриевне повсюду, куда ей надо было пойти. Если приезд Ольги Дмитриевны в Москву был приурочен к какому-либо мероприятию Союза писателей, например к пленуму, я сопровождала ее на заседания.

К выходу в свет Ольга Дмитриевна готовилась и обязательно прихорашивалась. Причем делала она это очень артистично и не стеснялась зрителей, а наоборот, даже жаждала публичности.

Она шла в переднюю, где у нас стояло большое трюмо, и перед ним пристраивала себе какой-нибудь только что ею придуманный и собственноручно созданный воротничок, жабо или горжетку.

Ольга Дмитриевна призывала весь наличный на данный момент состав нашей семьи полюбоваться этими своими неистощимыми выдумками «прикрас».

У моих детей надолго вошло в обиход слово «горжетка» как символ не только прихорашивания, но вообще чего-то из ряда вон выходящего в одежде человека.

Когда Ольга Дмитриевна возвращалась домой, откуда бы то ни было: с заседания, собрания, из гостей, после похода по магазинам, — всегда происходило самое интересное. Ольга Дмитриевна начинала рассказывать. Рассказывая, она чаще всего изображала в лицах — так сказать, проигрывала перед слушателями свои впечатления. Рассказывала и показывала она так, что все приобретало совершенно новый смысл: углублялось, расцвечивалось, искрилось юмором.

Иногда, если предмет того заслуживал, юмор становился саркастичным, но никогда не переходил в злопыхательство.

Я — очевидица тех событий, о которых она рассказывала, бывшая при ней неотлучно и не сумевшая увидеть то, что увидела она, — каждый раз заново влюблялась в способность Ольги Дмитриевны столь красочно, интересно и многогранно видеть жизнь.

А в моих детей рассказы Ольги Дмитриевны вселяли уверенность, что жизнь и на самом деле так увлекательна, как она ее преподносит.

Приведу еще одну очень характерную для Ольги Дмитриевны записку, сопроводительную для ехавшего в Москву Дмитрия Борисовича:

«Дорогая моя Тама, целую Вас и жалею, что едет Дима, а не я. Вдруг очень захотелось всех вас увидеть. О себе я написала Вам в письме (получили?). Нового что же? Разве что, когда вечерами гуляю в сквере Казанского собора, была остановлена милиционером:

М. Где у тебя тут пьяный?

Я. (не выходя из творческой задумчивости). Не видела пьяного.

М. Какой же ты к черту сторож?!

Я. А я и не сторож...

М. Что же тут кружишь? Кто ты?

Я. Я писатель. Хожу книгу обдумываю. Нельзя?

М. Кни-гу? Ну, тогда валяй!

Милиционер ушел, потом опять вернулся.

М. А ты не врешь? Я гляжу, ты который раз по одному месту. А тут сказали, пьяный упавши. Как же это вы не знаете, где пьяный?

Я. Да не видела...

М. Под носом не видишь, хорошей книги не напишешь.

А пьяного-то и не было вовсе. Так и живу, с напраслиной... Зря обидел!

Надеюсь повидать дорогое семейство скоро, а пока возьмите над Димой шефство. Пустите его переночевать на две ночи.

Ваша Ольга».

* *

Последнее наше свидание с Ольгой Дмитриевной произошло в 1961 году. Мы со Всеволодом специально приехали в Ленинград, чтобы с ней повидаться. Остановились у нее на квартире. Сама она уже не жила там — проводила все время в Тярлеве, где она приобрела домик.

С нашей точки зрения, домик этот был крайне неудачен, тесен, да и стоял он на каких-то задворках. Но с ее умением видеть (если захотеть) все прекрасным, Ольга Дмитриевна была в восторге от этого домика, и мы, само собой разумеется, поддакивали ей в этом.

Что касается реального видения в буквальном смысле этого слова, то к тому времени зрение Ольги Дмитриевны было уже в очень плохом состоянии: ей читали вслух и она диктовала то, что хотела записать.

Но тут вернулась страсть ее юности, и Ольга Дмитриевна заняла свой досуг рисованием цветными карандашами. Ведь в молодости, как известно, она брала уроки живописи у художника Чистякова.

На стене моей комнаты висит подаренный ею рисунок, выполненный цветными карандашами. Рисунок изображает милый ее сердцу пейзаж из окна домика: на заднем плане те самые задворки, которые она находила столь пленительными, а на переднем плане крупные розы и фуксии, стоявшие у нее на подоконнике.

В то последнее наше свидание Ольга Дмитриевна уже с трудом перешла из своей комнаты в столовую, с трудом дышала, но ясности ума и особого, одной ей свойственного оттенка юмора не лишилась ни на йоту.

Она так и сыпала ироническими афоризмами, вроде:

— Имейте в виду, Там, умная женщина вовсе не молодится, а уж если молодится, то только до шестидесяти лет, а дальше выгоднее прибавлять себе годки (по секре-

ту — я уже давно пяток годов себе накинула) — ан кто и скажет: «А старушка-то еще ничего!»

Ольга Дмитриевна всегда проявляла полное презрение к так называемым материальным проблемам, — отсюда ее близость со Всеволодом, у которого это тоже было основным качеством.

Но, по банальной истине, что противоположности сходятся, меня она как раз любила за то, что ей казалось, будто я умею разрешать эти материальные проблемы. Сама же она, как и Всеволод, обладала способностью воображаемое считать действительностью, и, что самое поразительное, при любых обстоятельствах — счастливой и прекрасной действительностью.

Еще в тридцать восьмом году, точнее 27 апреля 1938 года, Ольга Дмитриевна сделала на своей книге «Современники» такую дарственную надпись Всеволоду:

«Дорогому человеку и писателю Всеволоду Иванову роман о его двух земляках (по Индии) от землячки же Ольги Форш».

«Индию» Ольга Дмитриевна понимает здесь как творческую мечту, творческую фантазию.

Гоголь и Александр Иванов в воображении Ольги Дмитриевны жили и творили рядом с ней. В ее представлении они были не просто современниками, но и земляками не только друг другу, но и ей, и близкому ей по духу Всеволоду.

Философски умонастроенной, переполненной романтической фантазией, насквозь пронизанной иронией и юмором, неистребимо молодой знала я Ольгу Дмитриевну, и такой живет она в моей благодарной памяти.

И. Татаринова

«ЖЕЛАЮ ВИДЕТЬ МИР!»



Ольга Дмитриевна Форш еще молодым автором познакомилась в редакции журнала «Русская мысль» с А. П. Татариновой, где та работала секретарем, и с тех пор дружба между ней и моей свекровью продолжалась до самой смерти Александры Павловны.

В мою жизнь Ольга Дмитриевна вошла с тридцатого года. Меня всегда привлекала беседа с ней, ее рассказы. Она умела найти какие-то особенно выразительные, незатертые слова и сравнения, приходила к оригинальным, своим выводам. Особенно интересны были концовки ее рассказов. Кажется, все ясно, весь ход событий должен привести к определенной развязке, и вдруг неожиданный поворот мысли, и в результате совсем не то, что ты думала, концовка другая, непредвиденная, но в то же время совершенно логичная и такая естественная, что просто диву даешься, как ты сама до нее не додумалась. Ольга Дмитриевна не любила трафарета. Когда я входила к ней в комнату, мне всегда представлялось, что вся обстановка тоже выражает Ольгу Дмитриевну. Там соседствовали, казалось бы, самые не подходящие друг к другу предме-

ты, а вместе все было как-то очень органично. Ампирный столик, и рядом турецкий диван, и удобное мягкое кресло начала века, украинские глиняные горшки и декадентская ваза зеленого стекла, а на стене незатейливая акварель, работы Ольги Дмитриевны, приятная по своим ярким пятнам, кусок набойки с русским народным узором и фотография с чем-то полюбившимся пейзажем.

Ольга Дмитриевна любила все живое. Помню, как она радовалась на даче в Келломяках хилым петуньям и вербенам, выращенным ею на неблагодарной тамошней почве под тенью сосен; с каким интересом наблюдала она за ящерицами, жившими в большом тазу у ее внучки Оли; как одобряла интерес Оли к живым тварям. И в городе и на даче у Ольги Дмитриевны всегда были собаки. Были у нее и рыбки, а в последние годы в Тярлеве у нее жила птичка, кажется чижик. Птичка летала по комнате, садилась Ольге Дмитриевне на плечо, клевала из рук, и Ольга Дмитриевна очень этому радовалась. И в письмах Ольги Дмитриевны нет-нет да и проглянет этот ее интерес: «Рыбы живы, шлют вам привет, жрут противных красных червей». Или: «...сегодня она (дочь Ольги Дмитриевны — Тамара Борисовна. — *И. Т.*), я и сука Пуля едем в Тярлево на весь сентябрь».

Ольга Дмитриевна любила говорить о своем пессимизме. Я никак не могла с ней согласиться. И сейчас, перечитывая ее письма, мне думается, что я была права.

«...а я здоровьем плоха — замучила меня астма, и по погоде все спать хочется, а надо усиленно работать! Есть мечтание: кончу — поехать в Москву, но это пока далеко.

Глаз видит (оперированный), а тот — ослеп. Если бы не операция, я была бы сейчас слепа. И у меня такая радость, что я вижу, после ужаса предполагаемой слепоты, что я все еще слишком остро ощущаю эту радость, чтобы ощущать болезни и прочие неудобства старости. Дорогой Коник (ласковое имя, которым Ольга Дмитриевна называла А. П. Татаринову. — *И. Т.*), если ты *видишь* — это все, что можно желать после 70 лет. Надо жить мыслью, и все будет хорошо».

«...писать особенно трудно сейчас, потому что сдавала книгу «Первенцы свободы», изд. «М. гвардии»... Очень устали глаза, вернее глаз. Сейчас хоть неделю нельзя ни писать, ни читать, а потом снова за работу (2-я часть)...»

«...астма... с большой силой налетела на меня. Хотя зрения у меня — один глаз, а в нем 1/10, но вот работать надо день и ночь и скорее кончать вторую часть «Первенцев».

«Я в большой работе по случаю съезда, но в Москву ехать не собираюсь, здоровье не позволяет.

Отчаянно болят ноги, часто вовсе не могу ходить. Жаловаться, впрочем, нельзя — голова в порядке».

И, наконец, уже в восемьдесят пять лет весной пятьдесят восьмого года:

«...пишу... о проекте грядущих путешествий, авось где-нибудь и встретимся, поскольку вы оба — бродячие души. Я обнаглела перед своим «столетием» — желаю видеть мир, море, горы! И солнце, солнце...»

Ну разве может мрачно настроенный человек так любить свою работу, так любить природу, так любить жизнь, несмотря на болезни и немощи! О каком же пессимизме можно тут говорить? Во всяком случае от «пессимизма» Ольги Дмитриевны людям становилось тепло на душе, этот «пессимизм» ободрял, вселял веру в жизнь. И в моей памяти все встречи с Ольгой Дмитриевной остались светлыми страницами.

Л. Рахманов

«ДОРОГОГО СТОИТ...»



Я мало, очень мало что могу рассказать об Ольге Дмитриевне: мы редко с ней виделись. И все же каждая встреча дарила мне нечто такое, что связано только с ней, с ее ни на кого не похожестью, с ее добротой, остроумием, высокой, я бы сказал — высочайшей интеллигентностью.

Первая наша встреча, если можно ее так назвать, ибо она была заочной, произошла в журнале «Звезда» в 1930 году. Во 2-м номере журнала печатались главы из «Сумасшедшего корабля», романа-воспоминания Ольги Дмитриевны о Доме искусств начала 20-х годов, и в этой же книжке журнала была помещена первая моя повесть «Полнеба». Не знаю, прочла ли мою дебютную вещь Ольга Дмитриевна, но ее «Сумасшедший корабль» произвел на меня сильнейшее впечатление, в гротескных портретах я сразу узнал многих ленинградских писателей, в частности Евгения Шварца.

Очное наше знакомство произошло только через семь лет. Теперь я себя браню — как это я не попытался познакомиться раньше. В 1933 году я написал историческую повесть «Базиль», и мне было безумно интересно

узнать, прочла ли ее Ольга Дмитриевна. Не спросил ни тогда, ни позже. Виню свою молодую застенчивость и завидую нынешним молодым — они в этом отношении раскованней, как любят теперь говорить... Правда, у меня был самолюбивый принцип: по возможности не знакомиться с известными, большими писателями (разумеется, я имею в виду их самих, а не книги), пока они сами не обратят внимания на мою работу. Так было с Юрием Николаевичем Тыняновым, так было с Зощенко, с Олешей (к сожалению, очень поздно), — так получилось и с Ольгой Дмитриевной Форш. Это очень значительный для меня эпизод, о нем я и расскажу подробнее.

В ноябре 1937 года в небольшом ленинградском театре, которым руководил прекрасный актер и режиссер Борис Михайлович Сушкевич, состоялась премьера моей первой пьесы. Можно легко себе представить мое состояние! В антракте после первого действия я тщательно скрывался от знакомых, да и они меня не искали, а когда попадались навстречу, то и я и они отводили глаза: премьера, я чувствовал, явно заваливалась. Первый акт «Беспокойной старости» вообще жидковат, к тому же, как это часто случается на премьерах, на сцене не ладилось. Двери открывались и закрывались, когда не надо, декорации исступленно шатались, актеры путали текст как могли; а когда Полежаев, вернувшись из Кембриджа домой, подошел к окну и протянул руку к любимому кактусу, с энтузиазмом уверяя себя, жену и нас, что кактус без него необыкновенно вырос за эти две недели, грохнулась на пол вся жардиньерка. Ну и прочее было в таком же роде.

Следующее действие шло получше, а после третьего, едва я успел подняться с места, как вдруг увидел в проходе между креслами, уже совсем близко от меня, Ольгу Дмитриевну. (Я и не подозревал, что она в театре.) Она неторопливо подошла, неспешно подала руку, поздравила меня — и поблагодарила... Да, поблагодарила! Я вглядедся в ее лицо, в ее глаза — в этот момент я уже не боялся чужих глаз — и ясно увидел: лицо Ольги Дмитриевны было растроганным. Не спрашивая, я понял, что так подействовала на нее сцена одиночества стариков Полежаевых, которую чудесно сыграли актеры Жуков и Мосолова. Надо сказать, что до этой сцены Жуков меня раздражал суетливостью и местами слащавостью (кое-где

я почувствовал, что сам пересахарил), а Мосолова, известная когда-то актриса и владетельница так называемого Интимного театра, смущала меня частыми взглядами в публику, своеобразным эстрадным общением со зрителями. Здесь же Мосолова, как позже Грановская в БДТ, Андровская в МХАТе и Эмма Попова снова в Большом драматическом, была безупречна, равно как и Александр Михайлович Жуков.

Похвала, но что еще ценнее — растроганность Ольги Дмитриевны были для меня не просто утешением за все пережитые на спектакле неприятные ощущения. Помню, через много лет на премьере «Беспокойной старости» в МХАТе после этой же сцены одиночества растрогался до слез Паустовский. Как ни любил я Константина Георгиевича, но я знал, что он на редкость чувствителен... А тут Ольга Форш! Повторяю, мы были в то время почти незнакомы, но я от других наслышался о ее твердом, мужском характере, прямоте, уничтожающем, если надо, юморе... К тому же я знал, что в те самые месяцы неблагоприятно решилась судьба ее собственной пьесы в этом театре — по каким-то причинам (в театре таких причин всегда достаточно) пьеса не пошла... И вот Ольга Дмитриевна подле меня и искренне радуется успеху спектакля!

Мало того, я тогда не знал, что, прежде чем заказать мне сценарий о Тимирязеве, ставший потом фильмом и пьесой о профессоре Полежаеве, «Ленфильм» просил Ольгу Дмитриевну взяться за эту тему. Незадолго до этого она написала сценарий о Пугачеве, поставленный режиссером Петровым-Бытовым, уж не говоря о том, что была автором прославленного историко-революционного фильма «Дворец и крепость». И лишь тогда, когда Ольга Дмитриевна, занятая другими своими литературными работами и замыслами, отказалась от этого предложения, «Ленфильм» обратился ко мне. Не правда ли, каким рыцарским благородством надо обладать, чтобы первой поздравить автора фильма и пьесы, связанных с темой, от которой она отказалась?

Сравнительно скоро я хорошо узнал, что великодушие, человеческая и художническая сердечность и доброта были всегда присущи Ольге Дмитриевне, всегда были в ней выше личного и эгоистического. После войны, когда в той же «Звезде» напечатали мою драматическую повесть

о Чарлзе Дарвине и в журнале «Ленинград» появилась о ней превосходно написанная статья Ефима Добина, один довольно влиятельный писатель, которому не понравилась моя вещь (что вполне естественно, и, возможно, он прав в своей критике), вдруг рассердился, зачем напечатали... положительный отзыв Добина! Я этого не знал, писатель мне лично ничего не говорил, но зато поделился с Ольгой Дмитриевной, с которой с давних пор приятельствовал. Потом уж мне Ольга Дмитриевна рассказала, как она его отчитала!

Но в это время и я уже подружился с Ольгой Дмитриевной. Слово «подружился» звучит слишком сильно, но, так или иначе, я знал о ее добром отношении ко мне и однажды, живя в Комарове, тогда еще Келломяках, неосторожно увлек Ольгу Дмитриевну в длинную, утомительную прогулку километра за два: мне хотелось показать дачу, в которой мы с семьей счастливо жили перед самой войной — сейчас я не знал, что с ней стало. Расположена эта дача была на углу улиц Громыхалова и Танкистов — тихое такое местечко, — Ольга Дмитриевна, ценившая юмор, вполне оценила эти парадоксальные названия, особенно в связи с последовавшим затем приключением.

Оживленно беседуя, мы незаметно пересекли весь поселок. По пути я поведал о забавном домашнем финале премьеры, на которой в 1937 году была Ольга Дмитриевна. Когда мы с семьей вернулись из театра, нас ждала на столе корзина с яблоками (других фруктов в ту позднюю осень в городе не было) и бутылкой вина, — потом выяснилось, что это дар от театра. Мы принялись расспрашивать домработницу — откуда, что, кто принес? Она испуганно твердила одно:

— Принес мужик... за понос взял три рубля!

Ольга Дмитриевна с удовольствием выслушала и сказала:

— За понос — это хорошо. Сразу опустило триумфатора на землю. — Затем деловито спросила: — А если б у девушки не нашлось трешки, мужик так бы и унес корзину обратно?

— Не думаю. Но ругнул бы. Не домработницу, а всяких там, которые живут на дармовщинку.

Ольга Дмитриевна не то с одобрением, не то с удивлением на меня взглянула:

— А вы реалист.

Кстати, мы редко говорили о литературе и почти никогда — о собственной нашей работе. Это часто бывает у литераторов, особенно разных поколений, уж тем более младший стесняется спрашивать у старшего, о чем он сейчас пишет, высказывать суждения о его книгах. Потом я, конечно, себя ругал: а может быть, это было бы интересно Ольге Дмитриевне? В крайнем случае она меня оборвала бы. Глупо, глупо, что не говорил! Как-то хотел сказать, что, когда вижу пляж у Петропавловской крепости, голых людей, стоящих у стен раскинув руки, чтобы скорее и лучше загореть, невольно напрашиваются слова: «Раздеты камнем». Так и вертелось на языке — скажу! Ольга Дмитриевна любит шутку, наверняка не обидится, не сочтет кощунством, не обижалась же на смешные шаржи Радлова, Антоновского, Малаховского... Нет, не сказал. И пожалуй, не жалею.

Долго ли, коротко ли, мы оказались у цели — перед приветливым транспарантом, украшавшим деревянную арку поперек улицы: «Добро пожаловать!» Здесь помещался сейчас пионерлагерь. Мы уселись отдохнуть на скамейке сбоку от лагеря, чтобы спокойно, со стороны, рассмотреть наш бывший рай: весь участок, величиной чуть ли не в полгектара, обсажен был сверкающе-белыми березами, на диво разросшимися во время войны. Не успели мы отдохнуть и минуты, как к нам подбежала, крича, разъяренная санитарка:

— А вы тут чего расселись! Не видите, что у нас карантин!

Мы с Ольгой Дмитриевной безропотно поднялись, посмеиваясь над гостеприимным призывом: «Добро пожаловать!», и побрели восвояси. Мы не знали, что через много лет на экранах появится смешной фильм под названием «Добро пожаловать, или Вход воспрещен», кажется как раз о пионерлагере и его строгом начальстве.

В первую послевоенную осень 1945 года мы, обитатели только что вновь открывшегося в Келломяках Дома творчества (он должен был открыться 22 июня 1941 года), дружно и весело жили — работали, отдыхали, купались и, когда наступила пора уезжать (завтра с утра приезжала новая смена), устроили в нашей тесной столовой тесный товарищеский ужин.

Помню, один литератор обиделся, что ему достался

неудобный угол стола и маленькая тарелка вместо нормальной.

— Поставили блюдце в угол, как кошке! — сказал он и гордо удалился. Слава богу, его удалось уговорить и вернуть. По настоянию Ольги Дмитриевны перед ним поставили самую большую тарелку из всех возможных и посадили на самое почетное место, рядом с Ольгой Дмитриевной, чего он вполне заслуживал.

Ольга Дмитриевна и верно была для нас истинной патриаршей (не знаю, можно ли вместо «патриарха» сказать «патриарша», — существовала же в истории папства папесса Иоанна!). Одно присутствие Ольги Дмитриевны во главе стола, который мы называли «табльдзотом», уже делало замечательным наше скромное по теперешним понятиям, но роскошное по тем временам пиршество. Недаром о непременном спутнике наших ежедневных завтраков, обедов и ужинов — рисе — Борис Михайлович Эйхенбаум тонко заметил: «Рис — благородное дело». Произносились шутливые тосты, и даже я был почтен стихотворной эпиграммой, которую прочла вслух Елизавета Григорьевна Полонская, сочинившая ее в соавторстве с Ольгой Форш. Прежде чем процитировать, поясню повод. Дело в том, что сентябрь был прелестный, солнечный, по ночам перепадали теплые дождички, и потому вокруг было много грибов, которые я усердно собирал и сушил на балконе, развешивая на перилах и вдоль стен. Вот этот экспромт:

Наш Рахманов-меланхолик
Набрался грибов до колик
И на длинной-длинной нити
Протянул их к Маргарите.

Добавлю: к автору воспоминаний, помещенных в этом сборнике, Маргарите Степановне Довлатовой, близкому другу и помощнице Ольги Дмитриевны, содержание эпиграммы не имеет отношения, — ее тогда не было в Доме творчества. В доме жила малознакомая нам всем дама, действительно Маргарита, по чистой случайности протянувшиеся к ее окошку грибные нити и усмотрел зоркий в те годы взгляд Ольги Дмитриевны. Это была просто шутка. Мне приятно, что эта шутка исходила от Ольги Дмитриевны, что она публично похвалила меня за то, что я умею собирать и сушить грибы... А похвала Ольги

Дмитриевны за что бы то ни было — дорогого стоит, как сказано в одной пьесе Островского.

Закончу свой краткий очерк грустным, вдвойне грустным для меня эпизодом. Году в 1962-м, вскоре после того как Ольги Дмитриевны не стало, «Ленфильм» решил поставить новый, уже звуковой фильм по роману Ольги Форш «Одеты камнем». Мне предложили написать сценарий, и, хотя я обычно отказываюсь от инсценировок и экранизаций, тут, после некоторых колебаний, согласился. Этот роман я всегда любил, он действовал на меня магнетическим образом, восхищал какой-то особой духовной свободой, казалось несовместимой с «каменными мешками», — да и память об Ольге Дмитриевне обязывала меня не сметь отмахиваться от попытки, которая, я заранее знал, будет нелегкой.

Я начал, как обычно, с чтения материалов — о судебных процессах, о революционерах 70-х годов, вообще о той эпохе. Я как бы пошел по следам работы Ольги Дмитриевны, которую она вела сорок лет назад, и это оказалось бесконечно увлекательно. Я не только увидел, как скрупулезно изучила, исследовала Ольга Дмитриевна все, что должно и могло ей понадобиться, но главное — как это все потом озарилось в ее поэтическом претворении, в сложной, психологически сложной и мудрой книге.

Увы, очень скоро произошел обычный в кино пассаж: тематические планы изменились — в кино это случается еще чаще и необъяснимее, чем в театре, — и «Одеты камнем» решили не экранизировать. Так порвалась и эта ниточка, уже настоящая, не из эпиграммы, пусть тоненькая, но, как мне казалось, прочная, связывавшая, хотя бы косвенно, мою жизнь и работу с дорогим для меня именем Ольги Дмитриевны.

Г. Бебутов

У ИСТОКОВ БОЛЬШОЙ ДРУЖБЫ



Тысяча девятьсот тридцать третий год был на исходе. Оргкомитет Союза писателей СССР направил в Тбилиси группу писателей Москвы и Ленинграда, которая именовалась «бригадой по связи с литературой Грузии». Предстояло ближе познакомиться, обменяться творческим опытом с грузинскими писателями, начать переводить лучшие произведения и дружно встретить свой Первый Всесоюзный учредительный съезд.

В октябре 1933 года в Грузии побывал член бригады Юрий Тынянов. Он занялся подготовкой сборника «Грузинские романтики» для большой серии «Библиотеки поэта». 16 ноября приехали П. Павленко (руководитель бригады), Б. Пастернак, Н. Тихонов и В. Гольцев, а несколькими днями раньше — Ольга Форш.

С Ольгой Дмитриевной я познакомился, по журналистской традиции, в день ее приезда. Она остановилась у своих знакомых, которых называла — «мои милые старушки».

В ее далекие воспоминания детства, связанные с Тбилиси, еще только вплетались новые представления о го-

роде, когда она получила приглашение присутствовать 18 ноября на торжественной процедуре передачи правительством республики Народному комиссариату просвещения ключей от бывшего Метехского тюремного замка (здание это предполагалось переоборудовать для музея искусств, но оно оказалось ни к чему не пригодным и было много лет спустя снесено).

Ольга Дмитриевна очень обрадовалась приглашению — не успела осмотреться, а уже попала в свою стихию. Ведь она считала своим нравственным долгом воскресить и закрепить для будущего в литературе то, что «история забыть не может и не должна».

Более ста лет назад здесь, в самой древней части города, на Метехской возвышенности, царская администрация построила пять тюремных корпусов. С возникновением революционного рабочего движения в Грузии в камерах этой тюрьмы месяцами и годами томились пламенные борцы за свободу.

И вот в большом внутреннем дворе бывшего тюремного замка вдруг стало многолюдно, шумно и весело. Гости заходят в камеры, медленно идут «коридором смертников», переходят из корпуса в корпус... Долго молча смотрела Ольга Дмитриевна сверху на зажатую внизу серыми скалами Куру. Потом писала: «И как было не подумать, сколько тоскующих глаз уже запомнили ее с этого самого места». А сколько раз на противоположном берегу Куры собирались толпы рабочих, чтобы выразить гневный протест против насилия над свободой человека, или пели революционные песни, чтобы приободрить политических заключенных.

Свободный ветер продувал пустые камеры с настежь открытыми дверями. То и дело произносились имена: Ладо Кецховели — бесстрашного революционера, предательски убитого через окошко камеры, Виктора Курнатовского, томившегося здесь вместе с грузинскими братьями по борьбе, Михаила Калинина, активно участвовавшего в политических выступлениях тифлисского пролетариата, Закро Чодришвили и Михо Бочоридзе — профессиональных революционеров, Максима Горького, доставленного под конвоем из Нижнего и привлеченного к дознанию по делу кружка Федора Афанасьева... Много еще других имен называли в этот день.

Ольга Форш, по-писательски зорко всматриваясь в

окружающую обстановку, обратила внимание на то, как на фоне мрачных стен, от которых веяло холодом и плесенью, резко выделялись веселые лица людей, впервые вошедших сюда по доброй воле; но она видела и сосредоточенные, задумчивые лица тех, кто вспоминал, ценой каких лишений и жертв досталась их поколению победа революции.

Вениамин Каверин, шедший рядом с Ольгой Форш и Иосифом Гришашвили, заметил, что старые революционеры делятся воспоминаниями в тех самых камерах, которые в течение долгих месяцев и лет служили местом их заточения. С одним из них Гришашвили познакомил Ольгу Дмитриевну. Она обратилась к этому революционеру со многими вопросами, расспрашивала с жаром настойчивого репортера, а потом сказала мне:

— Ведь я уже не встречу его, а как он знает прошлое!

Трудно было не заслушаться рассказов бывших узников Метеха. Из уст в уста переходила версия о легендарной камере под номером 31, которую тюремная администрация назвала «секретной». В этой камере находились «бюро» политических заключенных всей тюрьмы и «рабочая школа». Нелегальная литература поступала с воли заделанной чаще всего в переплеты книг религиозного содержания. Некоторые листовки писались здесь, в стенах камеры. Литературу хранили в железной коробке, надежно спрятанной в полу, в тайнике. А рассказам о легендарном революционере Камо не было числа.

Надо ли после этого говорить, как была взволнована Ольга Дмитриевна. Впрочем, об этом дне, об осмотре Метеха она сама очень коротко, но выразительно рассказала во вступлении к очерку о писательницах Грузии. Обрывая свой рассказ на пятнадцатой строке, она замечает: «Но Метех — особая тема». Особая в том смысле, что за нее хочется взяться основательно. Интерес к Метеху был не случаен. Этот тюремный замок твердо вплетался в уже намеченный Ольгой Форш творческий материал.

В интервью, которое Ольга Дмитриевна дала мне для газеты «На рубеже Востока», говорится о двух начатых ею работах. Первая — очерк о грузинских писательницах, вторая — давно задуманный роман. Он строился в своем плане на общественно-историческом материале старого

Тифлиса, главным образом эпохи первой русской революции. На общем фоне вырисовывались портреты Арсена Джорджиашвили, метнувшего бомбу в царского палача генерала Грязнова, подпольщика и изобретательного конспиратора Камо, художника-самоучки, любимца рабочей бедноты Нико Пиросмани и портреты еще многих других. Хронологически план как бы обрывался на 1909 годе, на периоде глухой реакции, но роман (первая часть большой эпопеи) должен был дать читателю ощущение исторической закономерности грядущей победы пролетарской революции. Вот почему Метех, с которым были связаны судьбы многих революционеров, стал «особой темой» для Ольги Форш.

Свой очерк Ольга Дмитриевна писала, общаясь повседневно с грузинскими писательницами, вникая в их биографии, судьбы, в их произведения, душевно расположенная к ним. Когда же заглянула в книгу В. Сутырина «Очерки литературы Закавказья» и не нашла в ней ни строки о писательницах, то еще более убедилась, что начатая ею работа своевременна и нужна.

Ей во многом помог Иосиф Гришашвили — замечательный поэт, страстный собиратель книг и как бы устная библиография родной литературы. Он познакомил Ольгу Дмитриевну с неповторимым своеобразием древнего и современного Тбилиси. К тому времени им уже было написано этапное для него стихотворение «Прощание со старым Тбилиси», которое взялся перевести Борис Пастернак. Приведу две строфы из этого стихотворения:

И если к древностям забытым
я нежности тебе придам,
легко поймешь, каким магнитом
притянут я к его вратам.

И ты поймешь, за что нападок
я у поэтов не избег
и силами каких догадок
я воскрешаю прошлый век.

Именно нежностью прониклась Ольга Форш к Тбилиси, который в какой-то степени был городом ее детства. Она каждый день и каждый час своего пребывания в Тбилиси убеждалась в правоте и редкой искренности поэта, в несправедливости нападок на него, упрощавших вопрос, потому что старое ни в какой степени не противо-

поставлялось им новому и поэтому прощание со старым не требовало отречения от этого старого, содержащего богатые традиции национальной культуры.

Однажды Ольга Дмитриевна и я вместе пошли к Иосифу Гришашвили. Жил он тогда в районе, носившем название Харпухи, и идти к нему надо было мимо «серебряных рядов», через «темные ряды», которые она помнила с детства, мимо серных бань и дальше, все время преодолевая подъемы, до самого домика поэта. Он занимал две комнатки. Одна целиком была отдана книгам — первым тысячам томов будущей знаменитой библиотеки Гришашвили, для которой теперь выстроено Академией наук Грузии на том же самом месте большое двухэтажное здание.

Для Ольги Дмитриевны раскрылись тогда страницы многих замечательных книг о Грузии, а главное — и живые страницы города. Гришашвили познакомил Ольгу Форш с народным поэтом-певцом Иэтимом Гурджи, о котором она потом так тонко и проникновенно написала.

Ольга Форш впервые услышала грузинские народные песни и звуки саза, прониклась своеобразием городского фольклора, запечатленного в неповторимой книге Гришашвили «Богема старого Тбилиси». Свою признательность автору этой книги она выразила в надписи на подаренном ему романе «Одеты камнем»:

«Замечательному поэту Сосо Гришашвили на память о прекрасном дне, когда «старый Тифлис» взял в руки сази, чтобы в лицах иллюстрировать его книгу, а сам он, поэт, стал внезапным... огнепоклонником. И на память об Ольге Форш. 1933. Ноябрь».

Иосиф Гришашвили явился для Ольги Форш именно чародеем — кудесником из народных сказок, оживившим образы ушедшего и уходящего старого Тбилиси.

Приехавшие в Грузию писатели с первых же дней своей бригадной работы стали частыми посетителями редакции закавказской литературной газеты «На рубеже Востока». Газета эта тогда еще только рождалась — первый номер вышел 15 ноября. В передовой статье «Подготовка к съезду писателей и наши задачи» говорилось: «Наша газета призвана стать трибуной обмена опытом и связующим звеном литературы и искусства народов Закавказья с литературой и искусством всего Советского Союза». Такую именно функцию она приобрела с самого

начала. Мне, работавшему тогда редактором в издательстве и ответственным секретарем редакции литературной газеты, приходилось повседневно общаться со всеми членами бригады. Редакцией «На рубеже Востока» заведовал Борис Иванович Корнеев — журналист и переводчик художественной прозы. С Ольгой Форш у него нашлись общие знакомые и близкие обоим темы. Помнится, Борис Иванович рассказывал Ольге Дмитриевне об университетских годах, проведенных в Петрограде, о Михаиле Кольцове, с которым он сотрудничал в студенческом журнале...

По традиции, установившейся в доме Корнеевых, гости оставляли памятные записи в альбоме. Есть там и запись Ольги Форш:

«Собираюсь так много писать про Тифлис, что несколько слов, притом альбомных, мне труднее всего.

Радуюсь горам, его стерегущим, Солнцу — Мзе и серой бурной Куре. Охваченная сентиментализмом почти колыбельных воспоминаний (с 8 лет обучалась в дневном французском пансионе m-me Серпинэ, какой продуктовый магазин на его месте — не знаю), стала охотиться в уцелевших «темных рядах» за чучхелой, кэвой и гозинаками, — о том, что постигло охотника, каковы были искомые продукты и приключения, ими вызванные, см. № 1, 2, 3 «Звезды» 1934 года.

Ольга Форш».

Видимо, не все задуманное в те дни Ольге Дмитриевне удалось осуществить — только во втором номере «Звезды» появился ее очерк о писательницах Грузии.

Ольга Форш подарила Корнееву свой портрет — фотоснимок с рисунка художника В. Кроткова. В редакции «На рубеже Востока» Кротков зарисовал в свой альбом Форш, Пастернака, Павленко. На снимке, подаренном Корнееву, надпись: «Борису Ивановичу Корнееву. Милому умному человеку. От О. Форш на память».

Рисунки Кроткова понравились Ольге Дмитриевне, она высказалась о них чисто профессионально — ведь сама художница. Мнение Форш о Кроткове разделял и Б. Пастернак. Он писал мне позже: «Тов. Кротков настоящий рисовальщик и, за вычетом одного отца, сделал меня лучше многих прочих». Недоволен был Борис Леонидович другим обстоятельством: появлением его портре-

та в газете. «Номер, конечно, — писал он, — огорчителен другим — изображением гениев... Всегда неприятен бывает этот дух «государственного события», смотрите, мол, несчастные, — приехали! Борис Леонидович вообще избегал помпезности, шумихи и славословия, но это вовсе не значит, что слова его могли выражать недооценку большого общественного и культурного значения бригадной работы по подготовке к съезду писателей. Наоборот, он всегда подчеркивал это значение. Ольга Форш, как и остальные члены бригады, с самого начала избрала деловой стиль работы, была очень скромна в своих требованиях, непосредственна и отзывчива.

Павленко был чем-то озабочен и даже суетлив, потому что ему, как руководителю бригады, приходилось решать организационные вопросы и часто представительствовать от имени своих товарищей. К Ольге Дмитриевне он относился особенно внимательно и нежно. Мне казалось, что он учится у нее искусству собирания и отбора творческого материала, — ведь она буквально была поглощена изучением характерных особенностей города, экспонатов музеев и выставок, а главное — интересными встречами с людьми и проявляла в свои шестьдесят лет редкую неутомимость и настойчивость. Петр Андреевич опасался возобладания материала над художником и говорил, что художник должен уметь подчинять себе материал. Как раз это он подмечал в работе Ольги Дмитриевны и восхищался ею. Борис Пастернак, уже однажды гостивший в Тбилиси и имевший немало друзей, находился в состоянии какой-то растерянности от наплыва новых впечатлений и проявлений к нему добрых чувств. Николай Тихонов, уже усыновленный Грузией, как будто намечал новые маршруты своих будущих странствий по республике. В. Гольцев в те дни внешне не проявлял особой активности, но зато позже развил бурную деятельность по освоению целины грузинской литературы.

Перед отъездом П. Павленко подарил мне свою книгу с такой надписью: «...Накануне отъезда от Тифлиса после Сумасшедшего корабля бригадной работы». Он использовал название самой удивительной книги Ольги Форш — «Сумасшедший корабль» — без малейшего оттенка шутливости. В этом я убедился после короткого разговора с Петром Андреевичем. Он говорил о силе со-

дружества писателей и добавил, что само присутствие Форш, ее работа здесь в контакте с остальными возвращают его к не так давно прочитанным страницам этой замечательной книги. Многие, наверное, помнят, что критика не разобралась, не поняла книгу «Сумасшедший корабль», и поэтому мне особенно дорого было мнение, что это книга о подвиге содружества, из которого прорастали побеги будущей нашей литературы.

Первого декабря 1933 года все три бригады по связи с литературами народов Закавказья выступили с открытым письмом к писателям Грузии, Армении и Азербайджана. В этом письме, под которым стоит и подпись Ольги Форш, говорилось, что «крепчайшая идейно-творческая связь, взаимное изучение и обмен опытом не случайно стали основными вопросами повестки дня будущего съезда». И далее, «что никогда еще эта связь не носила такого широкого и вместе с тем необычайно конкретного, практического характера, как в эти дни». Это верно. Но была еще другая примечательная сторона в работе бригады. Каждый участник ее на долгие годы связал себя творческими интересами с Грузией, обрел крепкую дружбу с ее людьми и более того — пробудил живой интерес к Грузии у молодого поколения русских писателей.

Возвращаясь в Ленинград, Ольга Дмитриевна везла с собой рукопись законченного очерка, много записей, среди которых то и дело мелькал рисунок... С этой живописной манерой писательницы и художницы, мне кажется, связан в какой-то степени ее интерес к Нико Пиросмани. Это подтверждают и строки Николая Семеновича Тихонова, писавшего мне из Ленинграда позже, весной 1936 года: «Ольга Дмитриевна Форш хочет писать маленькую пьеску, где будут участвовать Важа Пшавела и Пиросманишвили. Было бы замечательно, если бы Вы прислали ей все, что можете найти о Пшавела, так как она абсолютно о нем ничего не знает. Что знает, вернее знает с моих слов, — недостаточно. Пришлите, утешьте старушку. Она умница и хорошая. Написала великолепного Пугачева».

Помнится, послал я тогда Ольге Дмитриевне номер газеты «На рубеже Востока» с рассказом Важа Пшавела и его автобиографическими воспоминаниями. Были посланы и статьи о нем, хотя литература с Важа Пшавела на русском языке в те годы была еще невелика. В от-

крытке, посланной 19 января 1934 года, Ольга Дмитриевна писала:

«Благодарю за присылку «Рубежа». Надеюсь получить от Вас еще с моей статьей о грузинских писательницах. Или раздумали печатать? Сообщаю Вам, что статья Ваша о Бальзаке принята в «Звезду», и, как только выйдет (в след. №), Вам ее пришлют. Мы с Тихоновым на заседании (как ее читавшие) заявили о ее достоинствах. Может быть, Вас эта удача вдохновит окончить книгу Вашу о Бальзаке? Я только что вернулась с похорон А. Белого и пишу о нем. Шлю привет Борису Ивановичу и Вам.

О. Форш».

Здесь нужны пояснения. Свой очерк Ольга Дмитриевна предназначила для журнала «Звезда». Копию мы просили оставить для газеты, надеясь напечатать его одновременно с выходом журнала, но пока очерк редакционно рассматривался, второй номер «Звезды» уже вышел в свет. И сама Ольга Дмитриевна больше не возвращалась к вопросу о помещении его в газете.

В том же номере «Звезды» была напечатана моя статья о поездке Бальзака в Россию, написанная в основном по неопубликованным материалам. С этой статьей сначала ознакомился Павленко. Он писал мне: «... Она интересна, у меня большое искушение напечатать в «30 днях», но, м.б., я устрою ее в другом, более серьезном (в академ. смысле) журнале». Он-то и передал статью Ольге Дмитриевне как члену редакционной коллегии «Звезды». Н. С. Тихонов был тогда заместителем редактора журнала.

В следующем письме, посланном 24 марта 1934 года, Ольга Дмитриевна сообщала:

«Ваша статья напечатана и вышла в № 2 «Звезды». Он у меня для Вас имеется... Там имеется и моя статья о писательницах Грузии. Высылайте еще, что у Вас есть о Бальзаке или о ком-либо ином. Можно будет напечатать в «Звезде» и в «Литер. Ленинграде». Моя книга «Ворон» (Гоголю), вместо прежнего наименования «Символисты», выходит на днях в ГИХЛе. Ее тоже вышлю на Ваш адрес. Сообщите мне, пожалуйста, адреса:

1) Джавахишвили (имя и отчество).
2) Эльснера.
3) Мицишвили (имя и отчество).
4) Гаприндашвили.

В Тифлисе буду летом непременно, а пока шлю привет Вам и Борису Ивановичу.

Ольга Форш».

Я остановился на вопросе о моей статье, чтобы показать, как отзывчива и внимательна была Ольга Дмитриевна, даже если непосредственно к ней не обращались, но она могла чем-либо помочь.

В апреле 1934 года П. Павленко выступил в газете «На рубеже Востока» с подробной информацией о работе бригады по связи с литературой Грузии, сообщил, что она пополнилась А. Фадеевым, Л. Леоновым, С. Спасским, рассказал, какие произведения грузинских писателей включены в планы издательств.

Наконец настал день открытия съезда. Мне довелось быть на этом съезде с корреспондентским билетом и вновь встретиться со всеми членами бригады, приезжавшей в Тбилиси. На съезде разговор шел о дружбе. Даже когда это слово не произносилось — оно присутствовало во всем, им дышало все вокруг. Дружба проявлялась в речах и докладах, в словах приветствий, в рукопожатиях и даже безмолвных взглядах на расстоянии, как это удачно заметил Борис Пастернак, сидевший в президиуме: «Мы обменивались взглядами и слезами растроганности, объяснялись знаками и перекидывались цветами».

Вот поднимается на трибуну Тициан Табидзе и с приподнятой торжественностью благодарит членов бригады, гостившей в Грузии, за то, что она «значительно поработала». А вот Ольга Форш слушает речи и, удобно примостив делегатский блокнот, рисует портреты своих грузинских друзей. Борис Пастернак в минуты перерыва подходит к Иосифу Гришашвили и в присутствии Ольги Форш дарит ему свою книгу с надписью: «Настоящему большому поэту и милому человеку Гришашвили»... Но всего не выскажешь ни в краткой речи, ни в дружеской зарисовке, ни в дарственной надписи на книге, ни просто крепким рукопожатием. Большой разговор писателей и большая взаимная их дружба завязались на долгие годы труда и испытаний.

Мариджан (М. Алексидзе)

ВСТРЕЧИ, КОТОРЫЕ НЕ ЗАБЫВАЮТСЯ

*

Тридцать пять лет! Тридцать пять... Прошло столько времени после нашей первой встречи с Ольгой Форш в Тбилиси, но память сохранила все до мельчайшей подробности.

Тихий ноябрьский теплый день. Липы покрылись янтарным цветом и постепенно меняли свой летний наряд.

Сидела я у окна, перебирала газеты, и вдруг телефонный звонок из Союза писателей. Звонит писательница Мария Гарикули: спрашивает обо мне.

— В чем дело? Почему такой взволнованный голос?

— Послушай, приехала из Ленинграда известная писательница Ольга Форш. Я здесь оказалась случайно. Малакия Торошелидзе просит оказать ей должное внимание, познакомить с городом, нашей литературой, понятно? Приходи скорее... Я буду звонить и другим.

Одеваюсь наспех. Благо от меня не так далеко Союз писателей. Через 10 минут являюсь. Ольга Дмитриевна сидела в салоне в глубоком кресле, в шелковом костю-

ме, в белой блузке, нарядная и приветливая. При моем появлении она быстро подняла голову, ласково посмотрела. Глаза большие, черные-черные, с особенным блеском. Такие лица бывают у южанок. Я тогда не знала еще биографии Ольги Дмитриевны, не знала, что мать ее была армянка, а по фамилии предполагала французское происхождение.

— Вот наша Мариджан, поэтесса, — кратко представила меня Мария Гарикули и снова пошла звонить нашим коллегам.

Первым моим вопросом был, конечно, где и как устроились, в какой гостинице.

— Я не люблю жить в гостинице, живу у знакомых старушек, спокойно, тихо, недалеко от оперы.

Ольга Дмитриевна поправила свои чудесные белые волосы, волнистые, коротко постриженные, и кокетливо кинула взгляд в зеркало.

«Так вот кто автор романа «Одеты камнем», — мелькнула мысль, и я в душе радовалась, что хоть с одним произведением знакома и не буду как пень стоять перед автором. С остальными книгами я познакомилась позднее, после съезда писателей. Я пододвинула кресло и села напротив Ольги Дмитриевны. Она наблюдала за мной, а я изучала ее.

Ольга Дмитриевна была в хорошем настроении, говорила о любимом юге, о солнце, жаловалась на больные ноги, что не может много ходить, как раньше, и восторгалась тбилисскими серными источниками, говорила, что хочет воспользоваться пребыванием в городе, походить в бани и полечиться.

Разговор постепенно перешел на литературу, а именно на творчество грузинских писательниц.

Когда я перечислила имена своих коллег, Ольга Дмитриевна даже удивилась, что так много.

Я засмеялась и успокоила ее тем, что мы не сразу будем ее знакомить, а постепенно, приглашая на беседу или интересные прогулки, даже на вкусный чай и грузинский обед. . .

Ольга Дмитриевна улыбалась, и лицо ее от этого становилось мягче, светлее и добрее.

Мы решили начать знакомство со старшего поколения, с Екатерины Габашвили и с Анастасии Эристави-Хоштария. Я предложила Ольге Дмитриевне предвари-

тельно почитать кое-что по книге моего крестного отца Александра Хаханашвили «История грузинской словесности». В дореволюционное время он читал лекции в Москве в Лазаревском институте. Из современниц в этой книге можно встретить самых старших представительниц.

Воспользовавшись этим, я предложила Ольге Дмитриевне и Марии Гарикули пойти ко мне домой, тем более что это недалеко.

Ольга Дмитриевна оказалась сговорчивой и очень компанейской, если можно так выразиться. Пошли. Дорогой Ольга Дмитриевна стала меня расспрашивать, кто у меня в семье. Тогда мои старшие дети учились в Москве, сын Дмитрий в театральном институте и дочь Ирина в хореографическом училище; дома оставалась младшая дочь Нелли, двенадцати лет, с которой у Ольги Дмитриевны быстро, с первого раза установились дружеские отношения.

Конечно, в этот день Ольга Дмитриевна ничего не прочла; как могла она одолеть двухтомное издание, да и не входило это в ее планы. Она интересовалась только современной литературой. Как только пришел мой муж Александр Дмитриевич, мы стали обедать.

В приемной уже собирались его пациентки, он, наскоро пообедав, пошел в кабинет принимать больных, а мы решили отложить литературные дела и пойти в оперу. Не помню только, что мы слушали — «Даиси» или «Абессалом и Этери».

Ольга Дмитриевна немного устала. День оказался перегруженным. Мы проводили ее до дому.

Как она на нас сердилась!

— Вот выдумали, еще что — провожать, — кто меня похитит!

Но мы все же довели ее до дому — ссылаясь на то, что хотим зреть, где ее «резиденция».

— Это другое дело! — смягчилась наша Ольга Дмитриевна.

После этого не было дня, чтоб мы не встречались — или в Союзе писателей, или у меня.

Иногда я, Гарикули, писательница Цквити приходили к ней и приводили кого-нибудь из писательниц для «собеседования».

Так, после личного знакомства с нашими коллегами, родилась статья Ольги Форш «Писательницы Грузии», которая была напечатана уже в 1934 году в журнале «Звезда», № 2.

Здесь очень краткий обзор произведений наших писательниц, начиная с Екатерины Габашвили и кончая молодой, тогда начинающей талантливой поэтессой Ниной Таришвили.

Всех имен шестнадцать... Конечно, очень трудно за тот короткий срок, который Ольга Форш провела у нас в Грузии, написать что-нибудь объемное. Ольга Дмитриевна писала: «Заканчивая этот первый, очень неполный и, вследствие отсутствия переводов, «глухонемой» обзор литературы писательниц Грузии, надеюсь хоть немного исправить ошибку, которую делают современные «Очерки литературы Закавказья», где ни одним словом не упоминается о том, что кроме словесного творчества мужчин существует и творчество женщин». Теперь из этого списка в шестнадцать писательниц в живых остались двое: я и Бабилина, а Нина Таришвили сменила поэзию на лекции в университете.

Ольга Дмитриевна приобрела в Тбилиси массу друзей. Особенно ей импонировал писатель и драматург Шалва Дадиани своим рыцарским обхождением, княжескими утонченными манерами. Она бывала в доме поэта Георгия Леонидзе, восхищалась его красивой женой и девочками, носящими имена героинь Шота Руставели — Нестан и Тинатин, дружески относилась к поэту-лирику Сосо Гришашвили, бывала в семье Бесо Жгенти, сблизилась с семьей Тициана Табидзе, нравилась ей внешность Паоло Яшвили. В издательстве она познакомилась с нашим большим прозаиком Константином Гамсахурдия. Правда, они тогда мало говорили между собой, но она запомнила его характерное лицо и часто спрашивала о его творчестве. Конечно, как прозаик, она больше интересовалась прозаиками.

Незаметно пролетел ноябрь и подкрался декабрь с похолоданием и дождями. Ольга Дмитриевна уже приходила к нам с ночевкой. Это были чудесные вечера. Она умела очень живо, красочно рассказывать, вспоминала свои заграничные поездки, встречи с Алексеем Максимовичем, который уже в это время возглавлял Союз писа-

телей СССР, — шла горячая подготовка к предстоящему Всесоюзному съезду писателей.

Мы все уже заранее волновались, кому посчастливится попасть на этот интересный съезд.

«16 ноября прибыла в Тифлис бригада оргкомитета Союза писателей СССР в составе тт. В. Кирпотина, Н. Тихонова, П. Павленко, Б. Пастернака, Л. Никулина, В. Каверина, В. Гольцева, А. Зуева, М. Юрина, А. Гатова и М. Колосова. На вокзале прибывшие были встречены представителями Союза советских писателей Грузии, редакцией, работниками искусств и другими», — писала газета «На рубеже Востока», № 2 от 1 декабря 1933 года.

В этом же номере помещен портрет Ольги Дмитриевны и статья «Беседы с Ольгой Форш». Привожу ее целиком.

«Писательница Ольга Форш в беседе о своей работе отметила, что задания Оргкомитета ССП СССР совпадают с двумя начатыми ею литературными трудами. Современному читателю мало известно о грузинских писательницах. «Я работаю над этой темой. От эпохи писательницы Габашвили до наших дней — ряд творческих портретов и характеристик.

Эта работа не замыкается на материале литературной среды. Обширный историко-революционный и бытовой материал, впечатления от выставки рукоделий, музеев и т. д. послужат развитию и оформлению темы и раскроют перед читателями социально-бытовой облик дореволюционной грузинской женщины».

Вторая книга, над которой работает Ольга Форш, — роман, строящийся на общественно-историческом материале старого Тифлиса от убийства Грязнова, от эпохи первой революции до 1909 года... Глухие годы реакции. Роман отобразит на широком материале все на время сдавленные реакцией, но действенные и движущие силы революции. В общем плане романа вырисовываются портреты Арсена Джорджиашвили, Камо, Пиросманишвили, революционеров, писателей, художников.

Роман, хронологически как бы прерываясь на 1909 годе, в то же время приведет писателя к теоретической и практической обусловленности этой революции.

Этот роман как художественно цельное произведение будет лишь первой частью большой задуманной автором работы. Так как литературному творчеству Ольги Форш

предшествовало занятие живописью — у нее оставался живописный подход к литературному материалу. Она записывает в альбом характерные черты музейного материала и т. п., и эти рисунки как бы заменяют записи и составляют графически выраженный план работы. Возможно, эти зарисовки будут заключены автором в текст издания».

Из намеченного обширного плана работ Ольга Дмитриевна осуществила пьесу «Камо», но об этом подробнее поговорим дальше.

18 ноября одна из замечательных дат в жизни грузинского народа. Метехи — крепость-темницу — передали Наркомпросу Грузии, над входом был протянут большой плакат:

«Метехи больше не тюрьма. Отныне он музей искусств».

Кого только можно было встретить в этот день во дворе тюрьмы! Членов правительства, старых большевиков, некогда сидевших в этих стенах, писателей, работников искусств, журналистов.

Все наши гости, приехавшие из Ленинграда и Москвы, наши писатели ходили даже по камерам, осматривали тесные коридоры и переходы; Ольга Дмитриевна и я оставались сидеть во дворе. Поэт Гришашвили подвел к Форш ашуга, представителя старого Тбилиси, Иэтима Гурджи. Ольга Дмитриевна с ним перекинулась несколькими словами, и в результате ашуг Иэтим Гурджи попал в ту же статью — «Писательницы Грузии». Теперь, когда я пишу эти строки, никакого музея там нет. Видимо, это здание, сколько его ни ломали, переделывали, перестраивали, не было приспособлено для музея. Все здание до основания снято, все разобрали и очистили, и на голубом небесном фоне величаво стоит только один храм и против него монумент основателя города Тбилиси Вахтанга Горгасали работы скульптора Элгуджи Амашукели.

Вернемся в 1934 год — к приезду русских писателей. Ольга Дмитриевна заранее рассказала о поэте Николае Тихонове и о Петре Павленко. Я просила ее познакомить меня с ними в домашней обстановке. Она запросто привела обоих к нам через несколько дней после их приезда. Тихонов был в чудесном настроении, он очень оригинально, притоптывая, читал свои стихи; и Петр Андреевич

был в ударе, рассказывал о каких-то фантастических своих похождениях, о встречах с нашими поэтами, а когда узнал, что мои дети живут в Москве, сказал:

— Вот интересно, теперь, надеюсь, мы будем встречаться не только в Тбилиси, но и в Москве.

22 и 23 ноября бригады разъехались по местам своего назначения — армянская в Ереван, а азербайджанская в Баку, грузинская осталась в Тбилиси.

Чтоб познакомить Екатерину Габашвили с русскими писателями, Цквити устроила у себя прием. Пригласила всех во главе с Ольгою Дмитриевной. Почему-то вечер оказался скучноватым. Цквити даже расстроилась немного, но Ольга Дмитриевна по-своему нашла слова утешения и даже упросила ее спеть под аккомпанемент цитры, что у нее получилось блестяще. Вообще наши гости утомились от всех встреч, приемов, тостов и речей. И даже было хорошо, что здесь они немного отдохнули.

Кончился ноябрь. В декабре поговаривали уже об отъезде. Я собиралась к Новому году в Москву, но Ольга Дмитриевна уговорила ехать с ними за компанию. Мои домочадцы даже обрадовались, что проведу несколько дней в дороге с друзьями, а не с посторонними людьми.

Мы с Ольгой Дмитриевной взяли билеты в двухместном купе международного вагона, а мужчины ехали в четырехместном. Но они сидели большею частью в нашем купе, только курить им не разрешалось.

Однажды утром, когда подъезжали к Воронежу, на Тихонова напало творческое настроение, он явился вместе с Павленко к нам и, смеясь, предложил:

— Давайте писать стихи!

— Для кого? Почему? Тема? — сразу зажглась Ольга Дмитриевна, и началось коллективное творчество.

Николай Семенович, вооружившись пером, подсел к столу, достал бумагу из записной книжки и призадумался.

— Пишем посвящение Гогла Леонидзе.

Поэт Леонидзе пользовался большой симпатией русских писателей, он нравился широтой натуры, размахом, лиризмом. Его семьей, девочками они искренне восхищались.

Тихонов быстро написал заголовок: «Ода в зимнее время года». Дорогому Гогла Леонидзе.

Вот эта ода.

Отец музея и «барсят», [1]
О Леонидзе Гогла гордый,
О летнем отдыхе прося,
Отраду дружества неся,
Поставил творчества рекорды.
Вообрази, твоя гора
Мтацминда древнего монаха.
Представит нам Союз без страха
Грузино-русского пера,
Грузино-русского размаха.
Подумай, где лежит Илья,
Акакий, Саша Грибоедов,
Там, меда славы их отведав,
Никто не скажет: «ты — иль я»,
Но будем мы — одна семья
Мтацминдой принятых поэтов.
Хоть пили не вино, а воду,
Слагали коллективно оду.

11/XII—1933

Вагон.
Проехали Воронеж.
Переехали Дон.

Дальше шли подписи: П. Павленко, О. Форш, Н. Тихонов.

Я не хотела подписываться, но Тихонов заставил меня, и я сделала автограф по-грузински: Мариджан.

После каждой удачной строки Тихонов хохотал по-ребячески, от души, полный молодости, П. Павленко усиленно моргал глазами и улыбался, а Ольга Дмитриевна заливалась таким искренним смехом, что из соседнего купе стучали и спрашивали, почему нам так весело.

Даже через год после съезда, даря мне книгу «Ворон», Ольга Форш делает такую надпись:

«Дорогому другу Мар-Мариджан на память о жизни в Тифлисе, в вагоне, в Москве и надеждой в Цагвери.

Было весело и душевно. Благодарю Вас, М—н! *1934/I—IX*».

Именно в вагоне «было весело и душевно».

---

[1] «Барсятами» Ольга Дмитриевна называла дочерей Леонидзе.

Анекдоты, воспоминания, новеллы, стихи сыпались как из рога изобилия! Ольга была ласкова и расточительна. Всю дорогу она мечтала еще раз приехать в Грузию.

С материнской нежностью она называла Павленко — Павочкой, Тихонова — Коленькой, меня — Мариджанчик, Марочкой!

А Павленко просто изощрялся, придумывая для меня новые имена: Мариджаночка, Марджанет и даже Мариджаниссимо! И все это носило какой-то ребяческий характер.

Как же я была удивлена, когда в 1967 году в пятом номере «Литературной Грузии» увидела это стихотворение не только напечатанным, но даже с рядом помещенным фотоснимком.

Как оно попало в печать? Кто принес — так и не смогла узнать.

В Москве мы расстались.

Ольга Дмитриевна и Тихонов поехали в Ленинград, а я и Павленко остались в Москве. Если бы не радость встречи с моими детьми, мне было бы очень тоскливо без Ольги Форш, с которой мы все это время были неразлучны. Ольга Форш пишет в романе «Современники»: «Есть отношения каждого дня и есть отношения внезапные, без наличности пресловутого «пуда соли» и долгого времени познать друг друга, но глубочайшие. Бывает, на полустанке войдет человек в вагон, где другой уже обселся, и обывательским, враждебным оком встретит соседа. Но проговорят ночь и примут друг друга уже навсегда через годы, службу, семью. И даже в тот смертный час, когда производит каждый в своей жизни подбор, гляди, полновесным зерном лежит в сердце та встреча. В таких встречах люди не прячутся и не лгут».

Наша встреча была не дорожная, не в пути, а на родной грузинской древней земле, которая умеет ценить друзей и помнит добро, и именно «полновесным зерном» лежит в сердце эта незабываемая встреча.

Наступил долгожданный 1934 год. В мае месяце съезд не состоялся. Переложили на август. Наша семья поехала к себе в Цагвери — дачное место недалеко от Боржоми. В августе получаю телеграмму из Тбилиси: «Немедленно приезжайте. Выбрана делегатом съезда».

В тот же вечер выехала в Тбилиси. Грузинская деле-

гация была представлена в составе двадцати семи человек, из них я была единственная женщина. Товарищи вышучивали меня — «Двадцать шесть и одна».

В Москве нас поместили в гостинице «Восток». В Союзе писателей мы должны были регистрироваться, получить мандаты, пропуска, талоны. И тут я встретилась с Ольгой Дмитриевной. Узнав, где я нахожусь, она моментально устроила меня в свой номер.

Заседания съезда происходили в Колонном зале, и мы прямо поехали туда. Когда мы подымались по лестнице, нас обогнали двое, и один из них, смеясь, обратился к Ольге Дмитриевне:

— Вы не чувствуете, Ольга Дмитриевна, что уже пахнет нацменами?

Ольга Дмитриевна вспыхнула и, чтоб пресечь нетактичный разговор, представила им меня:

— Познакомьтесь, грузинская поэтесса Мариджан.

Легко представить себе положение этого молодчика; другой, чтобы сгладить смущение, спросил меня:

— Милая горянка, ну как вам нравится наше электричество?

— Вы меня можете поразить только художественным словом, но не электричеством, — ответила я резко. На этом наше знакомство закончилось.

Когда я спросила Ольгу Дмитриевну, кто они такие, она коротко ответила:

— Идиоты. . .

Она уже не сердилась на них. Опять появилась улыбка на лице, мы поспешили в зал, чтоб занять места поближе. Съезд открыл Алексей Максимович. Были доклады очень интересные, были и скучные, в зависимости от того, кто как умел говорить. И так, сидя рядышком в продолжение нескольких дней, мы, по выражению Ольги Дмитриевны, «поумнели на целую голову». Какие только доклады мы добросовестно не выслушали! Доклад Максима Горького. Литература Украины. Литература Белоруссии. О грузинской литературе. Литературы Советской Армении, Узбекистана, Туркмении. О татарской художественной литературе. Доклад Н. Тихонова о ленинградских поэтах. Особенно у меня остался в памяти доклад С. Маршака «О большой литературе для маленьких». У меня даже сохранилась заметка, что он читал полтора часа, от 11 до 12 ч. 30 мин. Почему-то о советской дра-

матургии было четыре доклада: Алексея Толстого — «О драматургии», В. Кирпотина — «Советская драматургия», Николая Погодина — «О драматургии», В. Киршона — «За социалистический реализм в драматургии». Видимо, вопросы советской драматургии тогда требовали особого внимания. В. Ставский говорил о литературной молодежи нашей страны.

К. Горбунов уделил внимание работе издательств с начинающими писателями. Кроме всего этого, два обширных доклада:

1. Поэзия, поэтика и задачи поэтического творчества в СССР.

2. Доклад Первому съезду советских писателей о современной мировой литературе и задачах пролетарского искусства.

Меня поражала энергия и бодрость Ольги Дмитриевны. Ни разу не жаловалась она на усталость, на скуку, была всегда собранная, всегда внимательная. В ней часто просыпалась художница, и в своем делегатском блокноте она делала очень живые зарисовки карандашом. Эти рисунки недавно я видела в книге А. Тамарченко «Ольга Форш» — карандашные портреты К. Федина, Т. Табидзе, Бесо Жгенти и даже мой, ближайшей натурщицы.

Съезд закончился блестящим банкетом. С Ольгой Дмитриевной мы расстались очень трогательно. Она уезжала раньше меня в Ленинград, а грузины выехали только на следующий день.

Ольга Дмитриевна сдержала свое слово: приехала к нам к концу весны 1935 года. Было уже жарко. У нее продолжалась дружба с моею младшей дочерью Нелли, которую она ласково назвала Бирючок. Не было дня, чтобы они вдвоем не совершали прогулки, то в ботанический сад, то на фуникулер, то по Коджорской на Комсомольскую аллею, даже в Муштаид.

Конечно, для подростка такое общество было большой радостью. Ольга Дмитриевна умела для всякого возраста найти свой язык, вызвать интерес к себе. Она увлекала всех. На этот раз Ольга Дмитриевна приехала с пьесой «Камо». Еще осенью 1933 года она познакомилась с сестрой Камо Джаваирой, которая, должно быть, многое сообщила автору о жизни брата.

По просьбе Ольги Дмитриевны мы устроили читку

пьесы на нашей квартире. Я пригласила писателей, а из театра Руставели были А. А. Хорава и А. А. Васадзе. Ольга Дмитриевна очень выразительно читала пьесу. Все ее внимательно слушали, а потом обсуждали, и наши опытные артисты давали ей очень дельные советы: что изменить, что дополнить. Ольга Дмитриевна осталась довольна.

Скоро мы поехали в Цагвери. Ей очень нравилось это место. Особенно красочны там закаты, чудится что-то библейское, когда лучи прорезывают облака; все это очень трудно описать, еще труднее воспроизвести даже кистью талантливого художника. Утренние часы после завтрака Ольга Дмитриевна проводила за письменным столом: работала над пьесой «Камо». Обидно, что эта пьеса почему-то не дошла до театральных площадок, хотя театров, желающих ее поставить, было очень много. У меня сохранились два отношения Московского Художественного театра — первое датировано 27 марта 1936 года:

«Многоуважаемая Ольга Дмитриевна!

Дирекция МХАТ Союза ССР им. Горького, занимаясь в настоящее время составлением репертуарного плана театра на ближайшие годы, просит Вас не отказать сообщить нам, в какой стадии находится сейчас Ваша работа над «Камо», чрезвычайно нас интересующая.

Директор МХАТ Союза ССР имени Горького

М. П. Аркадьев».

Второе — от 9 апреля 1936 года:

«Многоуважаемая Ольга Дмитриевна!

Ваше письмо от 3 апреля М. П. Аркадьевым получено. Мы очень просим Вас, как только Ваша пьеса будет закончена, прислать для ознакомления экземпляр в Художественный театр.

Уважающий Вас консультант дирекции МХАТ
по репертуарным вопросам
В. Е. Рафалович».

В одном из писем 1936 года Ольга Дмитриевна сообщает мне:

«В Москве прожила, но в тщетных ожиданиях. Ответ от реперткома может быть только через две недели, когда пьесу просмотрят вверху. Надо было мне послушаться совета грузинских актеров. Все равно пришло к тому же, но с опозданием.

Все теперь требуют пьесу, а дать нельзя. Этот сезон сорван.

Итак, перехожу к новым работам...»

Очень было обидно, что такой упорный труд ничего не принес Ольге Дмитриевне.

Ольга Дмитриевна очень любила природу и особенно горы. 10 декабря 1935 года она мне пишет:

«Мне до слез хочется в горы, родные горы. Мне лично это самое дорогое и нужное, а оттого, что все отодвигалось осуществление, — то просто детская тоска.

Как бывало в институте, сядешь перед картой с Кавказским хребтом, налепишь мякиша черного хлеба на Эльбрус и ревешь. Так хотелось на Кавказ. Вот и сейчас — так хочется, как никогда. И кажется, что не попаду. Зовите меня, Мариджан. У меня холецистит, мне надо:

1. Диету.
2. Боржом.
3. Ванны.
4. Фрукты.

На кой черт санаторий.

Вот разве что у Вас так всегда вкусно, что трудно не объесться. Насяду на фрукты. Больше никакого лечения мне и не надо.

И нужны: гора, тишина, голубое небо и солнце, его нет».

Только в сентябре 1936 года удалось Ольге Дмитриевне реализовать свое стремление приехать в Цагвери.

26 августа 1936 года Ольга Дмитриевна писала: «Дорогая Мариджан! Наконец могу написать решительно о своем приезде, когда выяснились дела Димы. Он получит отпуск первого сентября на полтора месяца, и мы с ним поедем в Боржоми. Значит, опять увидимся, чему очень, очень радуюсь... Ноги так болят, что, очевидно, надо скорее очиститься от подагрических солей и отбыть боржомское лечение... Прошу Вас передать Татуше Жва-

ния, что я ей выслала «Одеты камнем» и прошу меня считать в числе пациентов с 8—10 сентября».

На этот раз Ольга Дмитриевна приехала с дочерью Тамарой. У Ольги Дмитриевны уже были друзья из животного мира. Во-первых, немецкая овчарка Малюта, которая при первом появлении ее сразу же узнала и очень ласково встретилась с Тамарой Борисовной. Потом ослик Бурико, которого Ольга Дмитриевна баловала сахаром и конфетами.

На этот раз компания у нас была большая. Все члены семьи были в сборе, а Александр Дмитриевич приезжал по субботам.

Опять начались восхождения на гору. Ольга Дмитриевна это делала с необычайным удовольствием. Ее сопровождал верный Малюта. Улыбаясь, она говорила нам: «Когда я поднимаюсь на эту гору, я себя чувствую ближе к богу».

В первых числах сентября приехал и сын Ольги Дмитриевны Дима. Вся семья восхищалась нашей горой, закатами, лесом и минеральной цагверской железистой, от природы газированной водой. Хождение на источник за водой было возложено на молодых. Врач Татуша Жвания случайно сама приехала к нам. Они договорились, где и как будет лечение. Комната тоже была обеспечена, и с 10 сентября семья Форш начала лечение. Результаты были положительные. И Ольга Дмитриевна приступила к работе.

В январе 1937 года Ольга Дмитриевна в письме сообщала: «Перехожу к третьей части «Радищева», которая зовется «Пагубная книга». Очень счастлива буду, если все три книги будут на пользу читателям, как Вы о том красноречиво (и прекрасно по формулировке) мне написали, мой дорогой горный и верный друг. Мне так хочется, чтобы Вы приехали ко мне. Едва ли я смогу, как прошлый год, приехать к Вам».

Я стала в тот год бабушкой. Новые радости и новые волнения. У Ольги Дмитриевны тоже радость: родилась внучка, Ольга Дмитриевна № 2. Все предполагаемые встречи были отменены. Оставалась переписка.

Наступил 1939 год. Он был чреват литературными событиями. 28 марта 1939 года Ольга Дмитриевна пишет мне из Москвы:

«Как мне было обидно, увидя Ваших поэтов, полу-

чивших со мною вместе ордена, что Вас не было в их числе. Шалва Дадиани был великолепен в своей серой черкеске, голубоглазый и величественный. Гогла так растолстел, что я сразу его не узнала. А вы, дорогая кудрявая Мариджан с белыми кудрями? Может быть, Вы можете ко мне приехать в Ленинград? Почему бы нет? Засиделись Вы на своем хозяйстве. Приезжайте на белые ночи, а отсюда вместе лечиться, худеть и писать. Давайте напишем вместе пьесу для русско-грузинских театров! Словом, хочу Вас еще увидеть. Выходит мой однотомник «Избранное» и все три части под общим названием «Радищев» (Якобинский заквас, Казанская помещица и Пагубная книга). Я обязательно пришлю Вам и Сосо. Большой ему от меня привет. Я вспоминаю, как он необыкновенно читал свои стихи. Напишу про него в своей «Живописной автобиографии» — последней своей книге, после которой всецело уйду в огород и сад. Сосо шел как-то со своей горы, а я всего только в баню, и он безмолвно дал мне огромный апельсин, это был самый вкусный, который я ела. Пусть не жалеет — он дал его, верно, нечаянно. А я вот помню и дам ему — апельсину бессмертие и долголетие, ибо нарисую его с апельсином. (Книга будет с моими иллюстрациями)».

В том, 1939 году в мае месяце в Киеве справили юбилей Тараса Шевченко — стодвадцатипятилетие со дня рождения. Я была на этих торжествах. Оттуда написала письмо Ольге Дмитриевне. Получаю телеграмму:

«Киев, ул. Карла Маркса, 5, «Континенталь», 23. Марии Алексидзе. Жду. Двенадцатого встречу. Ольга».

Решено. Еду. Со мною вместе ехал в вагоне Михаил Зощенко, который, оказывается, жил в том же доме, где Ольга Форш. Все устраивалось как нельзя лучше. Если меня даже никто не встретит — я буду доставлена в этот дом! Но Ольга Дмитриевна все же вышла на вокзал. Такая, как всегда, — приветливая, задушевная, огромной духовной красоты и очарования.

Ленинградские писатели, которые выходили из вагона по очереди, целовали ее, как будто сто лет не виделись.

Два дня я пробыла на ленинградской квартире, потом мы поездом поехали в Толмачево, где часто отдыхала Ольга Дмитриевна. Мне очень понравилась простая рус-

ская хата, деревянный забор, кругом сосны, как в Цагвери, большой простор. Во дворе грядки, что-то посеяно.

— Грядки сама делала, — хвастает Ольга Дмитриевна. — Люблю так запах земли! Люблю копаться!

Ольга Дмитриевна забавно рассказывает про ребят детского сада, которые часто проходили осенью мимо. Как-то Ольга Дмитриевна работала на огороде. Просовывается через рейки голова мальчугана и говорит.

— «Ба-ба-я-га копает!» — «Ну какая же я баба-яга?! Баба-яга худая и злая, а я толстая и добрая», — и даю мальчику свежую морковку. На другой день — что слышу: целый отряд ребятишек у забора, и в один голос обращаются ко мне: «Толстая, добрая баба-яга! Дай морковки!» Пришлось всех наделить морковью, чтобы не терять репутацию доброй.

У меня сохранились фотоснимки в память пребывания на этой даче. В Толмачеве я прочла очень интересную книгу Блаватской об Индии. Уезжая из Ленинграда, я предупредила Ольгу Дмитриевну, что в Ереване будет юбилей Давида Сасунского и чтоб она не отказывалась от поездки. С этой мыслью мы расстались — в надежде на скорую встречу.

Итак, наша шестая встреча произошла на земле Армении. Мы были свидетелями грандиозного праздника. Чудесная, богатая осень. Со всех концов, из всех республик были приглашены писатели. Приехала Ольга Дмитриевна, и не одна, а с Тамарой. Жили в новой гостинице «Севан». Комфорт. Удобства.

В моем блокноте сохранились короткие записи о нашем пребывании в Ереване: с 14 сентября по 24-е, целая декада. На вокзале торжественная встреча. Вечером в городском саду смотрели олимпиаду. 15 сентября посещение музея, посвященного Давиду Сасунскому. Картины. Раскопки, миниатюры. Вечером заседание в театре. Концерт.

16 сентября. Чудесная поездка на озеро Севан. Такие поездки не забываются. Озеро необычайной красоты. Как душа поэта в непрерывном волнении.

Смотрели два храма IX века.

Вечером открытие пленума. Держу сейчас в руках пригласительный гостевой билет, мой собственный, именной, читаю, и все воскресает в памяти, так ясно слышу

голос А. Фадеева, председателя юбилейного комитета, — он говорит вступительное слово.

24 сентября выехали из Еревана на машинах. Ехали опять вместе: Тамара и Ольга Дмитриевна сидят впереди, а я, А. Фадеев и С. Михалков сзади. Мы прямо подъехали к нашему дому. Все обедали у нас. Сколько было разговоров, делились впечатлениями, восторгались приемом армян, а больше всех была довольна моя Ольга, в которой как-никак, а текла материнская кровь.

25 сентября начался съезд писателей Грузии, который продлился трое суток.

29 сентября опять проводы. Опять разлука на неопределенное время. Переписка с друзьями. Ожидание писем.

Великая Отечественная война. Самые тяжелые годы для всех, годы наибольшего напряжения как физических, так и моральных сил. Жертвы. Голод. Отсутствие света и топлива. Тоска по родным, ушедшим на фронт, отсутствие писем, известий.

Приезжает в Тбилиси П. Павленко в военной шинели. От него узнаю, что Ольга Дмитриевна с семьей находится в Свердловске, что ее еле убедили оставить свой любимый Ленинград. Под впечатлением рассказов Петра Андреевича пишу стихотворение «Старшей сестре» — Ольге Форш, которое вошло в сборник тех военных лет.

СТАРШЕЙ СЕСТРЕ

Ольге Форш

Где же ты, сестра моя старшая?
Ты под чьей теперь кровлею?
Слух дошел о твоем бесстрашии,
Ленинградка ты моя кровная.

Не хотела ты вовсе трогаться
Из того дорогого города,
Где трудилась ты в гордой строгости,
Где душе было вольно, молодо.

Столько светлого вспоминается,
Столько важного было сказано. . .
Мне бессонницей горько маяться:
Ведь навек с тобой дружбой связана.

Любовались мы золотой Невой,
Тихо плачущей перед вечером. . .
Вижу город твой ледяной
Святотатственно изувеченным.

Все священно там для живых сердец...
Стонет, спрашивает бессонница:
«Разве может быть, что фашист-наглец
К дивным памятникам притронется?»

Пусть разбомблены и прострелены
(Пусть возмездие далеко еще),
Но гваренговы и растреллевы
Не получит враг сокровища.

Все мы выдержим, о сестра моя,
Снова встретимся, душу вылечим.
Жизнь прекрасная и упрямая
Расцветет еще. Как же иначе.

1942

(Перевод А. Адалис)

10 января 1942 года Ольга Дмитриевна пишет:

«Милая, всегда дорогая мне Мариджан, шлю самые горячие пожелания вам всем, вашей семье, детям, предкам и внукам!

И особый привет и пожелания здоровья, радости творческой от меня и от Тамары. Я Вам писала с дороги, еще когда мы последним эшелоном ехали долго, долго ведь. Ответа нет, верно не получили. Надеюсь, еще заказным... Только сейчас мы пришли в себя и почти устроились. Были очень больны. Я особенно и сын Тамары. Сейчас мы в комнате, при здешних морозах было 2 градуса тепла, просто впали в спячку. Сейчас оживаем. В комнате 16 метров все пятеро: Тамара, сын ее Вова, я, дедушка (отец Леночки) и Ольга Александровна (мать). Конечно, очень, очень тесно, но тепло, и есть вода. Не надо, как там, носить ведрами. Я уже надеюсь, что буду писать, и уже принялась... Отвечайте скорей, мне тепло от одной мысли о Вас, о дорогом Цагвери».

Трудно было переписываться в годы войны: письма терялись, не доходили. Но вот наступил 1944 год. Сталинград вернули. Дорога через Сталинград на Москву восстановлена. В Москве состоялась декада грузинской литературы. Большая группа поэтов и прозаиков, возглавляемая П. Шария, выехала в Москву. Ехали мы что-то долго. Впечатления от развалин Сталинграда были очень тяжелые. Первый вечер в Москве произошел в Клубе Союза писателей. Председательствовал Александр Фа-

деев. Тут и встретились годами не видавшие друг друга друзья. Объятия. Поцелуи. Слезы на глазах.

Большой неожиданностью было для меня, что Ольга Дмитриевна вернулась из Свердловска и живет на квартире у московской писательницы. Узнаю адрес, но мне не пришлось ее разыскивать, она сама пришла на этот вечер встречи.

Там же я впервые увидела Анну Ахматову, которая также вернулась из Ташкента.

Она вошла в зал гордая, высокая, величественная, на груди висели крупные янтарные желтые четки. Я сразу подумала: не Ахматова ли? И не ошиблась. Ольга Дмитриевна, сидящая рядом, познакомила меня с ней; я так по-детски была счастлива, что встретилась с любимой поэтессой!

Грузинские и русские поэты выступали на заводах и предприятиях, оставшихся в Москве. Я читала стихи, посвященные Ольге Дмитриевне.

К концу декады в один прекрасный солнечный день наши хозяева повезли нас в Химки, оттуда на речном пароходе поплыли по Москве-реке и причалили к чудесной роще. Все это было как-то невероятно после всех войной испепеленных деревень, после всего виденного в дороге.

Жизнь продолжалась. На лоне природы накрыли, вернее, расстелили на траве коврики и скатерки, разложили бутерброды, закуски, напитки.

Было спокойно, совсем не по-военному, отрадно, интимно и задушевно.

Сидели — Константин Александрович Федин, рядом Ольга Дмитриевна, около нее я, затем поэт К. Чичинадзе и прозаик Акакий Белиашвили, а около него белокурая девушка, мало кому знакомая.

Ольга Дмитриевна что-то рассказывала Федину о свердловских переживаниях. Он с большим интересом слушал и не обращал на остальных внимания. Вдруг раздается голос девушки:

— А я вас ревную к Ольге Форш.

Изумленный Константин Александрович повел плечами, а Ольга Дмитриевна, бросив презрительный взгляд на нее, сразу ее осадила:

— Можете не ревновать... У нас совершенно различные профессии...

Краска залила лицо девушки. Мне даже стало ее жаль. Она продолжала сидеть в смущении, вместо того чтобы встать и удалиться.

Вскоре начались сборы в обратный путь. Многие разбрелись по лесу. Стали всех звать, аукаться.

Я спросила в дороге Ольгу Дмитриевну: почему она так резко обошлась с незнакомкой?

— Знай, сверчок, свой шесток. Нечего было ей фамильярничать. И откуда берется такая наглость? — опять заволновалась моя Ольга.

Эта наша встреча в Москве была седьмая и предпоследняя.

В сорок шестом году я потеряла мужа, а через шесть месяцев и брата.

Наступили для меня тяжелые годы. Позвали меня работать в Союз писателей консультантом по детской литературе. Я уже не могла свободно ездить, а Ольга Дмитриевна в каждом письме звала то к себе в Ленинград, то на курорт; а годы проходили одни за другими.

Декабрь 1954 года. Второй Всесоюзный съезд советских писателей, ровно через двадцать лет после первого съезда.

На этот раз в нашей грузинской делегации были три поэтессы: Марика Бараташвили, Маквала Мревлишвили и я. Нас всех устроили в гостинице «Москва» в уютном люксе.

Ольга Дмитриевна была со своей приятельницей Маро Довлатовой, и мы договорились ходить на заседания вместе.

Спускаюсь к ней в номер. Ее нет. Съезд должен был открыться в 4 часа дня в Большом Кремлевском дворце. Прихожу одна. Места заняты. Прошла в первые ряды. Нет Ольги Дмитриевны. Пошла обратно и где-то сбоку припека подсела к одной очень пожилой женщине.

И вдруг гром аплодисментов. И выходит Ольга Дмитриевна рядом с Фединым и, как старейшая писательница, открывает Второй съезд!

У меня от радости спазмы в горле. Это было так неожиданно. Почему же Ольга Дмитриевна не сказала мне об этом?

Я с нетерпением ждала перерыва, когда подойду к Ольге Дмитриевне и поделюсь с ней своими впечатлениями.

В свободное время мы собирались у Ольги Дмитриевны. Здесь бывали Ираклий Андроников, Коля Тихонов, Виктор Шкловский, Маро Довлатова, Оксана Иваненко, Чагины и я. Тут в центре внимания был Ираклий. Ольга Дмитриевна хохотала до изнеможения, восторгаясь рассказами Ираклия и его талантом.

В один вечер пришел с Оксаной ее брат — фотографировать Ольгу Дмитриевну и нас за компанию. Какие только позы не придумывал Ираклий!

Съезд продолжался до 26 декабря. Это была последняя встреча с Ольгой Дмитриевной. Ровно через год она мне пишет:

«Дорогая моя Мариджан. Привет. С Новым годом Вас и все милое Ваше семейство с детьми и внуками! Будьте счастливы, здоровы.

Я часто думаю о Вас, и особенно, как Вы прощались и на орлиных Ваших очах сверкали слезы. Конечно, Вы думали, что видимся в последний раз... Так давайте же назло судьбе увидимся еще однажды!»

Ольга Дмитриевна приглашала меня в Тярлево на клубнику в июне месяце, когда буду в отпуске.

«Словом, Мариджан, давайте слово, что приедете на клубнику, ничего Вам раньше писать не хочу. Неужто так и покориться — не видаться, мне приехать к Вам труднее».

Я, как ни думала, как ни прикидывала, не смогла поехать ни на дачу, ни в Киев, ни в Ленинград, несмотря на все соблазны и планы.

В 1955 году 28 мая был юбилей — восьмидесятилетие Ольги Форш. Получаю официальное приглашение. Опять не удается ехать.

Спустя пять лет второй юбилей Ольги Форш. Восьмидесятипятилетие и пятидесятилетие литературной деятельности. Опять нет возможности поехать.

Ольга Дмитриевна пишет после юбилея:

«Дорогая моя, прекрасная Мариджан!

Простите, что пишу карандашом, у меня болит рука. Спасибо Вам, дорогая, за чудесное письмо Ваше, за фото Сильфиды — Ирочки, особенная грация, могучий полет

отличает ее от прочих балерин. Очень нам понравилось. Я никак не поправлюсь после Кисловодска и юбилея. Болею. Рисую. Я сейчас не знаю, как сложится лето и где мне с Вами повидаться. А очень хочу. Оля — внучка — ботаник 4-го курса, в горах Осетии, собирает флору альпийских лугов. Тамара едет на Аральское море. Дима со мной копается в огороде. Целую всех Ваших. Сердечная благодарность Сосо Гришашвили за оригинальную телеграмму.

Ваша Ольга».

Весна 1961 года. В газете «Правда» от 19 мая статья Ольги Форш. Читаю. Вырезаю. Сохраняю. Ольга Дмитриевна пишет:

«В течение всей моей жизни, из года в год, я жду наступления весны. И каждый раз она мне кажется чудодейственной и небывалой. И первые ландыши, и шумные хороводы воробьев, и летящие облака, отраженные в талой воде, а главное — люди, молодеющие, хорошеющие весной, — я жду этого всеобъемлющего обновления каждый год».

Это была последняя весна...

О кончине Ольги Дмитриевны узнаю случайно. В Цагвери включаю радио и слышу передачу. Это казалось невероятным, несмотря на то что часто слышала о ее болезнях... Но всегда Ольга Дмитриевна выходила победительницей. Я не находила себе места. Боль в сердце все нарастала оттого, что я ее долго не видела. Я не могла себе простить этого.

В 1968 году мне пришлось побывать в Ленинграде. Созвонилась с Тамарой Борисовной и поехала на квартиру Ольги Дмитриевны. Вхожу. Как будто ничего не изменилось, все на своем месте. Когда мы разговаривали с Тамарой, мне казалось, что это сама Ольга говорит со мной. Я раньше не замечала этого сходства, а теперь манера разговаривать, улыбка, кисти рук — все материнское. Тамара мне показала последние акварели Ольги Дмитриевны, натюрморт — апельсины. Я вспомнила, как она хотела написать в своей «Живописной автобиографии» портрет Гришашвили с апельсином в руке... Сколько было творческих планов у Ольги Дмитриевны! Одной жизни было мало. Ей нужно было три жизни, чтоб сделать все то, что у нее было намечено.

О. Иваненко

СТРАНИЧКИ ВОСПОМИНАНИЙ

*

У меня в столе с самой войны лежит пачка писем с адресом полевой почты и с обратным — Свердловск.

Это все мои письма, посланные на фронт мужу и возвращавшиеся то по одному, то подклеенные по нескольку, потому что только в 1945 году, когда я была уже дома, в Киеве, пришло извещение, что мой муж погиб еще в 1941 году. А в эвакуации, в Свердловске, я об этом не знала и писала, писала почти каждый день в адрес полевой почты.

Столько лет прошло, и я не касалась этой пачки, привезла связанную домой, положила в стол и еще долго надеялась: а может быть, жив, возвратится и прочитает, будто в дневнике, как росли наши дети.

Я помнила, что среди тех писем было одно, непохожее на остальные по-настоящему бодрым и даже радостным тоном. Теперь я отыскала его и перечла... «Представь себе, я познакомилась с писательницей Ольгой Форш, это как подарок для меня в Свердловске». Когда я писала эти строчки, я еще не могла представить всю ценность этого подарка, не знала, какой животворной силой вольется в мою жизнь эта встреча.



В. Саянов, В. Лившиц, А. Прокофьев, О. Форш, Н. Тихонов.
Ленинград. 1941

О. Форш, А. Фадеев, О. Берггольц, А. Авраменко, Е. Катерли,
К. Симонов, К. Ванин, А. Прокофьев. Ленинград. 1947



О. Форш и В. Шишков в Кремле
после вручения правительственных наград. 1943

Над столом у меня висит портрет Ольги Дмитриевны. Надпись, сделанная чернилом тех военных лет, почти выцвела: «Моей підкидній» дочке с Украины — Оксане».

И, как дочке о матери, мне трудно написать обо всем, что связывало нас; и не все можно вынести на люди; потому что ни с кем другим я не могла говорить так откровенно, быть такой, как есть, без желания что-то приукрасить, что-то изобразить. Все равно, казалось мне, она видит всех насквозь своим мудрым, иногда с такой чудесной лукавой смешинкой, глазом.

А было все так. Первая, непривычно холодная и дождливая осень в Свердловске, первая осень войны. Случилось так, что я оторвалась от своих украинцев, которые в основном «отаборились» в Уфе, и очутилась с двумя детьми и стариком отцом в Свердловске. Я не могу сказать, чтобы свердловчане были неприветливы. Наоборот, и старый дед Бажов, и все писатели встретили меня очень тепло, познакомилась я и с москвичами. Но все-таки в ту, первую осень я жила в стороне от всех хотя бы из-за маленького сына, которому в дороге исполнилось пять месяцев. Я не могла часто бывать в писательском коллективе. И, помню, в те первые месяцы мое участие в общих выступлениях было довольно неудачным — ведь я привыкла говорить по-украински и у меня не возникало контакта ни с аудиторией, ни с товарищами, которых я, собственно говоря, боялась больше, чем аудитории.

Неожиданно меня разыскали работники всесоюзного радио, которые приехали в Свердловск. Как раз перед войной они передавали мои сказки и здесь сразу же втянули меня в работу. Именно в радиокомитете два милых редактора — москвичка и свердловчанка — как-то сообщили мне, что сюда приехала из Ленинграда Ольга Форш.

— Мы хотим организовать выступление женщин-писательниц, вот собираемся пойти к ней.

Ольга Форш! Автор романов «Одеты камнем», «Радищев», «Современники». Последнее время, перед войной, когда я работала над повестью «Тарасові шляхи», я перечитывала эти произведения, уже иными глазами, чем раньше, стремясь постичь тайны ее творчества, удивляясь ее крепкому, неженскому перу... Она была одним из моих самых любимых современных писателей.

— Возьмите меня с собой, — вырвалось у меня. — Я хочу посмотреть на нее!

— А мы так и решили, что пойдем с вами.

И мы пошли куда-то на окраину Свердловска, на какую-то безлюдную улицу с маленькими домиками, с осенними, уже безлистными садиками. Долго стучали в какую-то калитку, собаки подняли лай, и мы уже думали, что наш поход напрасен. Вдруг хлопнули двери и на крыльцо вышла какая-то странная старуха — в шароварах, в халате, с лицом колдуньи. Правда, черные глаза были совсем как у колдуньи! Я немного струхнула, лицо мне показалось суровым. Я подумала, что эта старуха может нас еще и не пустить к писательнице, даже малодушно радуясь, что я, собственно, с боку припека. Пропустив вперед моих приятельниц, я предоставила им вести переговоры.

— Мы к Ольге Дмитриевне Форш, — сказала одна из них, тоже не очень смело.

— Пожалуйста, милости прошу, проходите, — любезно ответила старуха, и мне показалось — передо мной не колдунья, а королева.

Мы сели в маленькой комнатке. Ольга Дмитриевна внимательно смотрела на нас, мне казалось — особенно на меня.

Одна из моих спутниц объяснила, что они из радиокомитета, а вот Оксана Иваненко — кивнула она на меня — украинская писательница, эвакуированная из Киева.

— Сэрце! — вдруг по-украински обратилась ко мне Ольга Дмитриевна и глянула так, будто это сообщение принесло ей радость. — Сэрце, я ведь жила в Киеве, я работала там, мои дети там учились. Киев мне очень, очень дорог. Как же вы устроились здесь, как вы живете?

Вдруг все трудности быта, все присущие беженской жизни неприятности показались мелочами, какие легко можно преодолеть. Надо быть выше их, чтоб не стыдно было возвращаться в родной Киев.

Разговор сразу же принял тон дружеской близости, без тени официальности и чувства дистанции между нами и старой славной писательницей. Быстро, по-деловому договорились о коллективном выступлении, посоветовались о программе; но разговор продолжался. Ольга

Дмитриевна расспрашивала нас, как живем, как работаем, кто из писателей очутился тут, сплоченный ли коллектив, какие тут зимы, о чем надо позаботиться для семей.

— Ничего, — сказала уверенно Ольга Дмитриевна, — переживем это трудное время. Давайте держаться вместе!

Боже мой! «Давайте держаться вместе!» Я почувствовала сразу, что это не пустые слова, сказанные из вежливости, что это ее желание, что она на самом деле будет с нами, со мной!

— Я приду к вам, — сказала Ольга Дмитриевна мне на прощанье. — Я хочу посмотреть на ваших детей, на вашего «запорожца за Уралом». — Я сказала, что так назвали тут моего сына, а ей это очень понравилось. — А вы обязательно к нам приходите. Я ведь тут с детьми, с внуками. Сэрце мое, — снова обратилась она по-украински. — Вот теперь, после войны, я обязательно приеду в Киев.

Уже закрывая за нами калитку, Ольга Дмитриевна заговорщицки улыбнулась и сказала:

— А может, мы сообща козла купим?

— Почему козла? — удивилась я.

— Откормим, и будет детям мясо.

— Нет, нет, — засмеялась я. — Не надо козла. Мы привыкнем к нему, и жаль будет резать, а сколько мороки с ним!

Потом я привыкла, что иногда Ольге Дмитриевне (то шутя, то всерьез) приходили в голову разные экзотические идеи, но козел нас всех развеселил, и она сама, продолжая доказывать, как бы это было выгодно, добродушно смеялась.

Вскоре Ольга Дмитриевна зашла ко мне. Надо откровенно признаться, она была недовольна мною.

— Вы помните рассказ Тургенева о воробьихе? Как она грудью защищала своего птенца? Я этот маленький рассказ люблю больше всех произведений Тургенева. Вы должны быть сейчас как та воробьиха. Нечего гордиться своей скромностью. Дело не в вас, а в детях. Вот расскажу, как пришла к вам, а Виктор пьет черный кофе и курит люльку, чтобы не ревел, — добавила она шутя.

Эту воробьиху я запомнила на всю жизнь.

Ей очень понравилась моя старшая четырнадцатилетняя дочка.

— Ну, как вы выродили такую большую и серьезную? — шутила она.

А дочка была, конечно, в восторге от знакомства с Ольгой Дмитриевной. Так Ольга Дмитриевна и стала моим детям «бабушкой Форш», «бабушкой с маминой стороны»...

Иногда мелькнет событие, прозвучат слова, и ничего в них нет особенного — никто и внимания не обратит, — а для тебя вдруг они станут поддержкой и останутся навсегда в памяти. Таким был один вечер, когда я почувствовала себя ближе со всеми.

В Свердловск приехал Александр Александрович Фадеев. Назначена была встреча с писателями. Я, конечно, опоздала. Я всегда спешила, ничего не успевала и везде опаздывала. Болел отец, болела дочка, маленький Витька, пеленки, очереди.

Собрание уже началось. Фадеев, в военном, строгий, подтянутый, уже информировал о положении в Москве, на фронте, говорил об обязанностях писателей в тылу. Я тихонько остановилась в дверях. Вдруг Фадеев прервал речь и спросил:

— А Оксану вы тут не обижаете?

Это было так неожиданно, я даже не думала, что он меня узнает. Наше знакомство было мимолетным, на пленуме, посвященном детской литературе, где я выступала с информацией об Украине. После его вопроса у многих вырвались милые слова по моему адресу и уверения, что меня любят. А тут вошла и Ольга Дмитриевна. Фадеев встал, обнял и расцеловал ее. Она села около меня, и после собрания мы пошли вместе. С одной стороны вела ее я, а с другой — почтительно, как мать, вел ее Фадеев, и она, как мать сыном, любовалась им.

— Саша, какой ты красавец, какой ты молодец в военном! Ну, говори мне все, все откровенно...

Он старался подбодрить, успокоить:

— Все будет хорошо, Ольга.

Он ей говорил «ты», называл просто Ольга, но сколько уважения и почтительной любви было в каждом слове, обращенном к Ольге Дмитриевне!

Тогда впервые я заметила одну черту Ольги Дмитриевны, которую потом отмечала не раз. Она как-то

особенно умела любоваться людьми, как будто для нее всегда было большой радостью, даже наслаждением открывать и показывать красоту людей как внешнюю, так и внутреннюю. Это проявлялось всегда так искренне, так значимо. Казалось, она открывает в людях гораздо больше, чем обыкновенно все видят.

С каким восхищением говорила она, глядя на грузинскую поэтессу Мариджан: «Красавица! Ты всегда такая красавица!»

Или на одном интимном обеде она подняла тост: «За неувядаемую красоту Анны Андреевны! (Ахматовой. — *О. И.*)».

Как хорошо, как легко с людьми, которые умеют так искренне любоваться!

И еще, правда уже позже, я почувствовала: тех, кто попадал в окружение Ольги Дмитриевны, ее старинные друзья, ее родные начинали считать и своим другом, близким, своим человеком. Атмосфера искренности, взаимного доверия возникала вокруг нее. И с какими чудесными людьми, которые стали моими друзьями на всю жизнь, встретилась я именно около нее!

Из-за своих хлопот и забот я, конечно, не могла часто бывать у милых Форшей, но с первого же раза меня приняла вся семья.

— Мама, а ты знаешь, на кого похожа Оксана? — спросила дочка Тамара, когда мы только познакомились.

— Да, да. И ты заметила? Значит, я не ошиблась. Я не говорила, я хотела себя проверить...

Они нашли во мне некоторое внешнее сходство с другой дочерью, которая давно жила далеко от них. Может быть, потому так пристально посмотрела на меня Ольга Дмитриевна, когда увидела первый раз. А может быть, и потому, что я была из Киева, дорогого ей Киева, где тогда шли жестокие бои. Своим внукам Ольга Дмитриевна прочитала мои книжки для детей, изданные в РСФСР в русском переводе.

— Ольге Форш младшей больше нравятся ваши сказки, — сказала мне Ольга Дмитриевна. Внучка Оленька была ее любимицей. — А мне ваша повесть о Тарасе Шевченко. Ее следует продолжать.

Тогда я написала только о детстве и юности Тараса и еще не думала, что буду писать дальше.

Сначала Ольга Дмитриевна как будто только приглядывалась ко мне как писательнице. Первое мое выступление на общем вечере вызвало у нее только короткое критическое замечание. Какой же радостью было для меня услышать после выхода альманаха «Уральский современник» слова Ольги Дмитриевны: «А мне и Мариэтте (Шагинян. — *О. И.*) понравился ваш рассказ в альманахе». И отметила, чем именно.

Надо ли говорить, что значила для меня оценка таких писателей! Мне показалось даже, что она стала несколько иначе относиться ко мне, по крайней мере мы стали больше говорить именно о литературе, она стала давать чисто профессиональные советы, рассказывать, как писала любимый всеми роман «Одеты камнем». В Свердловске у нас возникла сначала какая-то семейная близость. Мне был уже знаком дух семейных традиций, со мной делились (и чаще всех сама Ольга Дмитриевна) прошлыми семейными историями и нынешними событиями и делами. Она с интересом слушала и меня — о моем детстве в Полтаве, о родных и особенно о моей работе в колонии им. Горького. Она сама одно время работала с беспризорными. Конечно, я делилась всеми своими заботами о сыне и дочке. Как-то, встретив меня в свердловском Союзе писателей, Ольга Дмитриевна сказала:

— Приходите к нам обязательно. Муж Тамары, наверное, погиб. (Он был инженер-кораблестроитель и оставался во время блокады в Ленинграде. — *О. И.*) Тамара совсем упала духом, а вы всегда так бодро держитесь.

— Конечно, — быстро ответила я. — Я плачу только на улице. Не буду же я плакать при детях или при знакомых. Зато как только выйду на улицу, так сразу и разревусь.

Она внимательно посмотрела на меня.

— Тогда не приходите, чтобы не было хуже. В вас ошибаешься.

— Нет, я приду. Даю слово, хуже не будет.

С Тамарой мы нашли общий язык, ведь мы были в одинаковом положении. Только она сразу поверила в гибель мужа, да и не могла не поверить, а я упрямо не верила и все ждала.

Как умела Ольга Дмитриевна любоваться людьми, так же умела она и припечатать одним-двумя словами.

Помню, уже в Москве, шли мы вместе, и я поздоровалась с одним писателем.

— А кто это такой с мордой третьего ката? — спросила она.

Я рассмеялась:

— А знаете, в нем таки есть что-то очень нехорошее.

— Почему же вы ему улыбаетесь? — рассердилась она на меня. — Вы вообще часто улыбаетесь людям, так нельзя.

— Нет, можно и надо, — возразила я. — Я, правда, хотела бы всем улыбаться, но не врагам, конечно. Ведь в каждом человеке есть недостатки, но я не хочу видеть только плохое, в каждом есть и хорошее. Вот и в этом, что встретился нам, проявляется иногда какая-то доброта. Я б хотела, чтоб и мне все улыбались, легче было бы жить. А то иногда безразличный, холодный взгляд, не говоря уж о слове, может надолго омрачить душу.

— Ну, хорошо, улыбайтесь, — милостиво разрешила Ольга Дмитриевна. — Собственно говоря, это мне в вас и нравится, это у вас от Украины.

— Конечно, ведь еще Чехов писал, что украинки или смеются, или плачут, — оправдывалась я.

— А все-таки у этого вашего знакомого морда третьего ката, именно третьего, а не первого, — смеясь, повторяла она.

Когда же она улыбалась или смеялась — это было действительно весело!

Она любила, когда я говорила по-украински, и всегда с нежностью вспоминала Киев — город своей молодости, хотя именно в Киеве ее постигли и несчастья, и трудности. В Киеве умер муж Ольги Дмитриевны, военный инженер, началась самостоятельная жизнь с тремя детьми. Она любила вспоминать улицы Киева, и караваевские дачи, и наше чудо — Андреевский собор, и Владимирский, и Кирилловскую церковь. Я будто передала ей привет от близкой знакомой, когда рассказывала о нашем Музее украинского искусства, вспоминая свои любимые картины, и в том числе «Девушку в красном» Мурашко. А с художником Мурашко Ольга Дмитриевна была хорошо знакома, знала и этот портрет, и натуру. Она понимала сложную ситуацию борьбы с украинскими нацио-

налистами, и то, что доносилось к нам о связи националистических недобитков с фашистами, до крайности возмущало ее.

Ольга Дмитриевна очень любила нашу поэзию, вспоминала, что была знакома с Павлом Тычиной, тогда еще молодым, и сразу же почувствовала в нем большого поэта. В ее рассказе «Новый памятник», коротком, но таком ярком, живописном, в немногих словах проявилось глубокое понимание путей развития Украины, ее борьбы, ее культуры.

Она хорошо знала и творчество, и жизнь нашего кобзаря. В связи с этим я не могу не вспомнить семидесятилетний юбилей Ольги Дмитриевны, который мы отмечали в Свердловске. Мне посчастливилось быть еще на одном ее юбилее, уже дома, в Ленинграде. Оба они были, каждый по-своему, чудесными и не похожими ни на какие юбилеи, которые мы так часто отмечаем.

Шел второй год нашего пребывания в Свердловске. Мы уже акклиматизировались там, много работали, издавали альманахи, свои книги, много выступали (я уже не проваливалась так позорно, как первое время), посещали часто госпитали и военные части. Я помню, как в тридцатиградусный мороз Ольга Дмитриевна храбро поехала с нами в одну воинскую часть и шагала по заснеженному полю. Кто имел право роптать, скулить, когда с нами всюду была она и старый уральский сказочник Павел Петрович Бажов, Борода, как ласково называла его Ольга Дмитриевна.

Юбилей Ольги Дмитриевны был весной 1943 года. Я была в комиссии по его организации и, так сказать, связным между семьей и коллективом. Все мы порядочно обносились за эти годы, и, хотя никто на это не обращал внимания, все-таки решили по случаю юбилея достать для Ольги Дмитриевны талоны на некоторые нужные вещи. К счастью, в соответствующей организации этим заведовал один работник из Харькова. Он так растрогался, увидев меня на приеме, что выдал талоны не только для Ольги Дмитриевны, а и для меня и других писателей. Я этим очень гордилась!

Как будто все было организовано как следует — и доклад, и теплые выступления, а потом несколько человек пришли к Ольге Дмитриевне домой. Помещение было небольшое, и нас было немного. Я с свердловской поэтес-

сой Беллой Дижур решили обязательно достать цветов, что было в ту пору в Свердловске делом нелегким. Но все-таки где-то на окраине у какой-то любительницы-садовода мы достали гиацинты, и Ольга Дмитриевна обрадовалась им как ребенок. Ведь все знают, как она любила цветы, деревья, всякую зелень!

Вечер был задушевный. Не помню уже, почему возник разговор о ссылке Тараса Шевченко.

— Он верил, что должен выдержать все, что он должен возвратиться, — уверенно говорила Ольга Дмитриевна. — У него была необыкновенная вера в свое призвание и в свою ответственность за народ. И как возмужала его поэзия именно после ссылки! Сэрце, — обратилась ко мне Ольга Дмитриевна, — вы знаете что-нибудь на память из Шевченко? Я хочу, чтобы они услыхали, — кивнула она на гостей, — его прекрасную украинскую мову.

Знала ли я «что-нибудь» из Шевченко?! Сколько «коронных» номеров еще с гимназических шевченковских праздников осталось у меня на всю жизнь! И как было приятно тут, среди друзей, уральцев и ленинградцев, вспомнить их! Первым я прочитала «Чернеца», сказав, что это Тарас написал в Орской крепости. Ольга Дмитриевна была в восторге, не менее и старик Бажов.

— Еще, сэрце, все, что вы помните.

— Ну, на это и ночи не хватит.

И я читала еще отрывки из «Наймички», из «Кавказа», а потом перешла к маленьким лирическим шедеврам. А когда прочитала «Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні», жена Бажова прослезилась, да и я была недалека от этого. Чтобы разрядить атмосферу, выпили за возвращение в Ленинград и Киев.

— И чтоб Урал не забывали, — пробормотал в бороду Павел Петрович.

Этот уютный вечер закончился совсем весело. Нам казалось: еще немного, и мы вернемся домой и будем приезжать друг к другу в гости в мирное время.

Мы уже одевались.

— Оксана, вы сегодня шикарная, в белом пальто, я никогда вас такой не видела, где вы достали?

— О, это еще до войны, когда я еще была порядочной, — скорчила я гримасу, и Ольга Дмитриевна рассмеялась.

— Люблю вас такой и за то, что не теряете чувства юмора.

Больше всего меня угнетало то, что писала я урывками, всегда наспех, убегая ночью к соседям, чтоб не мешать детям в нашей крошечной комнатке. Как-то я заговорила с Ольгой Дмитриевной о том, что именно своей работе я уделяю меньше всего времени, хотя это единственный источник моего заработка, что я чувствую себя преступницей, когда пишу, а не стираю или не стою в очереди. Ольга Дмитриевна серьезно ответила:

— Но в этом и заключается борьба. Как часто говорят, просто как красивую фразу: «Жизнь есть борьба». А борьба человека — каждый день, каждый час, и надо выйти победителем из этой незримой, но тяжелой борьбы.

После разговора с ней мне всегда становилось легче.

На ней самой лежало много хлопот о семье, и в то же время там, в Свердловске, она много писала и вынашивала планы будущих больших прекрасных произведений. У нее всегда было много литературных планов, и это необыкновенно заражало, поддерживало уверенность, что еще надо много сделать.

В Свердловске была издана книжечка с первыми рассказами «Живописной автобиографии». Название было — «Новые рассказы», но на подаренном мне экземпляре Ольга Дмитриевна надписала: «Книга «Живописная автобиография» — тетрадь первая».

Она искренне удивлялась, что один писатель, ее близкий друг, волновался, переживал, а потом был очень доволен, когда ему присудили степень доктора наук.

— Это же один из лучших наших писателей. Его книги все знают и любят. Разве «писатель» — это мало? Это ведь основное, а не какая-то там степень! Не понимаю, зачем это ему? Самое главное — книги, чтобы их читали.

Я не могу сказать, что сама Ольга Дмитриевна была совсем лишена честолюбия, но ее честолюбие было какого-то высокого стиля.

В последние годы она с гордостью говорила, что ее подписное издание не приходилось пропагандировать Книготоргу. Подписку заполнили сразу же, и было много недовольных, которые не успели подписаться. Она по праву гордилась, что ее знают и любят за ее книги. Ни-

когда она не приспосабливалась в своем творчестве к меняющимся обстоятельствам и направлениям. Во всем жила ее собственная мысль, ее собственные вкусы, которые развивались вместе с жизнью всего народа.

Ольга Дмитриевна рассказывала, что писательницей она почувствовала себя довольно поздно, хотя изредка и писала, и печатала свои рассказы, но считала, что основное ее призвание — рисование, она училась этому и потом сама преподавала.

— Ваш муж любил ваши произведения, гордился вами? — спросила я, когда Ольга Дмитриевна показала мне старое семейное фото. Она молоденькая, тоненькая, необычайно женственная, и рядом муж, военный инженер, высокий, худощавый, с умными, грустными глазами. Трудно было представить, что со временем эта очаровательная юная женщина напишет такие сильные книги, как «Одеты камнем», «Радищев»...

— Он любил мое рисование, мою работу художницы, — задумчиво ответила Ольга Дмитриевна, будто уносясь в далекие-далекие воспоминания. — Литература стала основой жизни уже потом, когда он умер. Он умер в Киеве от тифа в начале двадцатых годов.

О, она знала, что такое борьба в жизни каждый день и каждый час!

Настоящая литературная жизнь началась уже в советское время. «Одеты камнем» были написаны после кинокартины «Дворец и крепость». Я была удивлена, услыхав это, потому что обыкновенно бывает наоборот... Я не помню сейчас деталей, но Ольга Дмитриевна рассказывала мне, как у нее вышел конфликт с соавтором из-за сценария, и тогда она после сценария, увлеченная судьбой заключенного Алексеевского равелина — Бейдемана, написала роман, который сразу приобрел огромную популярность и любовь среди читателей. Первый советский исторический роман! Вот этим она гордилась, рассказывала мне об отзыве Максима Горького и читала его письма.

Чем дальше, тем больше и больше мы говорили о литературе, о творчестве, мы могли часами говорить о Достоевском, Гоголе, Лермонтове. Она открывала «секреты» своей творческой лаборатории. Например, таинственно призналась, что, когда начинает новое произведение, она всегда перечитывает лермонтовскую «Тамань», так

как это для нее абсолютное совершенство в отношении стиля и композиции, что эта вещь ее как-то внутренне собирает и настраивает. Она говорила о максимальной сосредоточенности, ограждении себя от разных случайных раздражителей, которые мешали бы перевоплощению, разбивали бы настроение. Ей даже нравилось, что у меня свои боги в литературе, свои любимые произведения, без которых, когда их долгое время не перечитываешь, задыхаешься и теряешься; даже в ее произведениях я не все воспринимала в равной мере, и кое-что для меня оставалось чуждым, но сама она для меня была и осталась из семьи богов.

Наше тесное общение возросло в Москве.

В 1943 году начали понемногу разъезжаться москвичи, кое-кто из ленинградцев тоже уехал из Свердловска, правда еще не в Ленинград... Ольга Дмитриевна осенью одна, еще без семьи, переехала в Москву. Летом я была в Москве в командировке и увидела, что в Москву перебралось много наших украинских писателей из Уфы, Укриздат, Укррадиокомитет, наша Академия наук. В Министерстве просвещения Украины мне поручили составить хрестоматию для школьников: «Рассказы из истории нашей Родины». Заказ исторической хрестоматии был для меня также поводом к переезду в Москву — там я могла пользоваться Ленинской и Исторической библиотеками, иметь нужные консультации.

Ольга Дмитриевна была очень довольна, что я тоже буду жить до возвращения в Киев в Москве. Уезжая раньше меня, она оставила «наказ» своей семье — «выпроводить» меня в дорогу. Да и все свердловчане с дедом Бажовым во главе провожали меня с детьми как родную, а отца я похоронила в Свердловске — породнилась с Уралом...

Встреча наша с Ольгой Дмитриевной в маленьком номере «Москвы» была шумной и радостной. Как всегда, у нее были планы на много лет вперед. В Свердловске незадолго перед отъездом она закончила в соавторстве с Г. Бояджиевым пьесу «Владимир — Красное Солнышко». Велись переговоры с театрами, но главное было не это. Она рассказывала о своем давнишнем горячем желании написать цикл романов о Петербурге — Ленинграде, и первый роман должен был быть о Росси. Тогда еще не было названия «Михайловский замок».

Я сказала, что теперь должна засесть в Исторической и Ленинской библиотеках для своей хрестоматии.

— Прекрасно, — обрадовалась Ольга Дмитриевна, — мне также нужна Историческая библиотека. Мы будем ходить туда вместе.

Это действительно было прекрасно. Ольга Дмитриевна жила в гостинице «Москва», я — в «Балчуге». Она приказывала, чтоб я обязательно звонила по утрам: как дети и какие мои дневные координаты, куда я иду — в Ленинскую или Историческую? Чаще я бывала в Исторической.

Я заходила за Ольгой Дмитриевной, и мы отправлялись в библиотеку. Ольга Дмитриевна будто помолодела, во всяком случае очень оживилась в Москве. У меня осталось несколько записочек, которыми мы обменивались во время работы, — ведь разговаривать в библиотечном зале нельзя, и сидели мы за отдельными столиками; но всегда не терпелось обменяться мыслью или условиться о чем-нибудь. Мы чувствовали себя, как в молодые студенческие годы!

Ольга Дмитриевна, как известно, прекрасно владела французским языком.

— Оксана, — говорила она не раз, — используйте совместное пребывание со мной, говорите со мной по-французски.

— Ни за что, — смеялась я. — У меня чудесный полтавский выговор. Он считается лучшим украинским, но абсолютно противопоказан французскому.

Все же у меня сохранились наши французские записочки, в которых она серьезно исправляла мои ошибки. Не помню уже, по поводу какого разговора по дороге, там, в библиотеке, на обрывке бумаги Ольга Дмитриевна написала мне по-французски стихи Верлена «Осенние скрипки».

Я берегу переписанные для меня Ольгой Дмитриевной новые, тогда еще не напечатанные стихи Анны Ахматовой. Ольге Дмитриевне показал эти стихи кто-то из друзей-москвичей, а она, зная, как я люблю Анну Ахматову, переписала их для меня и дала как сюрприз. Сама Ольга Дмитриевна очень любила стихи «Муза» и не раз громко читала их на память, когда мы сидели у нее в «Москве».

В ее номерке часто бывало необыкновенно интересно, хотя она и ворчала:

— Ну вот, снова не пошли в Историческую, а все Колька. И откуда он взялся на мою голову, — как придет утром, я уже потом не могу работать.

— Потому что сами просите: «Посиди еще немножко», — смеялась я, так как видела, что она чрезвычайно довольна этими посещениями, а тот, кого она в глаза и за глаза называла «Колечкой», «Колькой», «Колей», — это был Николай Семенович Тихонов.

— Представьте себе, сэрце, он — боевой полковник, разве не правда, на Суворова похож? И представьте, он стесняется вызвать официанта и заказать завтрак, поэтому мы завтракаем часто вместе.

Наши славные и не такие уж молодые писатели — Тихонов, Фадеев, Федин — это были ее любимые «мальчики», которых она называла на «ты», по имени, она ими гордилась, а их уважение и любовь к ней были безграничны. Она говорила, что именно из-за этого их отношения к ней часто обращаются малознакомые писатели и не писатели с разными просьбами, а иногда просто из желания приблизиться к их кругу. Это у нее всегда отбивает охоту продолжать знакомство с такими людьми.

— А вот на вас я сержусь, что вы всегда отказываетесь пойти со мной, когда я вас зову к своим друзьям, вы никогда не хотите воспользоваться этим, хотя вам было бы интересно и полезно в другом плане.

Я действительно всегда отказывалась от таких ее предложений. Даже намек на какое-то «использование» ее отношения ко мне был для меня недопустимым.

— Мне достаточно того, что я с вами. Конечно, мне было бы интересно познакомиться со многими, но мне приятнее, когда знакомство происходит ненарочно, неожиданно, абсолютно бескорыстно, лучше всего в работе или когда знают по книге. А сейчас я ни для кого не представляю ни малейшего интереса. Вот вы меня хорошо знаете, и Мариэтта Сергеевна, и обе любите, разве этого мало? И потом, ведь вы сами знаете, какой я становлюсь непохожей на себя в чужом обществе.

С Тихоновым Ольга Дмитриевна все-таки подстроила знакомство. Он также жил тогда в «Москве». Заходя за Ольгой Дмитриевной, я часто заставала Николая Семеновича и, вместо того чтобы идти в библиотеку, часами

слушала его непревзойденные рассказы. Он тогда был таким, как написал о нем Антокольский: «Седой солдат, седой поэт. . .» Потом мы с ним часто вспоминали, как он говорил, эти «посиделки у тети Оли». С ним мы стали друзьями на всю жизнь.

Как-то Ольга Дмитриевна сказала:

— Ну, слава богу, уехал вчера в Ленинград, теперь буду работать.

— Ольга Дмитриевна, вы ведь сами его зовете, когда долго не приходит, и любите его послушать.

— В том-то и дело, что люблю. Нет, хватит. Вот изза вас обоих столько времени не могу пойти в библиотеку. Вы захóдите, увидите Тихонова — растаяли и уже о своей хрестоматии забыли!

— Я ведь должна заходить, как же вы пойдете одна? А что касается хрестоматии, я всегда сообщаю, над каким разделом работаю. Я ведь не виновата, что он столько знает, как будто был свидетелем всех событий и может обо всем добавить что-то никому не известное. Как вы сами слушали, когда он неожиданно про Полтавский бой рассказал! Целый доклад сделал, даже не доклад, а будто сам там командовал какими-то частями, даже нарисовал нам расположение войск. Я ведь на Шведской могиле столько раз была, а теперь все ожило передо мной. Может, вам и приятно, а мне очень и очень грустно, что он уехал.

На другой день я зашла за Ольгой Дмитриевной в условленный час без телефонного звонка. Она встретила меня со смехом.

— Оксана, что я вам скажу! Утром, только я села за стол — стук-стук! Открываю дверь — Коля стоит!

— Как?

— Его с дороги отозвали.

— Это же замечательно! Но почему отозвали?

— Кажется, он будет председателем Союза писателей. Но он не хочет, отказывается.

— Ну вот, только познакомилась как следует с человеком, так хорошо было у вас, и нате вам — делают его председателем, — недовольно и даже сердито сказала я.

— Он же не хочет, — словно оправдывая его, молвила Ольга Дмитриевна. — И не думайте, что он изменится.

— А, это уже будет совсем не то! У него уж и времени не хватит побыть с нами. Ну, с вами-то другое дело...

Еще некоторое время и Тихонов, и Ольга Дмитриевна жили в «Москве» и наши «посиделки» не прекращались, так же как и наши походы в библиотеку. Иногда по дороге мы заходили вдвоем посмотреть кинохронику, а как-то вместе с Николаем Семеновичем ездили слушать в зале Маяковского его лекцию о Ленинграде.

Откуда у Ольги Дмитриевны бралось столько энергии и интереса ко всему?

Александр Александрович Фадеев предложил Ольге Дмитриевне пожить у него на даче, так как надо было освобождать номер гостиницы. Ольга Дмитриевна поехала в гости, и вдруг ее обуяло пылкое желание приобрести небольшую дачу. Кто-то ей по дороге что-то предлагал. Вечером она с увлечением рисовала мне план дачки, о которой ей рассказали.

— Есть комната пяти метров, потом большая — восьми, ее можно будет перегородить на две.

— Это же не комнаты, а конурки, — ужаснулась я. — Там же невозможно повернуться.

— Но ведь это только спать, ведь есть садик, весной и летом в садике, и всегда можно приехать по делам в Москву и не связываться с гостиницами.

Не помню уже, кто из родных Ольги Дмитриевны просил меня, чтобы я обязательно отговорила Ольгу Дмитриевну от этого фантастического плана. И хотя мне нравилась ее живость и увлеченность, но я понимала, что эта дачка ни к чему.

Вернувшись со смотрин этой дачи, Ольга Дмитриевна ворчала:

— Действительно, я уже старая, чего я так мотаюсь? Мне надо сидеть, беречь силы, а то всегда кто-то соблазняет — то концерт Мравинского, то новый фильм, то уговорят выступить. Конец! Никуда! Сижу дома. Я уже старуха.

На другой день под вечер меня позвали к телефону.

— Оксана, немедленно одевайтесь и бегите ко мне. У меня билеты на «Три сестры» — я вас угощаю. Я ведь знаю, что вы мечтали посмотреть. Не задерживайтесь, а то опоздаем.

За несколько минут я у нее.

— А где же ваше решение сидеть дома?

— Не могла же я отказаться от МХАТа, когда мне принесли два билета и я хотела угостить вас.

Я счастлива, что снова вижу этот занавес, что мы смотрим Чехова, но со второго действия Ольга Дмитриевна начинает тихо бурчать:

— Вот нашла место, где рюмсать. Разве можно с вами ходить в театр? Больше с вами не пойду.

При случае мы, конечно, идем еще и еще и в театры, и на выставки, и в кино.

Поражала ее удивительная память. Я не говорю о событиях детства, юности, семейных преданиях. Известно, что в старости они всегда ярко возникают в памяти. Но меня поражала память на все прочитанное, увиденное уже в последнее время. Ольга Дмитриевна почти не делала записок для своей работы: в библиотеке запишет изредка несколько слов — и все. Она говорила: «Мне надо подержать в руках старинный листок, увидеть какую-нибудь вещь, тогда я чувствую, вижу эпоху. Записок я почти не делаю».

Эта память была основой ее исключительной эрудиции. Но она заняла такое высокое место в нашей литературе благодаря философской, глубокой мудрости своих произведений. Она рассматривала все события, минувшие и современные, с высшей ступени: как будто на все она привыкла смотреть с высоких кавказских гор и все мелкое, не стоящее внимания отскакивало от нее.

Так как я работала над исторической хрестоматией, для меня оживали столетия далекого прошлого. И мне захотелось написать историческую повесть. Ольге Дмитриевне понравился замысел всей повести в целом, но глава, которую я ей прочитала, не понравилась.

— Очень уж вы ее по старинке написали, так, как делали в старое время исторические книги для детей. Я не услыхала вашего тона. Ваш Тарас, когда я его читала Оле, произвел совсем другое впечатление.

Потом она забеспокоилась.

— Вот я вас покритиковала, и вам будет трудно писать. Вы еще остынете к теме, а об этом надо, надо писать.

— Нет, — возразила я. — Читая вам, я тоже почувствовала, что написано совсем не так, как надо. Я очень рада, что прочитала вам и что вы ко мне относитесь без поблажек и скидок.

Тем ценнее для меня были строчки в одном ее позднейшем письме, когда уже вышли все пять частей романа «Тарасові шляхи», но еще не были переведены на русский язык: «Вас читаю, хотя не все понимаю, но доходит живость, сердечная искренность речи, что здесь самое важное».

Ольга Дмитриевна не совсем была довольна иллюстрациями и писала: «Ваш Тарас требует большего».

Все-таки номерок в «Москве» надо было освободить, и я «сосватала» Ольгу Дмитриевну к писательнице Марии Марич, с которой я подружилась в Свердловске.

Я пришла помочь уложить вещи и перевезти Ольгу Дмитриевну.

Бабушка Ольга Александровна (мать невестки Ольги Дмитриевны) вдруг решила, что надо взять с собой обед, который она не успела съесть, особенно ей жаль было борща — не выливать же!

— Только вылить, — категорически сказала я. — Как мы его будем везти в машине? Зачем? Я уверена, что Маша на радостях ожидает нас с домашним угощением.

— Ну как вылить такой чудный борщ?

— Не такой уж он и чудный, этот столовочный брандахлыст. Успокойтесь, выльем и забудем. И так вещей набралось много.

— Знаете что, — вдруг, лукаво улыбаясь, предложила Ольга Дмитриевна, — сейчас придет Коля, и мы его угостим. Только не говорите, что вы хотели вылить.

— Что вы! Этот грех я возьму на свою душу. Зато когда он приедет после войны в Киев, клянусь, я угощу его настоящим украинским!

Все-таки, когда пришел Николай Семенович, Ольга Дмитриевна хотя хитровато, но и с некоторой боязнью поглядывала на меня. А я с самой радушной улыбкой обратилась к нему:

— Мы вам оставили чудесный борщ, почти полтавский. Попробуете, правда?

— С большим удовольствием.

Тут принесли книгу отзывов и просили Ольгу Дмитриевну написать несколько слов.

— Напиши ты, — сказала она Николаю Семеновичу. — Я не умею этого делать.

— Сейчас напишу. Оксана, помогайте.

В нас как будто какой-то веселый бес вселился. Мы

начали придумывать что-то несусветное, в высокопарном старинном стиле и хохотали над каждым словом.

— Да ну вас, прекратите, — останавливала нас Ольга Дмитриевна. — Я же вас попросила, как людей, написать серьезно, прилично, — но и сама тут же присоединялась к нам с разными выдумками, и сама же укоряла: — Вот дотянете дотемна, как я поеду?

Я думала, Ольге Дмитриевне будет хорошо в семейной обстановке Маши Марич, но и побаивалась — слишком они были разные. С обеими, совсем по-разному, мне было хорошо. Но мои опасения оправдались. Близости у них не вышло, хоть и прожили вместе несколько месяцев.

Внешне все было хорошо. С нами была «королева-мать». Но Маша потом шутя писала: «Твоя матуся, а моя свекруха». Я старалась сгладить их отношения, но уже и в библиотеку мы не ходили вдвоем — это было далеко, не с руки, — и наши «посиделки» прекратились. Я только иногда приходила в гости.

Но последний наш вечер запомнился.

Весна 1944 года. С первым эшелоном реэвакуированных я возвращалась домой, в Киев. Я уже знала, что наш Дом писателей поджигали фашисты в последние дни, но пожар погасили соседние жители и он в основном целый. Писатели — наши военные, — побывавшие первыми в Киеве, говорили, что и моя квартира была подожжена, конечно, абсолютно пуста, но цела. Я еще не представляла себе того, что потом увидела: картины разорения, руины. Я радовалась, что возвращаюсь домой, не хотела слушать, что налеты и бомбежки еще продолжаются. Мы еще возвращались в войну. Я пришла попрощаться с самыми близкими людьми, которые так облегчили мне эти тяжелые трудные годы... Все — и Ольга Дмитриевна, и Маша с мужем — были взволнованы, печальны, но старались быть веселыми и шутить.

Мы прощались, садились, как полагается перед отъездом, снова начинались напутственные разговоры, обещания сразу обо всем написать. Уже вышли в переднюю и стояли там. Маша накинула на Ольгу Дмитриевну большую цветастую шаль.

— Прямо хоть в «русской» пройтись, — сказала она.

— А что вы думаете, я не плясала? — подморгнула

Ольга Дмитриевна и, вдруг подбоченившись, пошла кругом. Мы в такт захлопали в ладоши и запели. Я обрадовалась, что прощание кончалось весело...

Ольга Дмитриевна вдруг остановилась, потянула меня в свою комнатку и, моментально изменившись, смотря прямо в глаза, обняла и широко перекрестила.

— Ничего не значит, что мы с вами неверующие. Это мое материнское благословение.

* *

И фото было со мной. То, первое, с надписью: «Підкидній дочке с Украины». Я его сразу повесила в пустой комнате с обгоревшими стенами и черным от пожара полом.

Были коротенькие письма, открыточки, приписки к Машиным длинным и подробным.

«Сэрце! Обнимаю все семейство. Очень хочу счастья, здоровья, доброго устроения. Живу в напряженном ожидании приезда сына и решения окончательного дальнейшей судьбы семьи. Тамара хочет приехать осенью (Т. Б. Форш работала на Байкале. — *О. И.*). Я напишу, как только все выясню. А Вы, сэрце, не ревнуйте... Ейбогу, не ревнуйте! Сумно мне, и забот выше головы».

В то время ей пришлось много думать и о материальных делах. Я вспоминала, как Ольга Дмитриевна, подсчитывая свои ресурсы, говорила: «Если романы не переиздадут, я смогу прилично заработать раскрашиванием подушек, я ведь художница. Одна женщина показывала мне — великолепно зарабатывает. Нам лишь бы опять всем окрепнуть».

Мы с Машей тогда возмутились даже таким предположением и уверяли, что это невозможно, что книги ее будут издавать и переиздавать. Но мне, честное слово, нравилось, что она никогда не теряется и спокойно придумывает какой-нибудь выход, правда иногда невероятный — наподобие свердловского козла!

Все материальные, бытовые трудности для нее лично не имели значения. Вот заботы о семье, о внуках — то было другое дело. Она глубоко переживала горе, постиг-

шее Тамару, переживала за маленьких внуков... Семья была разбросана — в Москве, Свердловске, на Байкале; я очень обрадовалась, когда узнала из письма, что они уже все вместе в родном Ленинграде.

Вдруг в журнале «Звезда», как раз в месяц победы, я увидела начало романа «Михайловский замок», того романа, который Ольга Дмитриевна вынашивала в дни войны в Свердловске, для которого ходила в Москве в Историческую библиотеку. Это одно из лучших ее произведений. Роман был закончен, когда Ольге Дмитриевне было семьдесят три года!

В конце 1946 года я поехала в Ленинград: решила продолжать «Тарасові шляхи» — «Жизнь Тараса Шевченко», — и надо было поработать в ленинградских архивах.

Каждый день после архива я забегала к Форшам и делилась с Ольгой Дмитриевной всем, что прочла, о чем рассказывал мне ленинградский старый работник Центрального архива, шевченковед Николай Иванович Моренец.

Как-то вечером я пришла к Ольге Дмитриевне, стала перед ней на колени и умоляюще сложила руки:

— Успех моей работы зависит от вас.

— В чем дело? Что случилось?

— Сегодня я пережила ужасные минуты. Представьте себе, Моренец обещает мне все показать, и «отпускную» (она тогда еще не была передана в Киев), и книгу с договорами Шпряева, и обрывки обоев, на которых писал Тарас, и повести меня на чердак, где он жил, показать все дома, связанные с ним, вообще «клады» для меня. Я сижу и аж подпрыгиваю, и вдруг он спрашивает: «А что я буду иметь за это?» Я испугалась: думала, что все это будет делаться из-за пылкой любви к Украине и немножко — ради моих серых глаз. И вдруг: «Что я буду иметь за это?» Сначала я испугалась за него, ведь он показался мне таким культурным, интеллигентным стариком.

Ольга Дмитриевна насторожилась. Я уже не стояла на коленях, а умостилась на коврике и развозила дальше:

— Все-таки я спросила: «А что вы хотите иметь?» Мелькнула даже мысль: «Наверное, надо было сала

привезти». Ведь такое представление об Украине еще существует: «Сало ів, на салі спав, салом укривався».

Ольга Дмитриевна засмеялась, но ждала, что будет дальше.

— Но ведь сала я не привезла и вообще ничего не привезла, что могло бы быть хабаром. Я же не могла ожидать такого требования от старого культурного ленинградца?

— Ну не тяните, что же он вам сказал?

— Он сказал, — торжественно произнесла я: «Я вам покажу и расскажу все, что знаю, а вы мне за это достаньте «Михайловский замок» Ольги Форш. Нигде в книжных магазинах нет». Вы представляете, как у меня сразу отлегло от сердца? Но книги-то у меня нет, а ту, что вы вчера подарили мне с надписью, я, конечно, даже прочитать не дам.

— Успокойтесь, я ему подарю и даже надпишу! И не прыгайте вокруг меня. А вы правда испугались и подумали о хабаре?

— Честное слово.

Ольга Дмитриевна была явно довольна, и вся история была еще рассказана и показана за чайным семейным столом с ее же добавлениями и домыслами... Нет, годы ее не брали!

Конечно, как всегда, бывая в Ленинграде, я не могла не пойти в Эрмитаж.

— Я пойду с вами, я еще не была там после войны, — заявила Ольга Дмитриевна.

— Говорят, там сейчас сохраняются французские импрессионисты и из других музеев, вот если бы увидать! — мечтала я.

Она знала мою страсть к Моне и шутя сообщила дома:

— Оксана просит повести ее до Моневи.

Это неверно, у нас так не склоняют. Но ей это нравилось. Мне посчастливилось. Во-первых, это было наслаждение — ходить с Ольгой Дмитриевной по залам Эрмитажа. Но, кроме того, для нее специально открыли еще закрытые для посетителей комнаты, где были произведения импрессионистов.

Ольга Дмитриевна разохотилась. Вместе с нею мы пошли и в Русский музей. Сколько разговоров, сколько воспоминаний около любимых ее мастеров! Как она

знала, чувствовала живопись, скульптуру, архитектуру. Перечитывая теперь ее произведения, я слышу ее голос, ее выношенные мысли, узнаю многое из того, о чем она говорила, на что обращала мое внимание в Эрмитаже, в Русском музее, гуляя по Ленинграду. Я чувствовала ее причастной к самому творению Ленинграда, чувствовала, что ее книги — тоже неотъемлемые сокровища этого замечательного города.

Особенно много гуляли мы с ней летом 1953 года.

Среди ее фотографий есть две. За столом президиума Ольга Дмитриевна, ленинградские писатели и я с ними, на трибуне Константин Александрович Федин. На обороте надпись: «Дорогой Оксане на память о веселом юбилее — 20×4. Ольга Форш». И на втором фото, там, где выступает Владимир Николаевич Орлов, надпись: «Оксано, українське сонечко, обнимаю и люблю. Ваша Ольга Форш».

Это действительно был веселый, как ни у кого, юбилей: без единой нотки помпезной высокопарности, без единого грана скуки, чем так часто отличаются юбилеи.

Я не видела Ольгу Дмитриевну почти семь лет. Изредка коротенькие письма, чаще просто поздравления на праздники. В 1953 году вдруг получаю официальное приглашение от юбилейной комиссии. Значит, уже десять лет минуло с того уральского юбилея!

У меня как раз вышла новая книжка. С дочкой решила: могу и должна поехать — восемьдесят лет!

— Знаешь, — говорю я дочке, — я заранее настраиваюсь, что не буду близко и много с Ольгой Дмитриевной. Ей уже восемьдесят лет, это глубокая старость. Наверное, ее уже все утомляет. И около нее будет много народа, старинных друзей, ленинградцев, гораздо более близких, чем я. Мы давно не виделись. Мне довольно того, что она распорядилась, чтобы меня пригласили. Я счастлива, что поеду, буду приветствовать от Украины, а потом займусь своими делами в Пушкинском доме и не буду лезть на глаза.

Я везла адрес — привет от украинских писателей, который переплела в плахту, ну и, конечно, любимые ею «куманцы», глечики; а дочка выбрала большую закарпатскую шкатулку.

Прилетела поздно вечером. Мне был забронирован

номер в «Европейской», близко от канала Грибоедова, где тогда жила Ольга Дмитриевна. В той гостинице я останавливалась еще до войны с мужем, и, когда я снова очутилась там, меня сразу охватило какое-то удивительное настроение, будто не было всех тяжелых лет и снова я, беззаботная, в моем любимом Ленинграде. Ольге Дмитриевне было уже поздно звонить, решила позвонить утром. Вдруг телефонный звонок и знакомый бодрый «бас»:

— Оксана, сэрце, почему не прямо к нам? Все равно в гостинице разрешаю только ночевать. И завтра утром не опаздывайте к завтраку. Все с нетерпением ожидаем. А сберегли ли золото волос?

В голове у меня сразу мелькнуло легкомысленное решение — даже когда поседею, все равно, пока «бабушка» жива, буду красить.

И начался «веселый» юбилей.

Он тянулся целую неделю. Конечно, торжественный вечер в Союзе, прекрасный, интересный доклад Владимира Николаевича Орлова, исключительно теплое слово Константина Александровича Федина. На этом вечере было так много писателей, что совсем не стоит его описывать. Я только чувствовала, как все ленинградцы гордятся, что именно с ними, среди них живет и работает Ольга Дмитриевна, что, несмотря на ее восемьдесят лет, накануне юбилея вышел ее новый роман «Первенцы свободы». После доклада и выступлений все спустились вниз за товарищеский стол, и Константин Александрович, вскочив как-то совсем по-юношески на стул, объявил:

— Никому не даю слова, кроме Ираклия Андроникова. Только если кто-нибудь уверен, что скажет что-то исключительно умное, умнее, чем сказано было наверху, и осмелится состязаться с Ираклием, тогда еще подумаю.

Это было чудесно! Ираклий Луарсабович держал весь вечер — надо ли говорить, как было весело и какой стоял хохот! Но все же один человек осмелился выступить после Андроникова! Это была сама Ольга Дмитриевна. Она рассказала целую новеллу — «Как Ираклай меня обесчестил». Новелла была рассказана совсем в стиле «Декамерона».

Все были в восторге от такого восьмидесятилетнего юбиляра, и в ту минуту, когда бурно аплодировали, при-

несли известие о награждении Ольги Дмитриевны еще одним орденом Трудового Красного Знамени.

На другой день вечером отмечала семья. Тамара написала по поводу этого четверостишие, и все дети, и нежно любимая невестка Леночка, и я без конца повторяли:

Наша Кыхонька с Кавказа,
Лучше нашей Кыхи нет.
Нашей Кыхе двадцать лет,
Двадцать лет четыре раза!

Потому и на фото Ольга Дмитриевна написала: «20×4».

Ольга Дмитриевна жила тогда в небольшой для всей ее семьи квартире с общим коридором, куда выходили другие квартиры. Я пришла заранее, перепутала двери и спросила какого-то мужчину, который выносил из коридора дрова, где квартира Ольги Дмитриевны. Я почему-то обратила на него внимание — смуглый, невысокий, худощавый, с каким-то грустным, меланхолическим взглядом, углубленным во что-то далекое. И дрова он нес как будто так, между прочим, будто это его совсем не касалось и не затрудняло, хотя у него был довольно болезненный вид. Он показал мне, куда идти.

Кроме сына Дмитрия Борисовича, Тамары и Леночки были гости — Константин Александрович Федин, Иван Сергеевич Соколов-Микитов. В тот вечер было выступление у Ираклия Луарсабовича, и не все приглашенные могли прийти.

— Медведушка, милый! — радовалась Соколову-Микитову Ольга Дмитриевна и вспоминала, как Соколов-Микитов принес когда-то в Киеве, когда она работала в редакции детского журнала, свою первую рукопись. Он и правда был похож на большого добродушного медведя.

Мы уже собирались сесть за стол, когда незаметно в дверях появился тот самый человек, которого я встретила с дровами, в том же черном старом свитере и в стоптанных туфлях.

— Мишенька, родной мой, дорогой! Как я рада, что ты пришел! — обняла его с необыкновенной нежностью Ольга Дмитриевна.

А он, меланхолически улыбаясь, с какой-то застенчи-

востью и простотой протянул подарок — старинные монеты. В нем были одновременно и застенчивость и чувство собственного достоинства.

— Кто это такой? — спросила я тихо Тамару.

— Разве вы не знаете? Михаил Михайлович Зощенко. Правда, очаровательный?

Он улыбнулся мне глазами, как уже знакомой, и сел рядом со мной. Мы сразу разговорились.

За столом было очень интересно. Константин Александрович рассказывал о своих первых встречах с Горьким, вспоминала о своем знакомстве и дружеской переписке с Алексеем Максимовичем и Ольга Дмитриевна. Но у меня, хотя я все слушала, не прекращался свой, отдельный разговор с Михаилом Михайловичем. Ольга Дмитриевна посматривала время от времени на нас своим лукавым глазом и, как потом выяснилось, все слышала.

— Я совсем не представляла его таким. Мне было очень интересно с ним разговаривать, — сказала я ей, когда мы делились после вечера своими впечатлениями.

— Удивительно интересный и содержательный был у вас разговор, особенно оригинально звучали его комплименты, — она повторила некоторые слова Зощенко, но совсем другим тоном и с другим выражением.

— Да ведь вы в это время со своим Медведушкой говорили, а одним глазом за мной следили? И совсем он не так и не то сказал, а говорил, что у меня такой благополучный и жизнерадостный вид, — почему же я стала писать? И как же я могу писать? Но что я в него влюбилась — это факт, и мы условились еще встретиться и обменяться книгами. Вы ведь всегда желали, чтобы я в кого-нибудь влюбилась, а теперь укоряете! — защищалась я.

— Ну, бог с вами, я рада, что он пришел и что ему было приятно. Я болею за него душой. Я рада, рада, что Костя был у него днем. Я просила об этом, чтобы он приласкал его. Я очень жалела, что Миши не было на торжественном вечере, но я понимаю, понимаю его.

Все друзья Ольги Дмитриевны меня развлекали и «угощали» Ленинградом.

Даже вышло так, что я два дня не была у Ольги Дмитриевны. Поздно вечером я колебалась — позвонить или нет, когда зазвенел телефон.

— Оксана, я все знаю. С Константином Александровичем вы бродили целую ночь.

— Но ведь он хотел показать мне, как сводят мосты, я же никогда не видела, поэтому мы и гуляли до утра.

— Целый день вы бродили с Орловым.

— Он же при вас сказал, что он непревзойденный гид по Ленинграду, и вы не возражали.

— Еще Зощенко, еще какой-то там ваш друг детства. Хватит с мужиками! Завтра мы гуляем вдвоем! На Стрелку вас кто-нибудь возил?

— Нет, и никогда там не была.

— Ну, так вот и поедем. Завтра утром являйтесь своевременно на завтрак и разработаем маршрут.

Разве не чудо наш восьмидесятилетний юбиляр!

Мы прогуляли целый день на островах, подкреплялись в ресторане, проехали катерком по Неве, долго сидели против Михайловского замка.

* *

Все писатели, которые были на втором нашем съезде, помнят, как торжественно — настоящая наша «мать-королева» — вышла Ольга Дмитриевна и от имени старейшин открыла съезд.

Потом я спрашивала:

— Все-таки вы волновались?

— Я боялась, что меня подведет голос, но вспомнила своего отца-генерала, как он командовал на парадах, и решила, что все будет как надо. А в перерыве на меня напали армяне, — добавила она не без удовольствия, — чуть не задушили. «Это в тебе, — говорят, — наша армянская кровь говорила».

Она показала мне письмо Фадеева со словами благодарности за то, что она выступила.

— Ему это не было обидно, что мне поручили открывать, если бы кому-нибудь другому, это выглядело бы совсем не так. Я потому и не отказалась. Я только отказалась, чтобы мне готовили текст. Когда предложили и уговаривали выступить, подчеркивали, что все будет приготовлено, вы только прочитайте. Я, конечно, отказалась. Что же, я, писательница, не могу сама написать?

Между прочим, она говорила, а не читала, только держала в руках листок.

Мы жили в одной гостинице «Москва». Ольга Дмитриевна приехала со своей ленинградской приятельницей, редактором издательства Маро. Сначала я немножко ревновала, а потом, как всегда бывало около Ольги Дмитриевны, мы подружились и быстро перешли на «ты». Маро иногда поручала мне: «Сегодня на утреннее заседание ты отведешь нашу мать, а я должна быть в издательстве». Она была занята изданием четырехтомника Ольги Дмитриевны и пообещала, если все наладится, обязательно это отметить. Договор был заключен, и она организовала в номере Ольги Дмитриевны вечеринку, на которую пригласили Ираклия Андроникова, грузинскую поэтессу Мариджан, Евгению Федоровну Книпович, меня с братом и еще кое-кого. Ираклий Луарсабович был в ударе, рассказывал те свои истории, которые никак не могли быть рассказаны в больших аудиториях. Мы все помирали со смеху и потом всегда при встречах друг с другом вспоминали этот вечер.

Как всегда, к Ольге Дмитриевне запросто заглядывало много старых друзей, часто заходила Анна Андреевна Ахматова.

На Третий съезд Ольга Дмитриевна уже не приезжала. Но как раз в последние годы наша связь стала особенно крепкой, мы гораздо чаще переписывались. Ее сердечные письма поддерживали в ужасном несчастье, которое меня постигло, — тяжело и неизлечимо заболела моя дочь.

Ольга Дмитриевна всегда мечтала о приезде в Киев, собиралась много раз, но все время что-то мешало: то она болела, то какие-то семейные дела. Наконец, после письменных и телефонных переговоров, взята была путевка на апрель — май 1957 года в наш Дом творчества в Ирпене.

Она хотела сначала пожить немного в Киеве. «Только не сорочьте, Оксана, — предупреждала она в письме. — Вы и Киев, больше не хочу никого видеть. Вот только до Павла (Тычины. — *О. И.*) пойдем».

Наконец мы встречаем Ольгу Дмитриевну с ее верной Маро на вокзале. Мы — это ее двоюродный брат доктор Флоринский, киевский старожил, его жена и я.

Они не виделись много лет. Несмотря на дорогу, две ночи в поезде, Ольга Дмитриевна пожелала сразу же с вокзала проехаться по Киеву, который она не видела более сорока лет.

Она узнавала и не узнавала. Конечно, кое-что оставалось неизменным, но вокруг...

— Помнишь, Оля, — волновался брат, — это же Владимирский собор, ты тут была на нашем венчании пятьдесят лет тому.

— Какой прекрасный Киев, — восхищалась Ольга Дмитриевна. — Я тут поздоровею. Я тут буду рисовать! Оксана, я каждое лето буду приезжать в Киев.

Как я узнавала свою дорогую Ольгу Дмитриевну с ее жизнелюбивыми планами! Маро остановилась у меня, а Ольгу Дмитриевну не отпустили родственники, но на последние сутки перед Ирпенем она тоже переехала ко мне. Вечером она сказала, что хочет наедине побыть с моей дочкой.

Они долго разговаривали, и мне казалось — бабушка колдует над ней. Потом дочка, растроганная, ободренная, передавала ее слова:

— Ты же помнишь этого молодого человека, — говорила ей Ольга Дмитриевна, — которого болезнь приковала к постели, а он нашел силы для творчества и написал такую изумительную книгу... Я люблю эту книгу именно за силу воли.

А мне, когда она уже возвращалась в Ленинград, прощаясь в вагоне, говорила с болью:

— Если бы я была здесь, я знаю, вдвоем мы бы больше сделали, чем все врачи и лекарства: своей силой, своей любовью. Все-таки главное в жизни — любовь. Он прав был, старик, когда сказал: «Только ею, только любовью держится и движется жизнь».

У нее самой сила воли была необыкновенная. Тогда же в Киеве она рассказывала нам, как ей незадолго перед этим оперировали глаз:

— Профессор предупредил, что, может быть, какой-то процент зрения сохранится, но цвета различать я не буду. А без операции могу совсем ослепнуть. Я согласилась на операцию. Когда уже все было приготовлено и я сидела уже в кресле, я спросила: «А кто меня будет держать?» — «Никто, — ответил профессор. — Я ведь буду оперировать глаз, и другой человек может задрожать,

а вы, вы не задрожите — это ваш глаз и от этого зависит ваше зрение». И я не задрожала. А вот теперь я вижу все, я различаю цвета. Я рисую, я снова стала много рисовать.

И о другой болезни она рассказывала, какую перенесла в эти годы. У нее была водянка, что в ее возрасте почти безнадежно.

— Представляете, лежу как гора, — рассказывала она. — И думаю сама себе: умирают же люди от инфарктов, от ТВС, от других красивых болезней, а я от этого дерьма, — она крепче выразилась, — должна умереть. Так нет же, ни за что! И даже врачи удивлялись — я выздоровела.

Последние годы она как-то особенно жаждала солнца, тепла, ей казалось — именно это продлит ей жизнь. «Приеду на кавуны», — писала она. Или: «Найдите солнечный хуторок около своей дачи». Но после 1957 года она больше не выбралась в Киев.

На последней фотографии надпись:

«Оксане! Дорогой! На счастье, здоровье, радость жизни. Ольга Форш 19 — 12/III — 60 г. Тярлево».

Тогда мы виделись в последний раз. Я приезжала в Ленинград на Шевченковскую конференцию и, конечно, поехала с Леночкой и Маро к Ольге Дмитриевне в Тярлево. Ольга Дмитриевна уже очень постарела, но всем интересовалась — моей дочкой, и сыном, и «Тарасом». Взяла с меня обещание, что я ей найду солнечное помещение на лето в Киеве, говорила, что приедет «на клубнику» и останется «на кавуны». Очень гордилась своей крошечной дачкой и велела показать мне все комнатки, закоулки и Оленькин живой уголок — своей любимой внучки «Ольги Форш младшей», студентки-биолога; настойчиво приглашала приехать к ней на дачку работать до лета, а потом вместе двинуть в Киев. Планы и планы, как всегда!

Но мы больше не увиделись. Вот только разговаривали по телефону за месяц до смерти Ольги Дмитриевны. Собственно, говорила Маро, повторяя слова Ольги Дмитриевны, лежавшей рядом: что ей очень хочется в Киев, что ей хочется солнца, чтобы я обеспечила ей путевку в санаторий в Конче Заспе, а кто поедет с нею из детей — будет жить у меня, поблизости. Я, конечно, обещала, но

по интонации Маро понимала, что этот разговор только для ее успокоения. . .

Я была далеко, в Канаде, когда умерла Ольга Дмитриевна. Потому и не смогла приехать на похороны, попрощаться.

Она осталась со мной. Вот стоят ее книги с такими сердечными надписями, и время от времени я перечитываю их — и надписи и книги. Мы словно разговариваем. Я нахожу совет и поддержку, она смотрит с портретов все понимающими глазами, и я вспоминаю ее силу воли, силу творчества, ее мужество, ее любовь к людям.

Б. Дижур

НА УРАЛЕ



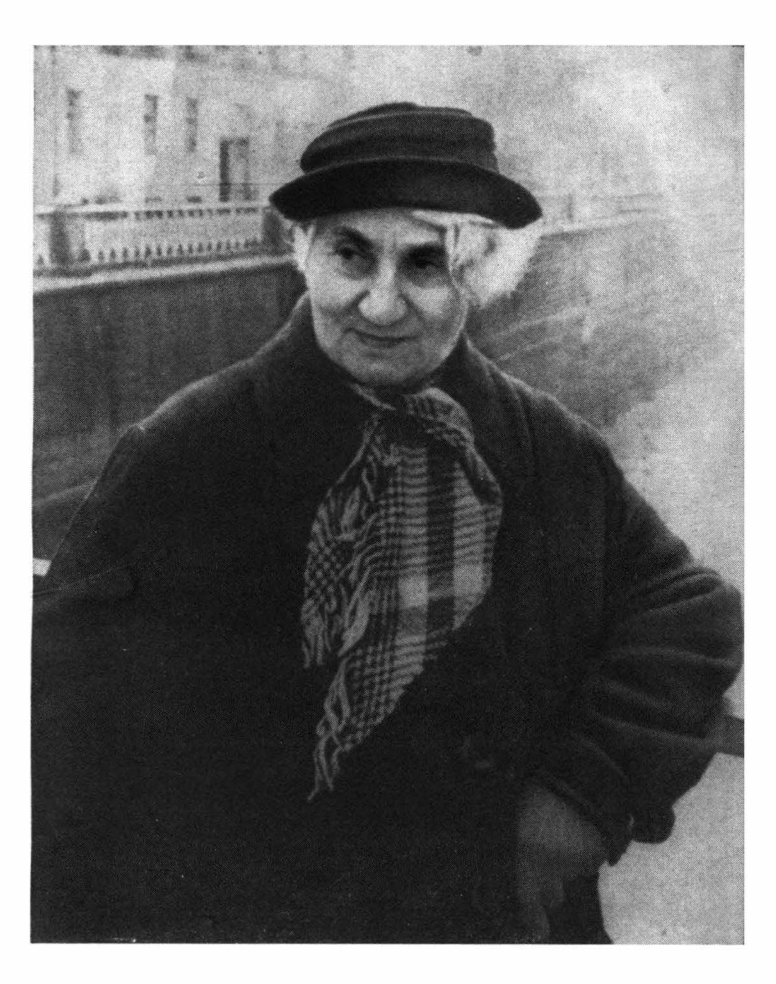
1

Есть память ума. И есть память сердца. Самая совершенная память ума у кибернетической машины. Она совершенна, как запертый склад, где на полках громоздятся консервные банки. Она бесстрастна и надежна. Память сердца хранит ценности иного порядка. И хоть само сочетание слов «память сердца» звучит достаточно банально, я, право, не знаю, как выразить свою мысль точнее? Как иначе назвать память, сохранившую не столько событие, сколько ощущение, с ним связанное?

Память сердца неизбежно субъективна. И не только потому, что одно и то же событие вызывает у разных людей разные, несхожие ощущения. Дело еще в том, что эта память обращена к внутреннему «я» вспоминающего.

Не без робости приступаю я к воспоминаниям об Ольге Дмитриевне Форш. Какие неизвестные факты ее биографии могу я сообщить? И смею ли я утверждать, что мне удалось понять ее сложный, противоречивый характер?

Ведь в памяти сохранились лишь факты из моей собственной жизни, как-либо связанные с Ольгой Дмитриевной.



О. Форш. Ленинград. 1945

Мариджан и О. Форш. Цагвери. 1935

Н. Никитин, О. Форш, Е. Шварц, Е. Полонская. Комарово. 1948

Иногда этот «факт» — всего лишь душевный разговор. А иногда и того меньше — одна фраза. Но это фраза, запомнившаяся на всю жизнь. А рядом с ней в памяти сохранились багровые клены, раскачиваемые осенним ветром, теплота и тяжесть руки Ольги Дмитриевны (она крепко держится за мое плечо) и пронзительное чувство близости, внезапно возникшее между нами: ею — прославленной писательницей и мною — тогда начинающим литератором.

...Мы возвращаемся с выступления в военном госпитале, расположенном на окраине Свердловска. Нас привез на машине начальник госпиталя. А обратно почему-то пришлось шагать пешком. Мы разговариваем (как, впрочем, и много раз до этого) о Свердловской писательской организации. В годы войны она пополнилась москвичами, ленинградцами, киевлянами.

Мне весело слушать меткие, острые и не всегда добрые характеристики, которые Ольга Дмитриевна щедро раздает знакомым ей писателям.

Путь до города долгий. Ольга Дмитриевна спрашивает о моих литературных делах. И тут я рассказываю ей, что пишу цикл стихов о Тимирязеве и что главный редактор Свердловского издательства Клавдия Васильевна Рождественская предложила мне написать очерковую книгу о плодово-ягодной станции. Я уже познакомилась с работниками станции. Один из них много лет работал у Мичурина. Он убежден, что на Урале можно выращивать отличные фрукты. Все это интересно, но я как-то побаиваюсь... Одолею ли книгу?..

— Стихи о Тимирязеве! Превосходно! — говорит Ольга Дмитриевна. — Да и от садоводов я бы на вашем месте не отказывалась... «Побаиваюсь!» Вот вздор!

Что-то озорное, лукавое появилось в ее лице. Она заговорщицки наклонила голову в мою сторону и почему-то шепотом сказала:

— Ничего, дружок, не надо бояться... Пока молоды, беритесь за все... Очерк, поэма, эссе, сценарий, ревю... Ни от чего не отказывайтесь. А к старости выберете себе одну косточку и будете ее обсасывать...

Мы уже были знакомы несколько месяцев, состояли в одной писательской бригаде по выступлениям в военных госпиталях и заводских цехах, я уже бывала в доме

у Ольги Дмитриевны, знала членов ее семьи, не одну чашку военного кофе выпила за их столом, но впервые так отчетливо почувствовала ее доброту ко мне и нежность.

2

О приезде Ольги Дмитриевны в Свердловск я узнала от поэта Константина Мурзиди. И надо сказать, что известие это очень взволновало. Вспомнился Ленинград, студенческие годы, когда я, семнадцатилетняя уральская девочка, с жадностью, на какую способны только юные провинциалы, бегала с одного литературного «мероприятия» на другое.

Кое-кто из писателей приходил к нам в институт: Алексей Толстой, Михаил Зощенко, Корней Чуковский.

Ольгу Форш и Иванова-Разумника мы, студенты, отправлялись «смотреть» в Вольную философскую ассоциацию, доживавшую последние дни.

Это было время, когда хватало задора решительно принимать одного писателя и так же решительно отвергать другого.

Ольга Форш была в числе безоговорочно принятых...

И вот теперь она здесь, в Свердловске!

Я могу ее увидеть. А может быть, когда-нибудь наберусь храбрости и познакомлюсь...

В годы войны я, начинающий литератор, редко бывала в литературной среде. Работа в заводской лаборатории, ночные дежурства на экспресс-анализах, заботы о семье не оставляли времени для праздников. А именно праздником были для меня редкие часы, когда удавалось прийти на писательское собрание, послушать обсуждение чьей-либо рукописи. Проходили эти обсуждения в те времена молодо, нелицеприятно, бурно.

Константин Мурзиди был тогда председателем поэтической секции Свердловского отделения Союза писателей. Он регулярно присылал мне открытки — приглашения на писательские собрания. И вот однажды я получила очередную открытку. На этот раз решила — вырвусь! Все дела брошу, пойду! А вдруг увижу Ольгу Форш?

Ужас и восторг гнали от меня сон в ту ночь. Ведь Мурзиди писал, что после обсуждения таких-то и таких-

то вопросов поэты будут читать стихи. Он просил и меня подготовиться. Перед кем же предстоит мне выступить? Неужели среди них будет и Ольга Форш?

Чуть свет я помчалась в лабораторию. Но покоя и здесь не нашла. Колбы и пробирки со звоном падали из рук.

Но вот наконец вечер и я в комнате, полной писателей. Здесь всего несколько знакомых лиц: Константин Мурзиди, Елена Хоринская, Ефим Ружанский, Оксана Иваненко, профессор Данилевский. Я узнаю Бажова, узнаю сидящего рядом с ним Евгения Пермяка, с которым уже знакома. Он сидит как-то странно — поджав одну ногу под себя, а другая болтается в воздухе. То ли стул очень высокий, то ли ноги у Пермяка коротки?

Я все это отмечаю, как и улыбку Бажова, легкую, быструю, только-только вспыхнувшую и тотчас спрятавшуюся в бороде.

Была ли здесь Ольга Дмитриевна — я в те минуты не знала. Вспоминая свое тогдашнее душевное состояние, думаю, что не очень различала лица и совсем не вслушивалась в речи.

Я ждала перерыва, после которого начнется главное — чтение стихов.

Когда мне предоставили слово, я обратила внимание на сидящую в первом ряду немолодую женщину, решительно направившую в мою сторону свой слуховой аппаратик.

Разумеется, это была Мариэтта Сергеевна Шагинян. Я прочла стихи о питекантропе, о карбоне, о делении клетки, о лаборатории. Все это были образы, подсказанные моей профессией химика-биолога. У меня было ощущение, что слушают меня с интересом.

Когда я закончила, Мариэтта Сергеевна задала мне несколько вопросов. А затем, повернувшись к Павлу Петровичу Бажову, сказала:

— Из ста поэтов можно сделать сто лаборантов. Но среди ста лаборантов не всегда найдется один поэт.

Она говорила о том, что меня надо приблизить к Союзу, советовала мне работать в литературе не от случая к случаю, а более профессионально.

Я вспоминаю об этом вечере так подробно потому, что он был как бы вечером моего литературного крещения. Крестной матерью для меня стала Мариэтта Сер-

геевна. Я многим ей обязана. И в частности, знакомству с Ольгой Дмитриевной Форш.

Оно состоялось позднее. На том памятном собрании ее не было. Как выяснилось позднее, она болела.

3

Теперь уже не помню, по какому делу мы с Мариэттой Сергеевной ездили в Тагил. Мы возвращались ранним утром пешком с вокзала. На горке у Дворца пионеров нам встретилась седая женщина, которая (как мне показалось, почти басом) приветствовала Мариэтту Сергеевну.

Одета она была во что-то черное, длинное, широкое, выглядела величественно, несмотря на запавшие щеки и желтое, воскового цвета, лицо.

— Знакомьтесь, Белла!— говорит Мариэтта Сергеевна. — Это Ольга Форш.

Боже мой! Ольга Форш! Да, да... я узнаю это лицо и эти летящие волосы... Они делают ее похожей на Бетховена, на один из его портретов... Хотя Бетховен ведь некрасив... А она, несмотря на морщины и худобу щек, кажется мне такой же красивой, как тогда — двадцать лет назад, когда она сидела в президиуме заседания Вольфилы, тоже в черном и с теми же летящими выразительными волосами, они и тогда были подстрижены в кружок, но не были еще такими белыми... И тот же поворот головы, и та же устремленность всего облика, и те же глаза — темные, глубокие... И теперь — накануне семидесятилетия — в них не остыл чуть насмешливый огонек...

И вот я пожимаю ее руку.

А она? Она почему-то смотрит мне на ноги и тем же басом произносит:

— Мариэтта! Взгляните на эти ножки-крошки!

Мариэтта Сергеевна улыбается, а я смущена до крайности, обижена несоответствием услышанного с ощущением торжественности этого момента.

Шутка ли! Я познакомилась с Ольгой Форш...

Позднее, когда мы сблизились, я призналась Ольге Дмитриевне в том, что была удивлена неуместностью этих «ножек-крошек» во время нашего знакомства.

— Да? — серьезно переспросила она. — Но вы были как-то странно обуты...

«Странно»! Еще бы! Идет война. Теплой обуви нет. Вот и ношу суконные тапочки, а поверх них детские мелкие галоши.

4

Площадь, на которой мы с Ольгой Дмитриевной познакомились, не только самая высокая точка Свердловска. Это один из красивейших уголков нашего города.

Старинная церковь, стоящая в глубине площади, чугунные лягушки фонтана, расположенного впереди церкви, строгая колоннада бывшего харитоновского дома (нынешнего Дворца пионеров), сбегающие с горки пристройки, гранитные ступени, узорные решетки — все это единый архитектурный ансамбль.

За последние годы площадь изменилась. Ее неповторимое лицо исказилось. Заслонив и церковь, и лягушечий фонтан, вырос монумент. К сожалению, монумент выполнен без должного мастерства и вкуса. Кроме монумента появился здесь еще многоэтажный дом-коробка. Площадь стала тесной.

Но в те военные времена она была просторной и прекрасной. Для меня эта площадь неизменно связана с воспоминаниями об Ольге Дмитриевне. Мы часто здесь вместе гуляли.

Отсюда как-то особенно хорошо было смотреть на небо, на тянущиеся к нему заводские дымы. При закате солнца они были лиловыми, багровыми, золотистыми. Они тревожно застилали горизонт. И хотя мы знали: Свердловск — далекий тыл, — трудно было освободиться от чувства, что война и здесь, рядом — в грохочущих по ночам танках, выходящих из заводских ворот, в этих неистовых клубах дыма, в наших статьях, стихах, просто в сердцах.

Мы не раз об этом говорили.

— А как подвигается ваш «Тимирязев»? — спросила в одну из наших прогулок Ольга Дмитриевна.

Я прочла ей кое-что из написанного. Там были такие строчки: «И встала в рост передо мной листа живая сила — питают солнцем шар земной крупинки хлорофилла...» И еще такие (о столетии со дня рождения Тимиря-

зева): «Шел сорок третий, трудный год, сто лет с его рожденья. Кому, скажи, на ум придет забота о растеньях? Когда кругом война, война всю жизнь заполонила... Кому, скажи, теперь видна крупинка хлорофилла?»

— Мне это нравится... — сказала Ольга Дмитриевна. — Особенно: «питают солнцем шар земной крупинки хлорофилла». Это точно и поэтично. А в тех строчках, где вы говорите: «Кому, скажи, на ум придет забота о растеньях», — вы просто неправы! Вот именно теперь, «когда кругом война», когда она «заполонила всю жизнь», забота о хлебных посевах, огородах и садах умножилась. Армии, народу нужен хлеб, нужна картошка...

Долго в тот вечер мы говорили на эту тему. Ольга Дмитриевна рассказала мне о работах своего двоюродного брата, ботаника, академика Комарова.

— Владимир Леонтьевич?! Это ваш брат? — обрадовалась я. — Да ведь он у нас в институте читал лекции... Я ему экзамен сдавала...

Почти мистическим казалось мне чудесное стечение обстоятельств...

Профессор, у которого я училась, — брат Ольги Дмитриевны... Мои стихи о Тимирязеве она одобрила... И конечно же, она права, говоря, что во время войны забота о растениях еще больше... Вот и мои садоводы...

5

Умение слушать собеседника — дар, которым обладает далеко не каждый. Иной слушает вежливо, но равнодушно, а иной и вовсе не слушает, торопясь вставить реплику, задать вопрос, а то и бесцеремонно прервать говорящего.

Ольга Дмитриевна удивительно хорошо слушала. Не было при этом ни нарочитой вежливости, ни равнодушия. Я сказала бы, что она умела слушать активно. Причем внешне эта активность почти не проявлялась. Склонит голову, улыбнется, брови поднимет, а иной раз положит свою уже немолодую руку на твои дрожащие от волнения пальцы и... все ясно! Тебя поняли. И слов никаких не надо.

Не проходило ни одной встречи, чтоб Ольга Дмитри-

евна не спросила меня, получаю ли с фронта письма от сына.

Вспоминали мы с ней Ленинград; оказалось, что у нас есть там одни и те же любимые улицы... Мы вспоминали даже отдельные дома на тех улицах...

Я как-то рассказала Ольге Дмитриевне о том, что в студенческие годы была знакома и даже дружила с хранителем буддийского храма.

Его история очень заинтересовала Ольгу Дмитриевну. Этот человек по происхождению финн, сын богатых крестьян. В юности увлекся буддизмом, уехал в Индию и стал буддийским монахом. При поступлении в монастырь он дал обет совершить подвиг, какой от него потребуется.

Однажды его вызвал к себе настоятель монастыря и сказал, что пришло время совершить обещанный подвиг. Нужен именно он, так как он знает русский язык. Дело в том, что буддийский храм, построенный в свое время в царском еще Петербурге, разграблен «невежественными христианами». А в этом уникальном здании (нигде в Европе нет буддийских храмов!) хранились редчайшие старинные санскритские рукописи, старинные священные сосуды и многое другое. Бывший хранитель храма — дряхлый человек, испугавшийся «грабителей», — убежал. Требуется ехать в Россию и заменить убежавшего.

Я упускаю здесь многие детали, которые особенно веселили Ольгу Дмитриевну: и о том, как мы — группа студентов — в одну из ленинградских белых ночей пытались проникнуть в буддийский храм, и о внешности рыжебородого хранителя, чей длинный оранжевый балахон и остроконечная шапка выглядели оперным костюмом, и о том, как возникла наша дружба...

Рассказ обо всем этом увел бы далеко в сторону. И дело сейчас не в этих деталях. Дело в отношении к ним Ольги Дмитриевны.

Выслушав не прерывая, она строго спросила:

— А вы все это записали?

Мой отрицательный ответ возмутил ее. Она отчитывала меня за «бесхозяйское отношение к жизненным впечатлениям», говорила, что только по молодости лет можно было не ценить «идущий в руки» материал. И не хотела слушать никаких оправданий.

Она не забыла об этом и уехав из Свердловска. Через год мы встретились в Москве. Она снова спросила:

— А о буддийском монахе вы так и не написали?

6

В 1943 году Свердкогиз (так тогда называлось Свердловское книжное издательство) подготовил к изданию мою первую книжку стихов.

Рукопись получила несколько положительных рецензий, была набрана, но... света не увидела. И вспоминаю я об этом не для того, чтоб бередить давно зажившую рану. Дело в том, что та несостоявшаяся книжка была поводом для Ольги Дмитриевны Форш и Мариэтты Сергеевны Шагинян рекомендовать меня в члены Союза писателей. Воспользоваться тогда их рекомендациями, поскольку книга не вышла, мне не пришлось, и членом Союза я стала значительно позднее.

Но в одной из папок архива Свердловской писательской организации хранятся две дорогие моему сердцу пожелтевшие бумажки.

В рекомендации Ольги Дмитриевны есть такие слова:

«В наши дни великого трудового подъема особенно ценно сопровождение всякого труда его углубленным и поэтическим освещением. Книга стихов Б. Дижур на это требование отвечает лучшими из своих стихотворений (цикл «Зеленое зерно»). Автор протягивает линию непрестанного творческого роста от нашего доисторического предка (стих. «Питекантроп») до «Внучат далеких» того дня, когда везде и навсегда прекратится война и насилие. Автор утверждает «Свет познания» как великую, могучую воспитательную силу».

Эти строки написаны почти тридцать лет назад. Я перечитываю их с естественным чувством благодарности. Мне, человеку, едва вступавшему в литературу, конечно же была очень дорога поддержка опытного мастера.

Но теперь я, кроме того, с возросшим уважением думаю о той убежденности и последовательности, с которой Ольга Дмитриевна высказывалась за союз науки и поэзии.

Наука наших дней вторгается в жизнь очень активно. Это и атомные взрывы, и космические полеты, оживление

людей, оказавшихся в состоянии клинической смерти, открытие несметных запасов нефти, новости генетики, обучающиеся электросчетные машины и многое-многое другое.

Все это имеет самое непосредственное отношение к каждому из нас, какой-либо стороной касается нашего быта, нашего здоровья, наконец нашей работы.

Факты науки не могли не найти отражения в литературе. Вновь возродился (древний, как сама литература, но на некоторое время позабытый) жанр научно-художественной книги. Материал науки, как и всякий другой жизненный материал, проник в стихи, поэмы, драматургические произведения.

Тридцать лет назад позицию Ольги Дмитриевны разделяли очень немногие из писателей. Большинство полагало, что наука и поэзия навечно причислены к разным ведомствам и союз их противоестествен.

7

Май 1943 года был, как это часто случается на Урале, пасмурным. После ясных, по-весеннему теплых дней апреля вдруг выпал снег с дождем, на наш город обрушились холодные потоки воздуха.

Небо и улицы, дома и лица людей окрасились в какой-то неопределенный землистый цвет.

Таким запомнился мне канун семидесятилетнего юбилея Ольги Дмитриевны. Задолго до мая Павел Петрович Бажов повел атаку на Ольгу Дмитриевну. Он говорил, что дата эта не «шутейная», что семидесятилетие известного советского писателя должно быть отмечено как большое общественное событие.

Но Ольга Дмитриевна оставалась непреклонной. Она сердито возражала против банкета: «Стыдитесь! Людям есть нечего, а вы... банкеты». Она просила «освободить ее от шумихи» и дать ей возможность «распорядиться своим днем рождения по собственному разумению».

Как же он прошел? Никакого большого общественного чествования не было. Может быть, в течение дня кто-нибудь и приходил поздравить Ольгу Дмитриевну, об этом я не знаю. Но мы с Оксаной Иваненко были приглашены к вечеру.

Не помню уж, каким чудом нам удалось раздобыть цветы. Помню лишь, что это были гиацинты. Нежные, сиренево-розовые, они, как прозрачные восковые свечи, сияли в серых майских сумерках.

Мы несли цветы и, наверное, очень громко им радовались. Прохожие смотрели нам вслед. Кое-кто озлобленно: «Вот бездельницы! Война, а им цветочки да хаханьки!» Но чаще нас останавливали восхищенными восклицаниями: «Какая прелесть! Откуда?»

Когда мы, озябшие и счастливые, ворвались в комнату к Ольге Дмитриевне, там уже был Павел Петрович Бажов. Не могу никак вспомнить, был ли еще кто-либо из чужих. Помнится мне, что кроме членов семьи и Павла Петровича за столом сидел незнакомый мне мужчина. Как потом я поняла, ученый — друг Георгия Николаевича Порай-Кошиц (отца Лены — снохи Ольги Дмитриевны).

Жена Георгия Николаевича — Ольга Александровна, высокая, всегда озабоченная труженица, на чьих плечах лежала вся тяжесть военного быта, на этот раз была оживлена. Она усадила нас с Оксаной за стол, налила по чашке кофе и, пододвинув тарелку с черными бутербродами, приказала:

— Грейтесь! Кофе горячий.

В тот вечер я не призналась, что кроме цветов есть у меня для Ольги Дмитриевны еще один подарок... Но добыла я этот подарок незаконно... Как же расскажешь... А отдай — и начнутся расспросы...

Лишь спустя несколько дней я отдала Ольге Дмитриевне потрепанный сборник ее рассказов «Под куполом».

Она не раз жаловалась, что ни в Ленинграде, ни здесь, в Свердловске, у нее нет ни одного экземпляра этой книги.

А мне удивительно повезло. Еще в апреле по командировке газеты «Уральский рабочий» я ездила в Серов. В ожидании обратного поезда на Свердловск зашла в читальный зал вокзала. (Да! Да! На удивление всем, в военные годы такой при серовском вокзале существовал!)

Здесь было тепло, уютно, светло, много читающих. Я подошла к стойке, за которой миловидная девушка выдавала книги. И тут мне бросилась в глаза сиротливо стоящая на полке за спиной девушки книга в серой суперобложке с надписью: «Ольга Форш. Под куполом».

Стоит ли рассказывать, как я взяла эту книгу, как по-воровски через какое-то время подсунула девушке вместо нее другую, оказавшуюся в моей сумке. Как одеревенели мои ноги, пока я шла через весь зал к двери, ожидая, что меня вот-вот окликнут...

А больше всего я опасалась, что Ольга Дмитриевна будет шокирована этой, попросту говоря, кражей и откажется от подарка.

Но все произошло не так. Она посмеялась, когда я в лицах представила ей всю сцену моего преступления. Обозвала меня «юной правонарушительницей». Но тут же в утешение добавила: «На Руси это принято. Кто носовой платок украл — тот вор. А кто книгу зачитал — тот книголюб».

Вместе с книгой я передала ей стихи, написанные к ее юбилею.

8

В 1944 году мы встретились в Москве. Ольге Дмитриевне предстояло возвращение в Ленинград, она была взволнована, возбуждена, не переставала говорить об оставшихся в Свердловске внуках.

С меня было взято слово, что я помогу им достать билеты на поезд, провожу их и помогу во время посадки.

В те годы все это было не менее сложным, чем в наши дни полет на Луну.

— А теперь мы с вами пойдем покупать гостинцы! — торжественно сказала Ольга Дмитриевна.

Где находился магазин, куда привела меня Ольга Дмитриевна, сказать не могу. Помню лишь, как поразило меня его сказочное великолепие. Это был один из первых гастрономов. Их называли «коммерческими», и цены здесь были астрономические. Наверное, поэтому в магазине слонялось больше любопытствующих, нежели покупающих.

Кроме денег в магазине требовались еще особые талоны, дававшие право тратить здесь деньги. У Ольги Дмитриевны оказалось несколько этих драгоценных документиков. Она подала их продавщице и взамен получила три шоколадки.

— Две увезите моим внучатам, — сказала Ольга Дмитриевна, передавая шоколадки мне, — а это вам...

Московская встреча наша оказалась последней.

Разъехались из Свердловска приезжие писатели и их семьи. Отправили мы и внуков Ольги Дмитриевны. Связи оказались нарушенными. Переписка не налаживалась.

Но вот прошло около года после окончания войны. И я получила письмо, которое начиналось такими словами: «Вы меня не знаете, но из дальнейшего выяснится, почему я Вам пишу». Письмо оказалось от поэта Всеволода Рождественского. Написанное мелким, изящным почерком, оно принесло мне большую радость.

Вс. А. Рождественский сообщал, что, приняв поэтический отдел журнала «Ленинград», он занялся «раскопками» ящиков редакторского стола и обнаружил там разрозненные странички со стихами, заинтересовавшими его. По шрифту машинки и качеству бумаги он подобрал еще несколько листочков. Фамилии автора стихов нигде не увидел. Но на одной из страничек было написано: «Передано О. Д. Форш».

Позвонив ей, он узнал мой адрес и вот пишет мне.

Стихи эти, видимо, были из тетради, давно подаренной мною Ольге Дмитриевне. Никогда никакого разговора о том, что она их предложит для печати, у нас не было. Между тем, оказывается, она по собственной инициативе это сделала, ничего не сообщив мне. Не знаю, сколько времени лежали стихи в ящике до «раскопок», произведенных Всеволодом Александровичем. Так же как неизвестно, увидели бы они свет, если б не его внимательный глаз. Через некоторое время журнал «Ленинград» опубликовал их.

Если б мне предложили всего лишь двумя словами охарактеризовать главное, что запомнилось в Ольге Дмитриевне, я не задумываясь бы сказала: последовательная доброта.

Именно такой она была ко мне. И думаю, такою помнят ее и другие.

М. Яльцева

ОТЗЫВЧИВОСТЬ



Знакомство мое с семейством Форш началось далеко от Ленинграда — в Сибири, во время эвакуации. Здесь я впервые познакомилась с дочкой Ольги Дмитриевны — Тамарой Борисовной Форш, или просто «Том». Том работала у известного лимнолога профессора Верещагина в качестве гидрохимика. И жила на лимнологической станции в селе Лиственничном у истоков реки Ангары на озере Байкал. С этих байкальских дней началась моя длительная дружба с Том. Мы жили с мужем, художником Андреем Капустиным, в Иркутске, и Том часто приезжала к нам. Все мы трое были влюблены в Байкал и летом совершали дальние поездки по этому удивительному озеру. Но вскоре скончался мой муж и наш тройственный союз был разрушен.

В это тяжелое для меня время Ольга Дмитриевна взяла меня под свой «контроль», приютила меня в своем доме и в своем сердце. Мое отчаяние тронуло ее, и она старалась держать меня подле себя, была терпелива, добра и даже нежна. Она заставляла меня рисовать и показывать ей свои работы, и за работой я как-то отошла.

Вспоминаю ее квартиру на канале Грибоедова. Здесь, в так называемой писательской надстройке, жила она, сын Дима со своей семьей и дочка Том со своим сыном Вовой.

Комната Ольги Дмитриевны состояла из двух помещений: из большой комнаты и маленького коридорчика, который Ольга Дмитриевна называла «предбанником». В стене, разделявшей оба помещения, было под потолком отверстие — как бы ниша, в которой стояли русские игрушки. Под нишей находилась тахта, покрытая клетчатой украинской плахтой. Здесь Ольга Дмитриевна спала. В комнате стояли два круглых стола, на которых были разложены нужные книги. За столами Ольга Дмитриевна работала, а на столике возле тахты тоже лежали книги, которые, видимо, она просматривала, когда ложилась спать. Еще в комнате было маленькое бюро с закрывающей полки ребристой крышкой. Вот и вся обстановка ее рабочей и одновременно жилой комнаты. Над тахтой висели на стене дорогие гравюры. Одну из них я помню: это была «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Позже, к великой моей радости, над тахтой были повешены и мои рисунки, которые отобрала Ольга Дмитриевна при очередном просмотре моих работ...

Каким образом Ольга Дмитриевна выкраивала для меня свое время? Этого я до сих пор не понимаю. Она очень много работала и тем не менее находила время выслушать мои последние новости и даже просмотреть мои новые работы, чтобы подбодрить и поддержать меня. Я частенько слышала: «Машка, посиди тихо», «Машка, не мешай». «Машка, уймись» и так далее. Но она не гнала меня, а, наоборот, удерживала: заставляла рассказывать обо всем, что происходило в моем поле зрения, и, видимо, улавливала что-то важное и интересное для себя из моей беспорядочной болтовни. Так продолжалось несколько лет.

В 1954 году Ольга Дмитриевна переехала на новую квартиру, и я из-за перегруженности работой уже не могла так часто посещать ее.

Но зато, когда у Ольги Дмитриевны появилась дача в Тярлеве (вероятно, в 1958—1959 годах), я стала очень часто ездить к ней на дачу. С каким нетерпением я, сойдя с поезда, бежала через поле по дорожке в ее домик в Тярлеве. Я полюбила ее маленький домик-дворец. Как

сумела она сделать очаровательную усадьбу, сказочный уголок из обыкновенного маленького домика на крохотном участке! Около нее никогда не было богатства, но всегда была красота. Весь дом был окружен цветами, оставались только узенькие тропинки, все остальное пространство было в зелени. Ольга Дмитриевна любила цветы, подбирала сорта, сама гармонически рассаживала их.

Ольга Дмитриевна в молодости искала выражение своей одаренности в живописи и даже серьезно училась, готовясь стать художником, но что-то помешало ей осуществить свое намерение.

В старости выяснилось, что ей нужно делать обычную глазную операцию снятия катаракты и удаления хрусталика. Только после операции она вдруг получила возможность видеть цвет. Вероятно, она удивилась увиденному и сказала себе: «Ах, вот каков мир» — и решила попробовать выразить свои новые ощущения на бумаге. Она с упоением стала работать над цветом. Но делать рисунки больших размеров ей не позволяли больные руки. И она стала делать небольшие рисунки цветными карандашами, и в первую очередь, конечно, свои любимые цветы. Видимо, она как-то по-новому увидела этот мир, этот очаровательный цветной мир, и с упоением старалась передать свои новые ощущения, новое видение. Этой любовью к изобразительному искусству и объясняется ее желание писать во что бы то ни стало. Этим волнением к цвету и объясняется ее любовь к цветам и к изображению цветов.

Она буквально окружала себя цветами и наслаждалась их богатством в своем маленьком садике. Этим же, как видно, объясняется и ее дружеское отношение ко мне. Мы очень много говорили с Ольгой Дмитриевной об искусстве. И она буквально толкала меня, заставляла работать.

Работала Ольга Дмитриевна очень много и писала — не обращая внимания на окружающих ее детей и внуков, на жизнь, которая кружилась около нее, на меня, которая писала ее. Эта жизнь, окружающая ее, видимо, питала ее, и никогда не было такого ощущения, что она утомилась от нас.

Окончив свою очередную работу, я бежала стремительно из Ленинграда в Тярлево. Как меня тянуло увидеть Ольгу Дмитриевну и обо всем рассказать ей! Она

понимала меня с полуслова. Побыв у нее день или два, я получала зарядку на какой-то кусок ленинградской жизни. И потом снова тянулась — туда, в Тярлево. . .

Иногда я сидела в писательской среде за круглым столиком. Слушала сверкающую остроумием беседу. Ольга Дмитриевна воодушевлялась, острила и была необыкновенно интересна. Я видела уважение писателей к Ольге Дмитриевне. Приезжая к ней, я старалась писать, что ей хотелось. Она любила, когда я у нее писала, и особенно когда я писала ее цветы.

Так написаны натюрморты «Розовые цветы», «Красные цветы». Она охотно позировала мне, но не теряла при этом времени. В это время она читала. Так написаны этюды «Ольга Дмитриевна на террасе» и «Ольга Дмитриевна за чтением в комнате». Меня поражало, как в этом ничтожном домике помещались все. И никто ни с кем не ссорился.

Ольга Дмитриевна всех любила, всех понимала и была необыкновенно терпелива и внимательна ко всему люду. Внуки звали ее Кыха.

Однажды Кыхе вдруг захотелось украсить маленькую комнату, в которой я спала, когда приезжала к ней. Ее фантазия разыгралась. Она сама, своими руками выкрасила деревянную, маленькую, почти игрушечную мебель в ярко-красный, голубой и синий цвета. Повесила великолепную занавеску. В большой кувшин собрала букет, не пожалев любимых своих цветов, и поставила его на столик в углу комнатки. И, как мне передавала потом Том, пришла в восторг от сделанного и от вида комнаты. Похозяйски все осмотрев, она сказала:

— Вот теперь пусть Машка приезжает и пишет.

Я, приехав, была поражена живописностью комнаты и сказала, что не имею права входить в комнату, пока не напишу ее. Так я и сделала. Я писала с упоением целый день, и появился этюд «Комната в Тярлеве». Кыха была довольна. Ну как было не любить Кыху и не покоряться ее затеям!

Когда Ольга Дмитриевна была больна, очень больна и, наверное, очень страдала, я не слышала от нее жалоб и не знала, не подозревала, что скоро ее не станет. Ведь она даже и старой-то никогда не была. Всегда я видела ее бодрой, остроумной, всегда внимательной и умной.

В. Меншуткин

БАБУШКА

*

Ольга Дмитриевна Форш была для всех русской писательницей, зачинательницей советского исторического романа, но для меня она была в первую очередь просто бабушкой. Как все бабушки, она дарила внукам подарки на день рождения, вязала им на зиму теплые носки и рукавицы, ругала за малые и большие проступки. У меня и язык-то не поворачивается называть ее Ольгой Дмитриевной — с самого детства я называл ее бабой Кисей, очевидно в честь густых и пышных седых волос, которые она охотно позволяла гладить.

Но чем больше проходит времени и чем взрослее я становлюсь, тем яснее я начинаю понимать, что судьба наградила меня далеко не обыкновенной бабушкой. Далеко не сразу я почувствовал, как фантастически огромна и всеобъемлюще прекрасна была ее доброта. Бабушка страстно любила дарить — дарить что угодно, кому угодно, по любому поводу и без всякого повода. Она находила величайшее удовольствие в самом акте дарения. Существует семейное предание, что где-то в начале 20-х годов бабушка подарила одну и ту же юбку пяти раз-

личным женщинам почти одновременно — желание подарить, и подарить немедленно, было, очевидно, настолько сильным, что она забывала о том, что предмет уже подарен кому-то другому, который лишь по деликатности еще не унес подарка. Когда благоразумные — в отношении хранения материальных ценностей — люди пытались отговорить бабушку от неожиданных и необдуманных дарений, она говорила: «Тот, кто дарит, получает гораздо больше, чем тот, кому дарят».

Бабушка любила выражать свои мысли в форме надолго запоминающихся афоризмов. Например, когда я кончал школу и речь шла о выборе профессии, бабушка сказала:

«— Будь кем хочешь, конечно лучше художником, но только не писателем — нет в мире более неблагодарной профессии».

Внуки свято выполнили этот наказ, никто не стал писателем, все действовали в согласии с первой частью наказа и пополнили коллекцию семейных профессий дипломами ботаника, филолога и инженера.

Каждый раз, когда из печати выходила очередная бабушкина книжка и я приносил домой из издательства увесистую связку авторских экземпляров, бабушка торжественно клялась за обеденным столом: «Все, это — моя последняя книга, кончаю писать, начинаю рисовать!»

Но уже на следующий день все знали, что зреет новый, совершенно необыкновенный замысел и будет новая книга, не написать которую — просто преступление.

Герои бабушкиных романов жили в нашей квартире как люди близкие и хорошо знакомые. За обедом в полутемной столовой на канале Грибоедова мы поняли кристальную ясность ума полковника Пестеля, полюбили жизнерадостного Лунина и искренне переживали трагедию Баженова. Как выяснилось потом, бабушка рассказывала за обеденным столом совсем не то, что вошло в текст ее произведений. Это были как бы «отходы производства», выражаясь техническим языком.

«— Все равно писать не буду — хоть вам расскажу», — говорила бабушка и рассказывала такие истории, перед которыми бледнело все написанное ею.

Эти истории нельзя пересказывать, но стоит мне взглянуть на знакомые абзацы «Михайловского замка» или «Первенцев свободы» — я слышу знакомый бабуш-

кин голос, говорящий нечто гораздо большее, значительное и увлекательное, чем то, что набрано красивым типографским шрифтом.

Как-то я задал бабушке достаточно бестактный вопрос о том, что самое лучшее из написанного ею. Бабушка, которая обычно сердилась на вопросы подобного рода, на этот раз ответила коротко и определенно:

«Описание лейпцигской ярмарки в первом томе «Радищева». — И добавила: «Немцы когда-нибудь оценят эти страницы».

В круг моих домашних обязанностей входило перетаскивание многочисленных книг из библиотеки домой и обратно. Просьбу о транспортировке книг бабушка неизменно облекала в одну и ту же словесную форму: «Мнук, плюнь да сигани в публичку для старой бабки».

Читала бабушка очень много, иногда по пять и больше книг за ночь. Однажды мне надоели почти ежедневные прогулки в Публичную библиотеку, и я решил уличить бабушку в том, что она не читает приносимых мною книг. Для этого я тщательно изучил одну из пяти затребованных на ночь книг и утром с невинным видом спросил, все ли прочитано и можно ли относить обратно. Получив утвердительный ответ, я начал экзаменовать бабушку по предварительно изученной мною работе. Велико было мое изумление, когда я убедился, что она помнит не только все даты и фамилии, встречающиеся в этой скучнейшей исторической монографии, но и даже опечатки, которые вклеены в конце книги на отдельном листочке.

Сам процесс чтения у бабушки был несколько необычен. Дело в том, что после снятия катаракт с обоих глаз ей были прописаны для чтения очки с необыкновенно толстыми стеклами. Однако бабушка приспособилась читать без всяких очков, каким-то особым образом располагая книгу возле самого лица и почти прижимаясь щекой к странице. Профессор-хирург, который делал бабушке операцию, усомнился в возможности такого чтения. Тогда бабушка пригласила профессора к нам домой на чашку кофе и продемонстрировала беглое чтение без помощи всякой оптики. Профессор совершенно спокойно и твердо сказал, что такого быть не может, поскольку это противоречит научным данным. Никакая повторная демонстрация чтения без очков профессора не убедила, и

он удалился непоколебленный в своих убеждениях. Бабушка была восхищена стойкостью профессора по отношению к фактам, продолжала читать без очков и охотно рассказывала о случившемся, дабы посрамить медицину.

Бабушка была твердо уверена в том, что возбудить в своих внуках любовь или хотя бы уважение к литературе можно только при помощи самой литературы. Она глубоко презирала всевозможные школьные разборы образов положительных и отрицательных героев, а наилучшим средством приобщения к литературе считала чтение вслух. В тяжелую зиму 1942 года, при свете коптилки или лампочки от карманного фонаря, она прочла нам весь «Собор Парижской богоматери» и «Человек, который смеется». Временами бабушка прерывала свое неторопливое, выразительное чтение и говорила: «Какой мерзкий перевод, послушайте, как это должно звучать по-настоящему» — и переходила на французский язык. Звучало действительно очень хорошо, но совершенно непонятно.

Вообще требования к качеству литературного перевода у бабушки были крайне высоки. Во время представления «Сирано де Бержерака» она довольно шумно выражала свое возмущение стихами Щепкиной-Куперник:

«Под такие стихи не то что фехтовать, но и дышать-то нормально невозможно».

После спектакля бабушка показала нам, как в изящных и чеканных строфах Ростана слышатся удары шпаги Сирано и как неизбежен роковой исход поединка, во время которого он сочиняет свою балладу. Я до сих пор не могу понять, как толстая восьмидесятилетняя старуха изобразила сцену дуэли, но готов поклясться на чем угодно, что она действительно не только читала великолепные французские стихи, но и показала все, что делал молодой, гибкий и необузданный гасконец.

Каждый поход с бабушкой в театр всегда сулил что-то новое, запоминающееся, даже если пьеса была хорошо знакома. Например, когда в «Норе», в постановке театра Ленсовета, молодая и красивая Короткевич великолепно танцевала тарантеллу, бабушка была искренне возмущена:

— Куда только смотрела Бромлейша, — имелась в виду Надежда Николаевна Бромлей, с которой бабушка

была связана многолетней дружбой, — здесь Нора должна плясать из рук вон плохо, ей не до танцев, вот Комиссаржевская в свое время танцевала плохо и правильно делала.

Интерес к стихам бабушка привила мне весьма своеобразным способом. Дело в том, что с самого раннего возраста я обладал ярко выраженным инженерным складом ума и с детским максимализмом презирал всякий иной род деятельности, кроме технической. Бабушка сказала как-то, что уж если я так интересуюсь техникой, то она прочитает мне стихи на сугубо техническую тему, а именно описание и разбор причин авиационной катастрофы. . . и прочитала «Авиатора» Блока. Я многое сразу не понял в этом коротком стихотворении, кое-что для меня неясно и до сих пор, но этим «описанием авиационной катастрофы» бабушка открыла для меня целый новый мир.

С бабушкой было очень интересно ходить по городу — историю и архитектуру Ленинграда она знала в совершенстве. Однако отвечать на прямые вопросы, где, когда, кто и почему построил, бабушка не любила и почитала подобные диалоги уделом усталых и замученных экскурсоводов. Для того чтобы послушать из бабушкиных уст интереснейшую лекцию об архитектуре Ленинграда, я изобрел несложный трюк, который почти всегда действовал безотказно. Проходя мимо дома, построенного на основании пошлого смешения всевозможных стилей, я начинал притворно восхвалять архитектурные достоинства этого здания.

— Фу, мнук, какой у тебя дурной вкус! — восклицала бабушка и принимала все меры к исправлению моего дурного вкуса — увлекательным рассказом и показом в натуре действительных шедевров.

Иногда бабушка так увлекалась, что первоначальная цель похода по городу начисто забывалась и маршрут резко менялся.

Бабушка обладала мужеством и самообладанием в степени, мало свойственной ее полу и возрасту. Однажды она случайно проткнула насквозь стальным вязальным крючком мякоть ладони между большим и указательным пальцем левой руки. Вытащить крючок обратно было невозможно, и я предложил откусить кусачками верхнюю часть крючка.

— Это мой единственный и любимый крючок, — запротестовала бабушка, спокойно взяла бритву и разрезала себе ладонь, чтобы вытащить крючок в целости.

Я был поражен не столько видом крови и разрезанной руки, сколько ясностью и целеустремленностью действий моей бабушки.

Самообладание не покидало бабушку в самые критические минуты. Осенью 1941 года, во время эвакуации из Ленинграда, наш эшелон на подходе к Волхову обстреляли немецкие самолеты. Уже появились первые раненые, и кое-кто из писателей и музыкантов (а эшелон был наполнен ленинградцами этих профессий и их семьями) начал паниковать, когда вдруг на томительное ожидание следующего захода «мессершмитта» наш вагон ответил взрывом хохота. Когда из других вагонов прибежали испуганные люди узнать, что же случилось, то оказалось, что бабушка громогласно рассказывает, как только что жена одного из музыкантов полезла под скамейку, но столкнулась там со своим мужем.

— Дорогая, мне очень щекотно, отодвинься, пожалуйста, — сказал достаточно известный музыкант.

Мгновенно созданный на глазах у всех анекдот быстро распространился по всему эшелону. Впереди были еще бомбежки и обстрелы, но самое страшное, что может быть в куче безоружных женщин, детей и стариков — паника была окончательно побеждена рожденным вовремя незатейливым анекдотом.

Осенью 1952 года я, уже будучи студентом Кораблестроительного института, возвращался на мотоцикле из Крыма, где проводил свой отпуск. Под Новгородом возле шоссе рвали оставшиеся после войны мины и неразорвавшиеся снаряды, поэтому я задержался и приехал в Тярлево, где жила бабушка, около двух часов ночи. Чтобы не будить соседей, я заглушил двигатель еще на дороге и бесшумно подъехал к маленькому бабушкиному домику. Обнаружив, что входная дверь заперта не на крючок, а на врезной замок, я сделал несколько поспешный вывод о том, что дома никого нет и все уехали в Ленинград. Ночевать в гараже или ехать дальше в город не входило в мои планы, поэтому я достал из инструментального ящика мотоцикла отвертку и молоток и начал взламывать окно, дабы с минимальным материальным ущербом обеспечить себе комфортабельный ночлег. Но

вдруг между ударами молотка я услышал внутри дома какое-то шевеление. Я подал голос и громко назвал себя. В ответ послышался громовой голос бабушки, произносящей крепкое российское ругательство. В комнате зажегся свет, и я увидел незабываемую картину.

С одной стороны взломанного мною окна стояла бабушка с топором в руках, полная решимости насмерть поразить незваного гостя. С другой стороны стояла другая старушка, Ксения Густавовна, или пани Бобрик, как все ее звали с легкой руки бабушки, с ведром холодной воды, так как иного оружия для отражения бандитов в доме не нашлось. Весь остаток ночи бабушка ругала меня, очевидно разряжаясь таким образом от недавнего нервного напряжения. Дело усугублялось тем, что накануне обокрали соседнюю дачу, а на том окне, которое я взламывал, стояла бабушкина американская пишущая машинка, весьма ею ценимая. Примечательно в рассказанном случае то, что бабушка не стала звать на помощь соседей, которые были достаточно близко, а решила сама разделаться с вором и боялась, как бы не спугнуть его раньше времени.

Всем известна замечательная речь, которую произнесла бабушка на открытии Второго Всесоюзного съезда писателей. Гораздо меньше известно, каких трудов и какого напряжения сил потребовало произнесение этой речи. Вернувшись в Ленинград после съезда, бабушка рассказывала:

— Было очень трудно, ноги не шли, а сердце вот-вот остановится. Но ведь предки, когда надо было, зажимали рукой рану и шли вперед. — Тут бабушка с потрясающим реализмом показала, как именно зажимали предки свои раны, поднимая в атаку пехотные батальоны. — Так и я, зажала рану и пошла вперед, — закончила моя бабушка, Ольга Дмитриевна Форш, урожденная Комарова, в роду которых, начиная с времен наполеоновских войн, почти все мужчины были военными и личная храбрость считалась единственным неразменным семейным достоянием.

Так она и вошла в историю русской литературы не дряхлой старухой в поношенном домашнем халате, а идущей смело вперед, несмотря на многочисленные раны, не зажившие за всю ее долгую и нелегкую жизнь.

А. Миллер

О ЮБИЛЕЯХ



Восьмидесятилетний юбилей Ольги Дмитриевны был отмечен торжественно. Большой белый нарядный зал бывшего шереметевского особняка заполнен был до отказа. Популярность и слава ее были огромны. Ее любили. В зале сидели и стояли люди разных возрастов. Кого не волновали такие замечательные книги, как «Одеты камнем», «Радищев», «Михайловский замок», «Первенцы свободы», «Сумасшедший корабль» и многие другие! Кому они не были памятны? Не одно поколение читателей воспитывается на этих известных произведениях.

...На сцене, в большом нарядном кресле из гарнитура Павловского дворца, не сидела, а восседала юбилярша. Видная, с красиво зачесанными светлыми волосами, с крепкой не по годам осанкой, она привлекала всех величественным видом.

Много добрых слов в адрес юбилярши было сказано ленинградцами — В. Кетлинской, В. Пановой, Вл. Орловым, В. Десницким; москвичами — К. Фединым, И. Андрониковым и представителями множества организаций.

На отдельном столе быстро росла гора всевозможных подарков.

Ольга Дмитриевна своим густым басом, раскатистым заразительным смехом реагировала на остроумные речи ораторов, на шутливые подарки.

Но вот наступило восьмидесятипятилетие. Ольга Дмитриевна частенько хворала, годы брали свое, да и физически трудно было бы одолеть очередное юбилейное торжество. Специальная юбилейная комиссия, учтя эти обстоятельства, направила меня к Ольге Дмитриевне выяснить ее пожелания.

И вот я отправился к Ольге Дмитриевне. Это было летом. Она отдыхала у себя на даче под Ленинградом в деревне Тярлево. На всякий случай я захватил с собой фотокамеру.

Отыскав дачу, я отворил калитку и увидал вдали, у деревянного домика, стоявшую хозяйку дачи. Направляясь к ней, я вдруг услыхал сердитый окрик.

— Не надо... не хочу, — кричала Ольга Дмитриевна. — Ни за что... Нет, нет, и не подходите... довольно, хватит... Я уже устала...

Я остановился в полной растерянности и не мог понять и сообразить, в чем дело. А она показывала мне руками на калитку, что должно было недвусмысленно означать... Да нет, не может быть... ведь я знал гостеприимство хозяйки.

И вдруг, приблизившись, она громко расхохоталась.

— Я издали вас не узнала, — сказала Ольга Дмитриевна. — Увидев только фотоаппарат, я уже больше ничего не видела. Я решила, что это очередной фоторепортер. Я от них уже устала, они меня буквально замучили. — И, сменив, что называется, гнев на милость, она, взяв меня под руку, повела по направлению к даче.

Подойдя к веранде, я начал вглядываться в красивый пейзаж, который открылся перед моими глазами. Ольга Дмитриевна охотно начала рассказ о достопримечательностях своего «имения», много интересного поведала о Павловском парке, который расположен недалеко от деревни. В ее простом, незатейливом рассказе ощущалась трепетная любовь к природе, ко всему живому, что ее окружает.

— А ведь я уже давно не бывала в нашем писательском Доме. Кроме моего юбилея, мне запомнилась еще

встреча с молодыми воинами. Вы, наверно, помните ее? — спросила она.

Ну как я мог не помнить! Это действительно была незабываемая встреча. В гостях у писателей были асы нашей авиации. Они приехали на специальный сбор и выразили пожелание встретиться с литераторами. Здесь были Герой Советского Союза Пилютов, дважды Герои Советского Союза летчики-штурмовики Алексеенко и Кунгурцев, ветеран воздушных боев за наш город Герой Советского Союза Свитенко. В дружественной обстановке и задушевной беседе писатели и поэты — Форш, Прокофьев, Рывина, Авраменко, Флит, Дудин, Чуркин — рассказывали о своей работе, читали стихи...

Я обратил внимание на множество цветов. Цветы были всюду: в саду, на веранде, на полу, на подоконниках, на столах. Во всех комнатах цветы, цветы... Масса цветов.

— Да, я люблю всякие цветы, — заметила Ольга Дмитриевна, — и раз у вас есть фотоаппарат, то вы уж меня и сфотографируйте у цветов...

Она энергично переходила из комнаты в комнату, сама предлагала место для снимка, мне уже ни о чем не приходилось ее просить, наоборот, я только успевал щелкать затвором. Когда в самой даче все возможности были исчерпаны, мы вышли в сад, и тут она, смеясь, сказала:

— Я каждый день кручусь вот в этом уголке, то крашу скамейку, то бочки. Давайте сфотографируем меня за работой. Это будет забавно.

В углу дачи, у развесистого дерева, стояли скамейка и бочки. Ольга Дмитриевна вооружилась большой плоской кистью и приступила к работе...

У Ольги Дмитриевны было исключительно хорошее настроение. Мы присели на скамью, и она вдруг неожиданно, сдерживая смех, обратилась ко мне:

— Если вы никому не расскажете, — лукаво сказала она, — я вам сообщу прелюбопытнейшую историю. Недавно ко мне пришла группа соседей по даче, и говорят: «Очень уж мы за вас обижены». — «А что?» — спрашиваю удивленно я. «Вчера по телевизору передавали Райкина. Он и говорит: «С Толстым на дружеской ноге, с Ольгой Форш частенько выпиваю...» Мы, конечно, понимаем, у вас своя дача, вы человек известный, состоятельный и можете себе это частенько позволять... Но

мы никогда вас нетрезвой не видели... Зачем же этот Райкин неправду всенародно рассказывает? Нехорошо... Мы очень за вас обижены...» — И тут Ольга Дмитриевна еще громче расхохоталась.

Всю обратную дорогу я был неспокоен. Фотограф я был неопытный. Меня волновало, что фоторепортеры не зря «мучили» Ольгу Дмитриевну, наверняка с толком, у них все всегда получается, а я, быть может, напрасно беспокоил...

28 мая, в день рождения, вся комиссия поехала на квартиру к Ольге Дмитриевне Форш поздравить ее с восьмидесятипятилетием. Здесь были только родственники, близкие и члены комиссии — Вл. Орлов, В. Кетлинская, Д. Гранин, П. Капица, М. Дудин.

Юбилярше подарили редкую рассаду роз, ягод, цитрусов, а я вручил ей комплект фотографий, которые, к счастью, получились вполне приличными. Было произнесено много тостов, и один из них, стихотворный, прочел автор — М. Дудин, большой мастер стихотворных юмористических экспромтов:

Ольга Дмитриевна! Разум
Движет чувством или нет,
Разберемся после. Сразу
Принимайте наш привет.

Вся когорта петь готова
И свистеть, как соловьи,
От Исаака Эвентова
До Авраменко Ильи.

Всем Союзом, дружным скопом,
По порядку, не спеша,
Во главе с самим Прокопом,
Как единая душа,

Как один, без славословья,
От души, какая есть,
Все желают вам здоровья,
Расписуясь в этом здесь.

М. Довлатова

ЧЕЛОВЕК УМНОЙ ДУШИ



В 1938 году я впервые увидела Ольгу Дмитриевну Форш в стенах издательства «Художественная литература»... Разве я могла тогда знать, что скоро сотнями нитей буду связана с нею до самых последних дней ее жизни!

Мне выпало огромное счастье и честь стать ее секретарем, редактором и другом. Эта дружба, работа и просто многолетнее пребывание в обществе Ольги Дмитриевны — эпоха в моей жизни.

Писать об Ольге Дмитриевне трудно. Все связанное с нею представляется мне важным, незабываемым. «В одной Ольге Форш так много всего, что из нее можно бы выкроить несколько незаурядных человеков», — говорил Юрий Либединский.

Почти в каждом письме А. М. Горького, написанном из Сорренто в 20-х годах, мы читаем: «Талантливейший человек вы, дорогая Ольга Дмитриевна... И умница. Такая настоящая русская умница. Человек умной души... Чудеснейший вы человек, честное слово».

И действительно, в характере Ольги Дмитриевны так

разумно сочетались поэтическая созерцательность, глубокая человечность, чуткость — и озорство, ироничность, неисчерпаемый юмор. Жесткое, какое-то недоступное пониманию мужество — и детская трогательная беспомощность; набожное, умиленное восхищение красотой природы — и торопливое стремление освободиться от ее чар.

И все это — на несокрушимом фундаменте ума и таланта.

Как много планов, какие горячие мечты остались неосуществленными! Она хотела съездить в Армению и готовилась к этой поездке обдуманно, как готовятся к важному событию. Обессиленная длительной болезнью, она все-таки просила меня уведомить правление Союза писателей Армении о нашем возможном приезде... В последнюю свою весну, прикованная, как правило, к постели, она мечтала попасть в пригород Киева, на берег озера, в лес.

Однажды утром я позвонила из своей квартиры в Киев Оксане Иваненко, украинской писательнице, и предупредила, что вечером я буду звонить ей от Ольги Дмитриевны и говорить фиктивные слова о путевках в санаторий под Киевом. Но эта инсценировка должна носить достоверный характер.

Вечером я говорила с Киевом уже из квартиры Ольги Дмитриевны. Дверь в ее комнату была распахнута, аппарат стоял в двух-трех метрах от ее постели. Я настойчиво, по-деловому просила Оксану Иваненко достать путевки, говорила, что Ольге Дмитриевне стало лучше и через несколько месяцев мы непременно поедем на Украину...

Из своей комнаты, напряженно прислушиваясь, приподнявшись на подушках, Ольга Дмитриевна подсказывала:

— Обязательно на первом этаже... Лучше всего на август... Пусть Оксаночка напишет нам заранее, подробно...

Бодрым голосом я пересказывала все это Оксане и слышала, как она молча плакала в трубку...

Болезнь — длительная, мучительная — то отступала, давая короткую передышку, то снова накатывалась, отнимая у Ольги Дмитриевны последние силы. Но никогда, ни на секунду эта ужасная болезнь не посягнула на по-

разительно ясное сознание измученного старого человека.

В один из дней, когда Ольге Дмитриевне чуть полегчало, она сказала мне, что пора заняться кое-какими делами. Но смогла продиктовать мне только одно письмо — Николаю Семеновичу Тихонову, — это было последнее письмо в ее жизни.

«Дорогой Коля! Все долгие месяцы болезни и особенно в последние дни Ваша любовь и тревога очень помогли мне. Благодарю. Вы позвали меня к жизни и прибавили сил продолжать ее.

Я вернулась из Тярлева в Ленинград по Вашему совету, и здесь мне стало легче. Лечат меня хорошо. И крепнет надежда, что еще увижу Вас и обниму, как дорогого сына.

Сердечный привет милой Марусе.

Ольга Форш».

За много лет тесного общения с Ольгой Дмитриевной я ни разу не видела ее слез. Наоборот, умение шутить, проникая при этом в глубину вещей, оставалось с нею все годы, при любых, подчас очень грустных обстоятельствах... И до последних дней жизни.

В течение двух десятилетий я имела бесценную возможность слушать и наблюдать Ольгу Дмитриевну во всем богатстве ее ума, остроумия, таланта. И тайно, время от времени, вела дневник.

Далеко не полно удалось мне записать все то, что достойно светлой памяти О. Д. Форш.

Кроме очерков, в которых я пыталась показать Ольгу Дмитриевну в разные годы жизни, я вела записи с голоса, с натуры, фиксируя короткие сценки, ее мысли вслух, шутки — все, что могло дорисовать образ Ольги Дмитриевны в его удивительном человеческом обаянии...

Из записной книжки

В Ленинградском отделении Союза писателей справляли шестидесятилетие Николая Семеновича Тихонова.

Пригласительные билеты и звонки, личная просьба

Николая Семеновича, а главное — собственное желание Ольги Дмитриевны, — все привело к тому, что она, много лет не переступавшая порога Дома писателей на улице Воинова, 18, решилась на этот уже трудный для нее шаг.

— Во-первых, мое появление в Доме писателей будет рассматриваться как зловещее явление с того света. Во-вторых, я имею зуб против этого Дома: недавно мне прислали внушительного вида пригласительный билет на открытие ресторана при Доме, обещаны были танцы под джаз. На билете этом четко значилось: «О. Д. Форш. Без права передачи».

...Приехали мы в Дом им. Маяковского задолго до начала торжества. Медленно, с трудом поднялась Ольга Дмитриевна на второй этаж. Люди узнавали ее, уступали ей дорогу. Знакомые останавливались, приветствуя, радуясь встрече.

Я предложила Ольге Дмитриевне уединиться и отдохнуть до начала заседания.

Мы прошли через круглый зал, чтобы пересечь красную гостиную и посидеть в пустующем в тот вечер готическом зале.

Но в большой красной гостиной, уставленной стульями вдоль стен, сидели молодые курсанты военно-морского училища — в ослепительно белых форменках, с бескозырками в руках. Очевидно, они прибыли, чтобы приветствовать Николая Семеновича, хорошо известного в городе балтийских моряков.

Когда Ольга Дмитриевна вошла в гостиную, они встали, образовав четкое каре, и, как на параде, взяли равнение на Ольгу Дмитриевну.

Она улыбнулась, наклонила голову и прошествовала через гостиную.

Когда мы остались вдвоем, Ольга Дмитриевна шепнула мне тоном заговорщика:

— Вы поняли? Они же приняли меня за Колю Тихонова.

В Детское Село, когда Ольга Дмитриевна гостила у О. Э. Чистяковой, приехала Мариэтта Сергеевна Шагинян. Ольга Дмитриевна очень обрадовалась ей, они сидели в саду много часов и без устали говорили.

Слава, внук Павла Петровича Чистякова, сфотогра-

фировал их, а Ольга Дмитриевна своей рукой написала на обороте снимка: «Две несколько многолетних розы».

Про кого-то из деятелей Ленинградского отделения Союза писателей Ольга Дмитриевна сказала:

— Чего вы ждете от него? Он и спит-то по стойке смирно.

На книге, которую Ольга Дмитриевна подарила одной молодой грузинской писательнице, она написала строки из поэмы Шота Руставели:

Что ты спрятал — то потеряно.
Что ты отдал — то твое.

Вручая книгу, Ольга Дмитриевна сказала:

— Это хорошие слова. Но редко кто верит им.

Узнав, что ленинградская писательница и журналистка Елена Катерли вернулась из путешествия на теплоходе «Победа» с группой советских писателей, Ольга Дмитриевна пригласила ее к обеду.

Леля рассказывала много интересного с присущим ей остроумием и живостью. И между прочим, сказала:

— Мы говорили о вас на теплоходе не раз, жалели, что вы уже не в состоянии были бы пуститься в такой рейс. Мы сошлись на том, что вы — наша гордость и все мы ценим и любим вас.

Ольга Дмитриевна была очень тронута и поэтому стала шутить:

— Я с удовольствием верю вам. Спасибо за групповую любовь. Фанфары любви на большом расстоянии — это хорошо: не оглушают и ни к чему не обязывают.

Я заглянула в комнату Ольги Дмитриевны. Она сидела на своей широкой, низкой тахте вся подобранная, прибранная и напряженно слушала радио.

Не поворачивая головы, она чуть махнула рукой в сторону ближайшего к двери стула. Я тихонько присела.

Наконец она сняла наушники, все еще сохраняя на лице выражение отрешенности, и сказала:



О. Форш. Ирпень. 1956



М. Шагинян и О. Форш. Пушкин. 1953

О. Форш и И. Сельвинский. Ялта. 1957

— Второй концерт Рахманинова. Вот ведь какая трагедия. — И добавила негромко, почти с отчаянием: — И ничем, ну ничем нельзя помочь.

«...Корреспонденты постоянно задают писателям такой стереотипный и бестактный вопрос: «Как вы работаете?» Когда-то в 20-х годах я развернулась в статье «Лаборатория писателя». Но, во-первых, это была теория, во-вторых, это было для печати. Ну а если для себя, попроще, по-домашнему, как я работаю в самом деле?»

Подумала, закрыв глаза.

«По-моему, я работаю так: читаю исторические книги — мемуарную, справочную литературу, учебники и архивные фолианты. Переселяюсь в нужную мне эпоху; лично, близко, на короткую ногу знакомлюсь с облюбованными героями, которые мне нужны... Потом сажусь за пустой стол. И постепенно перед моими глазами как бы возникает экран, и на нем мне начинают показывать мой собственный новый роман... Я еле успеваю записывать...»

Я сказала Ольге Дмитриевне, что в саду Куйбышевской больницы бродит белый, застиранного вида кот, от которого густо пахнет хлоркой.

Ольге Дмитриевне понравился этот кот. Она сказала, что «покупает» его у меня за плитку шоколада. Завладев котом, она придумала ему несколько горестных биографий, серию больничных приключений и часто развлекала своих гостей байками про кота. А однажды при мне уверяла свою гостью Наталью Васильевну Толстую, что у этого кота на спине стояло черное больничное клеймо: «2 т. о.», то есть «второе терапевтическое отделение».

Эти устные рассказы сплошь да рядом возникали экспромтом, особенно если собеседник был приятен Ольге Дмитриевне.

«...Самые высокие образы мировой литературы — Дон-Кихот, Гамлет...

Если бы меня спросили, автором каких произведений я б мечтала быть, я назвала бы «Тамань», «Хаджи Мурат»...»

В Ялтинском порту Ольга Дмитриевна засмотрелась на грузчика, у которого на груди была татуировка: «last memory».[1]

— Философ, — похвалила Ольга Дмитриевна. — Среди этих татуированных часто попадаются люди с умственным излишеством, склонные к философским изречениям. Но почему, почему нужно изрекать синим цветом по живому мясу?

Искали особенного врача, из ряда вон выходящего, которого хотели пригласить в качестве консультанта. Ольге Дмитриевне надоели эти хлопоты, разговоры, поиски. Она предложила:

— А что, если Гиппократа?

— Он кто? Терапевт? — простодушно спросила пани Бобрик.

— Он отец древнегреческой медицины. Вот ему я верю.

В московском ресторане Ольга Дмитриевна отодвинула от себя тарелку с жареной курицей. Я удивилась:

— Вы жаловались, что голодны, вы же сами заказали это блюдо. . .

— Да, но она сырая. Сырая до такой степени, что ее можно назвать почти что живой курицей.

«. . .Скажут, что в «Первенцах свободы» я не учла масштаба событий, что они освещены в объеме популярной брошюры. И будут правы. Мой последыш — всего только пособие в помощь учащимся. . . Вот что получилось. А ведь какая тема! Сколько лет я лелеяла мечту о настоящей большой книге, достойной декабристов. . . Поздно спохватилась».

«. . .И у своих коллег и у себя я сплошь да рядом нахожу такой фальшивый прием, — вот хотя бы во 2-й главе моего «Радищева». . .

Радищев идет по липовой аллее, погруженный в вос-

[1] Вечная память (англ.)

поминания. Тут он вспоминает о годах дежурства во дворце — в качестве пажа. Потом я посадила Радищева на придорожный камень и заставила его вытащить из складов памяти огромные куски биографии — Пажеский корпус, дружба с Федором Ушаковым.

Далее — Радищев, пронзенный грустными воспоминаниями, вскакивает с этого придорожного камня и снова шагает по бесконечной аллее, чтобы успеть вспомнить с десяток страниц своей жизни. «Радищев шел все дальше по великолепной аллее...» И тут я заставляю его вспоминать историю со студентом Ваней Носакиным, о студенческом бунте, о встрече с молодым Гете...

Не годится такой прием. Надо было рассказать все это от автора, не пользуясь тем, что липовая аллея такая длинная и герой успеет вспомнить все, что полезно и надо знать моему читателю...»

В Дубултах Ольга Дмитриевна попросила меня принести из столовой книгу жалоб и предложений, чтобы написать пожелание — включать в меню жареные грибы.

Вырвать эту книгу из рук Ольги Дмитриевны было невозможно: она читала страницу за страницей подряд, некоторые записи читала вслух, и ее громогласное «ха!» было слышно в саду под нашим балконом.

Особенно понравилась ей такая запись:

«...В пище изредка попадаются мне мухи и лесные насекомые. 23 мая утром в рисовой каше встретился мне жук-короед. И. Склярчик».

— Наверняка детский писатель. Надо же, встретился ему жук-короед. Изредка правда... Так это же хорошо!.. А может быть, это не жалоба, а благодарность?

В Ленинградском отделении издательства «Молодая гвардия» научным редактором книги Ольги Форш «Первенцы свободы» был профессор Окунь. Мы в редакции шутя прозвали его «Форшированный окунь».

Ольга Дмитриевна оценила шутку без смеха и сказала с завистью:

— Острота высшего разряда. Жаль, что не я придумала.

В поезде Киев — Ленинград нам попалась проводница с особыми приметами: рябое, темное лицо, угрожающий, повелительный тон, даже когда она спрашивала: «Кому еще чаю?» Мокрый окурок, свисающий с нижней губы, и водочный дух, ощутимый на расстоянии...

Пассажиры смотрели на нее с удивлением, любопытством, настороженно — кто как. А один интеллигентный старичок, который всю дорогу читал «Юманите» и книжку с непонятным названием «Фенхель», — с нескрываемым испугом.

Ольгу Дмитриевну проводница явно заинтересовала.

— Такую хорошо бы порекомендовать нянечкой в детский садик, — сказала она с невинным видом.

Позже, когда поезд подходил к какой-то крупной станции, проводница загрохотала ногой в дверь уборной и закричала дурным голосом:

— Выходи-ка! А то сейчас запру!

Из уборной в панике выскочил интеллигентный старичок с недобритым лицом, и Ольга Дмитриевна сказала:

— Нет. Ее нужно сослать загребным каторжанином на галеру.

А когда мы подъезжали к Ленинграду и готовились к выходу, Ольга Дмитриевна, глядя в окно на приближающийся перрон, вдруг ни с того ни с сего пробормотала:

— Несчастнейшее существо. Бедняга. Видно, здорово не повезло человеку.

Уже на перроне, окруженная своими близкими и друзьями, она, может быть единственная из всех пассажиров, обернулась к проводнице, злобно шипевшей на носильщика, и сказала:

— Ну, всего вам хорошего. До свидания.

«Внучка моя Оля — кстати, она тоже Ольга Дмитриевна Форш — геоботаник, забралась бог знает куда, пустила корни где-то в заповеднике около Владивостока. И нет такой силы, которая вернула бы ее домой. Теперь ее дом — в заповеднике. Я не знаю, как можно выдержать эту непрерывно героическую жизнь в тайге, где и

людей-то не видно, одни звери, где тигр на глазах у тебя рвет в клочья кого придется.

Но я уважаю Олю за все это. И горжусь!.. Нормально жить среди нас, с лифтом, мусоропроводом, на асфальте, она не может. Сразу превращается в домашнего дракона. Характер, воля! И мне она заявила безапелляционно: «Ты умрешь только тогда, когда сама захочешь». И знаете, меня это устраивает...»

...Ольга Дмитриевна часто теряла то очки, то записную книжку, то авторучку или брошь — все, что легко может завалиться куда-нибудь. Устав искать, она садилась, закрывала глаза и, уткнув подбородок в грудь, бормотала, словно в тихом экстазе, «молитву»:

Saint Antoine de Padoue,
Vous, qui trouvez toujours et tout,
Faitez-moi grace de trouver
Ce que j'ai perdu. [1]

Эту «молитву» нужно было прочитать три раза подряд. И если потерянный предмет обнаруживался, Ольга Дмитриевна целиком приписывала это стараниям святого Антуана из Падуи.

Все мы знали эту молитву наизусть, любили и жалели бедного Антуана, которого люди ужасно утомляют своей рассеянностью. И печальную историю этого Антуана Ольга Дмитриевна рассказывала так:

— Когда бог созвал своих прекрасных ангелов и распределил между ними божественные и великие дела, вдруг выяснилось, что скромный маленький Антуан из Падуи остался без работы. Тогда бог подумал и сказал: «Не горюй, Антуан, ты тоже будешь полезен людям, и они полюбят тебя, — помогай им искать потерянные вещички, ведь люди так рассеянны и забывчивы...» И честный маленький Антуан не знает с тех пор ни минуты отдыха, тогда как другие важные ангелы работают спустя крылья...

---

[1] Святой Антуан из Падуи,
Вы, который находите всегда и все,
Окажите мне услугу — найдите то,
Что я потеряла (франц.)

...Это было в Ленинграде, на улице Воинова, 18, когда мы сидели за банкетным столом — нарядным и праздничным. Справляли восьмидесятилетний юбилей со дня рождения Ольги Дмитриевны Форш.

Было много знатных гостей — ленинградцев, москвичей. Прибыли друзья из Киева, из Грузии. Зал утопал в цветах.

В центре стола сидела Ольга Дмитриевна, рядом с нею художник Натан Альтман, Ираклий Андроников и многие другие — друзья, писатели, члены семьи...

Перед Ольгой Дмитриевной стояла прекрасная ваза синего стекла, — ее поднес юбилярше Константин Федин, а в ней роскошный букет свежих роз, — их привез из Москвы Андроников. На столике за спиной Ольги Дмитриевны лежали подарки — армянский настольный коврик старинной работы, карандашный портрет Ольги Дмитриевны, великолепно исполненный Натаном Альтманом, и многое другое.

Андроников был в ударе — и как рассказчик и как тамада. Живые портреты популярных людей, узнаваемых с первых слов, с первого жеста, возникали в талантливом изображении Андроникова и вызывали бурный, всеобщий восторг. И вот, после очередного номера, в котором Ираклий Андроников сделал из Ольги Дмитриевны «дружеский форш», она встала с места и подняла руку. Все затихли в ожидании. И Ольга Дмитриевна, охваченная азартом соревнования, рассказала такую историю...

«Когда-то, много лет назад, я поселилась в старом особнячке с садом на окраине Тбилиси. Хозяйки дома — две старейшие девы, строгие, благочестивые, богомольные грузинские княжны чистых кровей — отдали мне для работы комнату в нижнем этаже особнячка. Здесь однажды вечером меня и навестил Ираклий Андроников. Он в тот вечер шикарно разгулялся в своем репертуаре; тогда он был еще молодой талант и щедро показывал толпу наших общих знакомых, проверяя на мне высоту своего искусства.

А утром благочестивые грузинские княжны драматически шептались за моей спиной. Их обезжиренное воображение нарисовало все-таки картину срамного блуда в таких красках: у писательницы — дворянки! — до поздней ночи мужчины — всех возрастов, разных нацио-

нальностей. Всего одиннадцать. Уходили, должно быть, через окно в сад. И только один — нормально, через входную дверь, но позже всех».

Этот пикантный рассказ Ольги Дмитриевны вызвал дружный хохот и долгие аплодисменты. Ираклий Андроников галантно встал перед Ольгой Дмитриевной на одно колено, поцеловал ей руку и всенародно признал себя побежденным.

В Москве

Позвонил Александр Прокофьев (тогда секретарь Ленинградского отделения Союза писателей) и сказал Ольге Дмитриевне, чтобы она готовилась к чрезвычайному событию — Второй съезд будет открывать она — старейшина советских писателей.

Ольга Дмитриевна сначала огорчилась:

— Вот ведь какое слово — «старейшина». Сразу чувствуешь себя многовековой, умудренной и причисленной к лику святых...

И вдруг спохватилась: Первый съезд открывал Горький, а теперь — она?

— Нет, эта почесть не по мне. Надо вовремя отказаться.

Но были еще звонки и письма — ленинградские, московские. Кому-то Ольга Дмитриевна говорила по телефону:

— Алексей Максимович чувствовал себя на трибуне, как джигит в седле, свободно тряс эрудицией, говорил разные там «рацио» и «интуиции», Сулеймана Стальского назвал Гомером двадцатого века. У него всегда хватало мыслей и слов... А я? Не оратор я, вот горе. А если еще и споткнусь на сцене, что вполне в духе старейшины, и грохнусь у трибуны — это же будет международный хохот.

Но очень скоро она взяла себя в руки, освоилась с положением старейшины и даже, думая над текстом предстоящего выступления, делала «государственное лицо».

— А ну-ка, — говорила она уже с подлинным интересом, — послушайте, что я хочу сказать, открывая съезд. Мне кажется, надо открыть его так: почтить вставанием Горького Алексея Максимовича, — ведь с Первого съезда

прошло двадцать лет. Помянуть вставанием и всех писателей, умерших, погибших в войну...

Однажды она встретила меня в черном элегантном костюме с нарядным кружевным жабо, заколотым единственной в доме драгоценностью — бриллиантовой подковкой. И в туфлях, которые она надевала на свои больные ноги в особых случаях. Голова ее светилась снежной белизной, и волна над высоким лбом лежала не совсем обычно, а обдуманно, даже кокетливо.

— Вы знаете, — сказала Ольга Дмитриевна с вызовом, — я хочу выглядеть вполне прилично. Как вы меня находите? Вот такой я и взойду на трибуну.

— Да вы просто великолепны! — воскликнула я. — Такая красивая старейшина...

— Между прочим, старейшина — больше употребляют как имя существительное мужского рода... Значит, так, теперь я знаю, что буду говорить и как буду выглядеть... Ну, а вдруг голос мой старчески задребезжит? Как это будет противно.

— А чего ему дребезжать? Разве вы по контрамарке влезете на трибуну? Вы автор таких замечательных книг, вы по праву...

— Хватит, — уже гордо прервала меня Ольга Дмитриевна. — Недооценивать себя или переоценивать — одинаково глупо. Нужно уметь безошибочно определять правду. Но для этого нужны настоящие мозги! — И она костяшками пальцев крепко постучала по своей голове.

В гостинице «Москва», где остановились делегаты съезда, нам с Ольгой Дмитриевной достался большой и удобный номер, свободно вмещающий ее бесчисленных посетителей и гостей — ленинградцев и москвичей, друзей из Грузии, Армении, с Украины. Сюда приходили старые, верные товарищи Ольги Дмитриевны, с которыми она предпринимала далекие путешествия в прошлое — годы, города, события... Эти воспоминания нигде не начинались, нигде не кончались и были наполнены настоящей жизнью.

Я оберегала отдыхающую или работающую Ольгу Дмитриевну от случайных посетителей, пришедших за автографом или просто «познакомиться», взглянуть на живого знаменитого автора. И бывало, в коридоре или вестибюле гостиницы, удовлетворив любопытство посетителя, я уже благополучно прощалась с ним, как вдруг

Ольга Дмитриевна сама выходила из комнаты, вся светясь вниманием, и гостеприимно приглашала зайти.

Ольга Дмитриевна советовалась по поводу своего выступления и с К. Симоновым, и с Н. Тихоновым, и с А. Прокофьевым. Думала, записывала свои мысли... Но накануне открытия съезда она вдруг перестала говорить и даже думать о нем. Меня охватил тайный страх: завтра — зал, набитый тысячами людей, внушительный президиум, члены правительства, иностранные делегации! А сегодня Ольга Дмитриевна спрашивает: интересно, когда зайдет дорогая Мариджан Алексидзе, грузинская писательница, давнишний друг; наверное, она привезла с собою сушеные фрукты и чурчхелы.

Или просвещает меня:

— Царь-пушку строил некий Андрей Чохов. А Царь-колокол — Моторин с сыном. Колокол этот пролежал в земле более ста лет. Надо везде побывать, многое уже забывать стала...

И спокойно засыпает.

Звонили из Ленинграда Тамара и Дима Форш, беспокоились, как там мама, выдержит ли такое испытание.

Глядя на мерно посапывающую во сне Ольгу Дмитриевну, я отвечаю, прикрыв трубку ладонью:

— Все будет великолепно. Она твердо знает, что ей нужно делать, и нисколько не волнуется.

Переполненный зал. На сцене ярко освещенный стол президиума, за ним — ряды еще пустых стульев, расположенных амфитеатром.

Из боковых дверей, выходящих на сцену, появляются только два человека: Константин Федин и, опираясь на его руку, Ольга Дмитриевна Форш. Он ведет ее к трибуне. Зал рукоплещет.

Распрямив плечи, высоко подняв голову, дождавшись тишины, она начинает говорить. Голос ее звучит ясно, громко, слова настоящие, полные смысла летят в зал. И даже тембр голоса необыкновенен.

Это было незабываемо. Недаром же Александр Фадеев написал ей в президиуме записку:

«Милая Ольга Дмитриевна!

Ты была сегодня на исключительной высоте. Пишу об этом не для того, чтобы сказать тебе комплимент. А просто потому, что мы все тобой любовались.

Голос звучал свободно, сильно, просто. Была какая-то торжественность во всем, что происходило в зале.

Мы стояли за дверью, любовались тобой и говорили о том, какая ты сильная, мужественная, умная женщина».

...Жизнь с Ольгой Дмитриевной в Москве я вспоминаю как счастливое время еще и потому, что Ольга Дмитриевна как-то расцвела, развернулась и чудесно оживилась.

Нельзя без восторга вспоминать встречу Ольги Дмитриевны с Мариджан. Мариджан плакала от радости, а Ольга Дмитриевна от радости шумела и хохотала. Сушеные персики, начиненные орехом, чурчхелы и ожерелья из чернослива Ольга Дмитриевна прятала от всех гостей и даже от моего бдительного ока. Укладываясь на ночь, она брала в постель журналы и тихонько совала под подушки кавказские дары Мариджан.

Я видела, как уважительно и тепло держалась Ольга Дмитриевна с Анной Андреевной Ахматовой. Я понимала, что их надо оставлять вдвоем, и всегда находила повод для этого. Однажды проводив Анну Андреевну, Ольга Дмитриевна, закрыв глаза, медленно припоминая, слово за словом прочитала мне стихотворение, которое она, видимо, недавно услышала от автора:

Один идет прямым путем,
Другой идет по кругу,
И ждет возврата в отчий дом,
Ждет прежнюю подругу...

А я иду — за мной беда
Не прямо и не косо,
А в никогда и в никуда,
Как поезда с откоса.

«Приемы» у Ольги Дмитриевны возникали только экспромтом. Приходили Петр Чагин — «белый негр», как называла его Ольга Дмитриевна, Е. Книпович, Тамара Иванова, Мариджан, Н. Тихонов, А. Прокофьев, О. Иваненко, К. Симонов, — всех и не вспомнить. Когда приходил Ираклий Андроников, талант которого Ольга Дмитриевна считала непревзойденным, в нашей комнате чудом возникали как живые Иван Иванович Соллертинский, Алексей Толстой и многие другие. Они возникали

с характерными для них интонациями, смехом, кашлем, жестом, выражением лица.

В один такой вечер я, услышав Алексея Толстого, узнав его речь, увидав наконец его лицо, вдруг неожиданно для себя заплакала.

Ольга Дмитриевна сказала тогда:

— А ведь эти слезы, Ираклий, более высокая оценка вашего искусства, чем гомерический хохот и восхищение ваших почитателей.

Эти слова я запомнила и была очень благодарна за них.

Перед нашим возвращением в Ленинград Константин Федин пригласил к себе домой всех ленинградских друзей на торжественный обед «землячества». Ольга Дмитриевна, вспоминая его, говорила мечтательно:

— А красивые люди сидели за столом: Ахматова, Федин, Тихонов, Слонимский... — И, лукаво опустив голову, шепотом добавляла: — И я.

Любознательность Ольги Дмитриевны, наблюдательность, эрудиция и память, удивительная в ее возрасте, — а я оказалась около Ольги Дмитриевны, когда ей было уже за шестьдесят, — всегда оставались для меня загадкой.

Во дворе Кремля, опираясь на мою руку и палку, она говорила:

— Смотрите во все глаза: это Успенский собор. Кажется, конец пятнадцатого века. А это — колокольня Ивана, дозорная вышка...

В кремлевских стенах она засматривалась на древнейшие иконы, на люстру из чистого серебра, которая весила восемьсот килограммов... То вдруг озарялась любопытством, увидев анютины глазки в стакане с водой — тончайшую работу крепостного мастера Михаила Перхина — и другую диковинку — игрушку, которая уже сто лет безостановочно качает головкой...

И про все-то она хоть что-нибудь да читала или слышала.

В Георгиевском зале Кремлевского дворца после закрытия съезда состоялся большой банкет. Гости съезжались к определенному часу — нарядные, торжественные.

Мы приехали задолго до начала банкета. Ольга Дмитриевна откровенно рассматривала все и всех вокруг:

— А ну-ка, какими теперь стали красавицы Людмила Толстая? Лавренева? Клава Шишкова? А кто это такой, вон тот дед с белой бородой? Писатель из числа священнослужителей? Подведите ко мне Михаила Светлова — прекрасный поэт. А что я не вижу нашего Юрия Германа? Он боится, наверное, таких старейших, как я... Боже, как мечутся фотокорреспонденты со своими лейками. Я бы не могла возвыситься на такой работе, нет... Один такой вчера в антракте все норовил сфотографировать Ахматову, а она к нему то затылком, то боком. Но вдруг к ней подошел Илья Эренбург, и они так приветливо раскланялись и разговорились. Ну, тут наступил для фотографа светлый праздник: он щелкал их со всех сторон, щелкал до тех пор, пока Эренбург не повернул к нему злое, сердитое лицо. Тогда фотограф щелкнул его в полный анфас и исчез ликующий. Теперь напечатает и подпись соответствующую: вот, мол, настоящее лицо Ильи Эренбурга.

Когда гости стали занимать места за длинными, обильно заставленными столами, к нам подошел Даниил Гранин и передал Ольге Дмитриевне приглашение пожаловать за другой стол. Ольга Дмитриевна не поняла, всполошилась было. Но Гранин сказал, что там ждут писатели ее поколения, ее личные друзья.

— Ну знаете, писателей моего поколения я что-то не вижу здесь, — сказала Ольга Дмитриевна, вдруг загордясь своим старшинством.

Она приосанилась, сделала «государственное лицо».

— Ну что ж, старейшина так старейшина.

Гранин бережно повел Ольгу Дмитриевну по проходу между длинными рядами столов, за которыми уже сидели делегаты съезда и гости. Весь этот путь она прошла сквозь строй добрых улыбок, приветственных возгласов, искренних слов — и не только на русском языке.

Она шла медленно, но ровно и раскланивалась так дружелюбно и доверчиво, словно в этом огромном зале собрались одни только хорошие, ценные люди.

Ночью она говорила по телефону с Ленинградом и шутя отчитывалась перед своими близкими:

— Я вела себя хорошо. Здорова и нисколько не устала. На заседаниях слушала, не дремала на виду у представителей литературы всего мира. А Маро каждый день

профилактически травила меня — неприлично, мол, если всхрапнете и повалитесь мордой на стол... И на банкете я сидела как мать русской литературы, первый советский исторический романист...

В Москве у Ольги Дмитриевны состоялась встреча с армянскими писателями. Они пришли к нам в гостиницу в свободное от заседаний утро — все угольно-черные, с усиками и сросшимися бровями.

За кофейным столом завязалась оживленная беседа, — Ольга Дмитриевна была великий мастер «держать стол».

Армянские писатели заговорили об экранизации пьесы Ольги Дмитриевны «Камо». Она любила рассказывать о Камо и художнике Пиросманишвили. И так рассказывала, словно она знала их лично и близко. Эта черта и в ее исторических романах неизменно пленяет читателя: если душа ее лежит к герою, он становится ее современником, живым и понятным до конца.

Самый младший из гостей сказал застенчиво:

— Максим Горький писал про нашего Камо, я читал.

Ольга Дмитриевна посмотрела на него одобрительно:

— Правильно. Горький писал о том, что международная полиция взялась за Камо, сцементированная жандармской солидарностью. Общий страх перед революцией!.. А вы знаете, что дело Камо на Кавказе вел, среди прочих, и жандармский ротмистр Розалион Сашальский? Шикарное имя для жандарма!

В ходе беседы выяснилось, что Ольга Дмитриевна совсем не знает армянского языка, и это очень огорчило гостей.

Ольга Дмитриевна признала себя виноватой, подробно объяснила, как это случилось. Однако тут же оправдалась:

— Вы видите, внешностью я уродилась в мать — типичная армянка. Мои дети тоже сохранили национальные черты. И я ни на секунду не забываю, что являюсь отпрыском Давида Сасунского.

— У вас совсем нет армянского акцента, — сказал один из гостей, и в голосе его прозвучала горькая обида.

Ольга Дмитриевна опять почувствовала себя виноватой, но снова вышла из положения:

— А вот Маро — армянка чистой крови. Утешьте их,

Маро, поговорите на родном языке, а то вы его уже стали забывать.

Покраснев, я сказала землякам несколько фраз на армянском языке.

Грянул хохот, — оказывается, сказала что-то не то и не так. Больше всех веселилась Ольга Дмитриевна, когда ей объяснили мои ошибки.

Гости стали наперебой приглашать нас в Армению. Они зазывали Ольгу Дмитриевну, укоряли, соблазняли красотами природы, историческими памятниками, розовым туфом армянского происхождения. Из этого камня построено множество новых зданий. И поэтому Ереван, древнейший город, всегда как бы освещен зарей...

Ольга Дмитриевна слушала серьезно и задумчиво. Наверное, перед ее глазами уже всплыл город из розового светящегося камня.

— Да. Я давно мечтаю побывать в Армении, но мне казалось — далеко, не по силам. А сейчас говорю, обещаю вам и себе: мы с Маро — она тоже давно зовет меня в Армению, там у нее родня, — приедем в Ереван.

Ольга Дмитриевна заговорила о Мартиросе Сарьяне, — она читает о нем все, что появляется в печати, бывала на выставке его замечательных картин. Хотелось бы написать о нем очерк с хорошими репродукциями.

— Приеду, побываю у него, а вы не забудьте низко поклониться ему от меня. Еще я должна побывать на озере Севан, — о нем много пеклась Мариэтта Шагинян.

При упоминании художника Сарьяна и Мариэтты Сергеевны гости стали говорить хором, перебивая друг друга и восторженно жестикулируя. Ольга Дмитриевна с удовольствием слушала, а потом возглавила этот интересный для нее разговор.

После ухода армянских писателей Ольгу Дмитриевну навестил доктор из медицинского пункта при гостинице «Москва», ее старый знакомый, как выяснилось. Навестил просто так, чтобы справиться, как чувствует себя Ольга Дмитриевна, не нужно ли ей чего-нибудь.

— Я вас понимаю, дорогой доктор, — и Ольга Дмитриевна сочувственно вздохнула, — это действительно очень хлопотно, если престарелый делегат испускает последний вздох в городе, где он не прописан, в центральной гостинице, в разгар съезда.

Доктор поцеловал Ольге Дмитриевне руку и утешил

се тем, что ему предстоит навестить несколько делегатов, значительно моложе, но зато значительно более хилых, чем Ольга Дмитриевна.

...За час до нашего отъезда в Ленинград к нам забежала попрощаться Мариджан. И опять она плакала, а Ольга Дмитриевна пыталась шутить и что-то вспоминала смешное из их давнишнего прошлого. А когда Мариджан ушла вся в слезах, Ольга Дмитриевна сразу стала строгой и замкнутой. И только через несколько дней в Ленинграде она вдруг сказала мне:

— Вы знаете, почему так плакала Мариджан? Она знает, что больше не увидит меня никогда. Она прощалась со мною, еще живой, навсегда.

Сила жизни

В октябре 1957 года мне посчастливилось ехать в Ялту с Ольгой Дмитриевной Форш. Приготовления к такому путешествию начались задолго до отъезда. Ольга Дмитриевна листала альбомы и журналы с фотографиями Крымского побережья, изучала путеводители, предвкушая радость встречи с местами, давно покинутыми, а врачи, друзья-писатели и члены семьи Форш шептались за ее спиной, восторгаясь смелостью и энергией восьмидесятичетырехлетней женщины, пожелавшей пуститься в такое путешествие.

Восторгались, но и пугались: шутка ли, поездом до Симферополя, а от Симферополя до Ялты километров сто машиной, да еще по дороге, которая то поднимается, то опускается, делая головокружительные петли! Укачивает даже молодых.

Мне давали советы, вручали лекарства, втолковывали, как и что делать, если Ольгу Дмитриевну укачает, если ей станет худо. Беспокоило и другое: человек на склоне лет посетит места далекой, невозвратимой молодости. «Это тяжело, это угнетает», — утверждали психологи.

Я уже готова была отказаться от поездки, но Ольга Дмитриевна почувствовала мои колебания и однажды сказала:

— Вы не знаете, как подавать скорую медицинскую и моральную помощь? Если вы меня любите, то это не покажется трудным.

А когда Ольге Дмитриевне прямо намекнули, что в ее возрасте опасна эта трудная дорога, она задумалась, потом спросила осторожно:

— А вертолет? Я слушала радио — там от Симферополя до Ялты должен летать вертолет.

Самым большим событием в вагоне поезда Ленинград — Симферополь оказалась встреча с Илюшей Никольским. Прогуливаясь по коридору, Ольга Дмитриевна увидела на нижней полке соседнего купе мальчика лет четырнадцати-пятнадцати с бледным и худым лицом, с вытянутыми вдоль койки ногами. Он был одет в тельняшку, на столике лежала бескозырка.

Аккуратная старушка с веселыми глазами хлопотала рядом.

Я уже познакомилась с этой парой, знала, что это бабушка с внуком, что едут они в Саки на грязелечение, что мальчик учился в каком-то морском училище.

— Что же вы молчали? — возмущенно спросила меня Ольга Дмитриевна. Она надела очки, словно хотела получше разглядеть мои пороки. Глаза ее из-за толстых стекол сердито посверкивали. — Надо что-то делать. Надо, чтобы проводники не сажали в их купе пассажиров, пусть едут вдвоем. Надо отдать парню наши книги и сладости. И курицу. И надо, чтобы радио в коридоре не орало песни и пляски... Всегда надо что-то делать, понимаете?

Она разгневалась. Выходя из купе, зацепила пуговицей жакета сумку с дорожной аптечкой и пнула ее локтем.

В вагоне многие уже знали, что грузная женщина с белоснежной головой и черными умными глазами — писательница Ольга Форш. Кто-то узнал ее по портретам и сказал другим пассажирам. Но до больного и его бабушки весть не добралась.

Мы зашли к ним в гости.

Старушка обрадовалась, засуетилась, а мальчик попытался сесть.

— Это великолепно, что вы едете в Саки! — сказала ему Ольга Дмитриевна. — Я знаю девочку — Ирину Волкову — у нее был паралич ног. Внучка моей подруги. Она была совсем плоха. Вот вы можете сесть, вы недурно выглядите, трудно догадаться, что вы больны. А Ирина была совсем плоха. Она не могла сесть, все лежала...

Ольга Дмитриевна скользнула взглядом по тонкой руке мальчика.

— Руки у нее были хилые, жалкие. А вот после грязелечения стала поправляться. Не сразу, конечно. Саки творят чудеса!

И Ольга Дмитриевна рассказала с подробностями, не оставляющими и малейшего сомнения, историю выздоровления какой-то выдуманной ею Ирины Волковой.

Бабушка радостно закивала: да, она тоже знает много подобных случаев. Так они разговаривали, помогая друг другу лечить мальчика, а тот слабо улыбался, жадно слушал, как старая женщина с величественной головой веско и спокойно приводит достоверные факты. Не поверить ей было невозможно.

— Правда, — смущенно и виновато призналась Ольга Дмитриевна, — Ирина хоть и девочка, а воля к выздоровлению у нее была огромная. Держалась стойко, читала, слушала радио — словом, жила. Не падала духом. Можете себе представить, даже училась!

Мальчик опять сделал попытку сесть.

— Я тоже учусь, — сказал он торопливо, — ребята приходят. И учителя.

А бабушка, сияя моложавым лицом, добавила с гордостью и ликованием:

— Он и в шахматы играет!

Ольга Дмитриевна как бы застыла в удивлении:

— Ну, вот это прекрасно! Врачи... например профессор Золотницкий Юрий Павлович, говорят, что настроение — самое главное. Надо вызвать свою болезнь на поединок. Надо биться с нею каждый день. Надо положить ее на обе лопатки и топтать. Если больной хочет, он обязательно выздоровеет. Человек может это. Вот я. Мне восемьдесят пятый год, но я умру только тогда, когда сама захочу.

За час до Острякова (Никольским предстояла на этой станции пересадка) бабушка зазвала меня в свое купе. Мальчик лежал на койке одетый с головы до ног. Бескозырка на его стриженой голове, сдвинутая подушкой, налезла на самые брови. Ноги в брюках и ботинках были согнуты в коленях и подперты чемоданом, чтобы не расползались. На лице бабушки блестели мелкие капли пота, глаза набрякли. Она, должно быть, очень устала, одевая мальчика.

— Я хотела спросить, — сказала бабушка уважительным шепотом, — кто эта женщина с вами?

Илюша повернулся ко мне лицом. Теперь бескозырка соскользнула ему на ухо.

— Да, кто она такая?

— Это известная писательница Ольга Дмитриевна Форш. Она дружила с Горьким. У нее много хороших книг. Помните «Одеты камнем», «Радищев»?

Мальчик онемел. Я поняла, что писатель для него еще пока чудо и он поражен фактом простого знакомства с писателем.

На станции Остряково Илюшу вынесли на перрон, уложили на санитарные носилки. Ольга Дмитриевна стояла у открытого окна вагона, голова ее ярко белела, а черные глаза щурились от света.

— Пиши, пиши мне, не ленись! — крикнула она Илюше. — И не тяни с болезнью. Вернешься в Ленинград, Ира к тебе зайдет.

Кого-то еще она задумала вовлечь в свое простое и благородное «надо что-то делать».

Из Симферополя мы выехали на легковой машине. Ольга Дмитриевна сидела рядом с шофером, сняв шляпу, опустив боковое стекло, а я — на заднем сиденье, с аптечкой под рукою и с «предметами спасения» от головокружения, от сердечных, мозговых и прочих «явлений». К «предметам спасения» прибавились огромный арбуз и виноград, купленные на симферопольском рынке.

Небо было южной синевы — густой и горячей. Такого мы никогда не видим над Ленинградом. Ольга Дмитриевна смотрела на небо ласково, с одобрительной усмешкой и говорила:

— Среднегодовая температура Южного берега — градусов четырнадцать. Как в Мадриде, Неаполе и Ницце. Я читала где-то.

Машина шла по асфальтированной трассе. Слева потянулись каменные дома поселка, и за ним — широкое пространство воды. Ольга Дмитриевна удивленно поджала губы.

— Где это мы? — спросила она шофера. — Откуда здесь такое озеро? Здесь было пустынное место.

Шофер горделиво хмыкнул и объяснил, что это — новое водохранилище, длина — семь километров, ширина — два с половиной.

— И рыба есть? — недоверчиво поинтересовалась Ольга Дмитриевна.

— А как же! С Волховского рыборазводного завода доставили сига и ладожского ряпуса. Четыре тонны взрослого карпа впустили!

В зеркальце над рулем я увидела загорелое лицо шофера, растянутое в восторженную улыбку. Стало ясно, что он страстный рыболов.

Когда проезжали деревню Горки, Ольга Дмитриевна вспомнила:

— Здесь бывала Софья Перовская. Жил декабрист Никита Муравьев. А в Симферополе бывал Муравьев-Апостол и еще два декабриста — Оржицкий и... дай бог памяти... Орлов, кажется. Знаменитые места.

Шоссе петляло среди леса, и на одном из поворотов вдруг открылся Чатырдаг, огромная крутобокая гора.

Ольга Дмитриевна всплеснула руками:

— Не стареет, ну не стареет Чатырдаг! Подумайте, какие чудеса природы: из каменных щелей выползают деревья. Черт знает сколько метров над уровнем моря, а ведь когда-то был небось дном океана. Красивый Чатырдаг!

— На эту нашу гору даже писатель какой-то лазал, — хвастливо заметил шофер. — Правда, мало написал. Рано умер.

— Эх вы, взрослый карп! — сказала Ольга Дмитриевна со вздохом. — Так ведь то был Грибоедов.

Дорога зазмеилась книзу. С каждым ее поворотом все больше открывалось море — синее, лучистое.

— Какая вдохновляющая красота, какие стихи родились в этом краю! — сказала Ольга Дмитриевна и с чувством, негромко прочитала:

...Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан,
Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края...

— Кто это написал? — вдруг спросила она шофера.

— Александр Пушкин, — ответил он чуть обиженно.

— Молодец.

В Алуште машина остановилась. Мы с Ольгой Дмитриевной подошли к краю набережной. Я спустилась к самой воде, а Ольга Дмитриевна сидела на скамейке, сложив пальцы на ручке своей неизменной палки, и смотрела на море, на небо, на белый корабль, плывущий вдали. Лицо у нее стало тихое, светлое, и было неловко подойти, напомнить, что пора ехать дальше. Но вскоре она сама окликнула меня и сказала бодрым, земным голосом:

— Жизнь великолепна! Не хватает только чашки кофе и пирожков...

После Алушты шоссе, петляя, поднимается все выше. Ольга Дмитриевна восторгается размахом строительства, расспрашивает шофера о новых санаториях, рассказывает легенду об Аюдаге, жадно вдыхает аромат каких-то придорожных цветов, на минуту заглушивших противный запах бензина, вспоминает, что в Артеке жил Рубен Ибаррури...

— Анри Барбюс писал, что Артек — земной рай, — говорит Ольга Дмитриевна. И вдруг оборачивается и хитро подмигивает мне: — А где-то здесь скала Красный камень, на ней растет особый виноград, из которого делают лучшее в мире вино — мускат белый. Знают ли об этом пионеры Артека?

И она смеется.

Смеется и шофер. Правда, по его мнению, розовый мускат еще лучше.

Шоссе все петляет и петляет, огибая бесчисленные овраги и пропасти. Огромным усилием воли я заставляю себя думать о том, что на этой убийственной дороге Ольге Дмитриевне может стать худо каждую минуту, что я должна быть во всеоружии, что при мне аптечка и «предметы спасения»... Вспомнив про аптечку, я судорожно хватаю аэрон и еще что-то.

Краем уха я улавливаю веселый голос Ольги Дмитриевны. Она смеется над стандартными оленями и орлами, «украшающими» чудесный пейзаж.

Мне плохо. Я уже не вижу никаких красот. Меня убивает запах бензина и мутит от бесконечных кружений. Я готова остановить машину.

— У секвойи ветви как бивни мамонта... А роз в Никитском саду — более тысячи сортов! Вы можете себе представить? Обязательно приедем на этой же неделе...

Я втягиваю голову в плечи: ехать по этой же дороге да еще на этой же неделе?

— Здешний осенний пейзаж можно бы сравнить с золотой парчой. Но вы, редакторы, скажете: «По́шло!» Потому что нынче не знают, что такое парча...

Я уже не отвечаю. Ускользающим сознанием я фиксирую придорожный щит «Ялта»...

Прихожу в себя от громкого голоса Ольги Дмитриевны и от того, что шофер поливает меня боржомом из бутылки. Машина стоит. Ольга Дмитриевна копается в аптечке и в «предметах».

— Опомнились? Ну и хорошо. Вы заметили, по всей автостраде дорожники взрывают скалы на крутых поворотах? Выравнивают дорогу специально для таких, как вы...

Ялтинские встречи

По утрам автобус Дома писателей увозил всех нас к берегу моря. Ольга Дмитриевна не могла спуститься к самой воде. Мы оставляли ее в тени под пальмами или под полосатым навесом.

Отрешенная, прищурив глаза, она смотрела вдаль, слушала море, вся в созерцании или в своих сокровенных думах и воспоминаниях. Потом выяснилось, что она великолепно высмотрела и с жалостью отметила бледно-голубые ноги одной немецкой переводчицы («А ведь я ее знала лет тридцать тому назад, ноги были как ноги»). Среди пляжников она приметила одного негра и по пути к дому уверяла пассажиров автобуса, будто он в теплой воде линяет и что она своими глазами видела — вода вокруг его тела стала лилово-коричневой...

В тот месяц в Ялтинском доме жили давнишние друзья и товарищи Ольги Дмитриевны, в том числе Константин Паустовский, Илья Сельвинский, Юрий Либединский и многие другие.

На машине Юрия Николаевича с ним и его женой Лидией Борисовной мы ездили, и не раз, в Алупку — к Люсе, вдове Бориса Корнилова (позднее она стала женою крымского художника Якова Басова).

В первый приезд мы застали Люсю в постели на зеленом тенистом балконе. Уже много лет она тяжело болела туберкулезом.

Все мы помнили Люсю еще девочкой, когда она чуть ли не в 16 лет стала женою Бориса Корнилова. Нежнейшее существо, как бы освещенное изнутри светом добра и ласки, она всегда была одухотворенно красивой. В Гослитиздате и в Союзе писателей тех лет ее называли Нарциссом...

Люся была так счастлива приездом родных ей ленинградцев, что разволновалась до слез. Соскочив с постели, в длинном халатике голубого цвета, тонкая, бесплотная, с глазами большими, как на иконах, она увела нас в мастерскую Басова — показать его картины.

Это были хорошие картины, и Ольга Дмитриевна, как художница, оценила их по достоинству. На холстах Басова было столько солнца, море было таким многообразным, таким многокрасочным. Пейзажи Крыма — цветущий миндаль, осенние виноградники, цветы, плоды, а главное — люди — все картины художника Басова были объединены особым восприятием мира — светлым, радостным, даже нарядным, если можно так выразиться.

Ольга Дмитриевна внимательно осматривала холсты, но больше смотрела на Люсю, которая, щебеча, летала по мастерской, как голубая птица. Или вдруг присаживалась на маленькую скамеечку у стены и молча наблюдала — как мы, правильно ли понимаем ту или другую картину Якова Басова, не обедняем ли его замысла.

Когда мы уже садились в машину, Ольга Дмитриевна еще раз обернулась к Люсе, которая в своем голубом халатике стояла в саду, вцепившись слабыми пальцами в ошейник молодой овчарки. Тонкое Люсино лицо пылало, огромные глаза источали такое сияние, что Ольга Дмитриевна назвала его «неземным».

— Да, художник Басов — интересный художник, — говорила Ольга Дмитриевна по пути в Ялту, — но разве что-нибудь может сравниться с этой Люсей, разве при ней можно любоваться чем-нибудь еще? Мученица, жертва, чудо, приговоренное к гибели. А ей надо жить!.. Она горит желанием убедить всех в том, что Яша Басов — гений. Это она — гений чистой красоты.

В тот же день Ольга Дмитриевна и Юрий Либединский написали в Москву министру здравоохранения о лекарстве, в котором нуждалась тогда Люся. Об этом же лекарстве писали из Ленинграда в министерство и Ольга

Берггольц, и Александр Прокофьев — все, кто хорошо знал Люсю.

Позже мы снова побывали в Алупке. Люся угощала нас виноградом прямо с лозы, показала нам тетрадь с неопубликованными стихами Корнилова. Ольга Дмитриевна договорилась с Люсей и Яшей о том, что на будущую осень они найдут нам комнату в служебном помещении Воронцовского парка. А однажды Люся сама приехала в Ялтинский дом творчества в гости к Ольге Дмитриевне — и повидалась с Паустовским и Сельвинским. Для Люси такие дни были праздниками, она вся искрилась радостью и детской влюбленностью в подлинно блистательные таланты.

В Ялте Ольга Дмитриевна встретилась и с новыми людьми, «отобрала» кое-кого в «свой список». Среди них были поэты Александр и Злата Яшины, старик Шамбадал, переводчик Шолом Алейхема. И еще несколько человек.

В столовой мы сидели за одним столом с Шамбадалом и двумя молодыми литераторами. Это были часы гомерического хохота. Скромность и скованность Шамбадала в сочетании с его скупыми, вставленными в общую беседу словами, сказанными негромко, как бы про себя, очень нравились Ольге Дмитриевне, такой шумной и активной. Когда за нашим столом рьяно поносили какого-то тайного врага, Шамбадал пробормотал:

— Никогда еще на этом свете подлость честного не принимала боя.

Про кого-то Ольга Дмитриевна сказала:

— Неоригинальный человек.

Он добавил мягко:

— Да. Очень положительный.

Потом Ольга Дмитриевна прицепилась к его фамилии:

— Это же имя доброго волшебника — Шам-ба-дал! Надо сказать Жене Шварцу.

В этой же столовой три раза в день шел веселый смотр, купля-продажа и именование соседей, которых мы не знали по их настоящим именам. Ведала этой «работой» в основном Ольга Дмитриевна.

Невдалеке от нас сидели два пожилых и величественных человека — Царь Соломон и Геморроидальный бас. Престарелая переводчица с французского называлась

Нотрдамка; красивая повариха Дома творчества с удовольствием отзывалась на Мадам Повари, Илью Сельвинского Ольга Дмитриевна называла Торро. «Если бы ему еще и золотые рожки — цены бы ему не было».

Шамбадал застенчиво улыбался — такие дерзости и насмешки смущали его, но Ольга Дмитриевна успокаивала его примерно в таком духе:

— Совесть наша должна быть чиста. Неужели вы думаете, что все они не окрестили нас уже давно и похлеще? Я у них называюсь, быть может, Безобразная герцогиня или Царь-жаба, а вы, чего доброго, Старый крыс.

Вскоре я познакомилась со Златой Константиновной Яшиной, которая приехала в Ялту с трех- или четырехлетним прелестным сыном. Она часто лежала с тяжелой головной болью, закутанная, грустная. Послушав стихи самой Златы и узнав, что на днях должен приехать Александр Яшин, я привела Злату к Ольге Дмитриевне. Побыв у нас с полчаса, почитав по настоянию Ольги Дмитриевны свои стихи, Злата ушла укладывать сына.

Ольга Дмитриевна сказала:

— Она красивая. Одаренная. Она очень любит и почитает своего Яшина. И главное — у нее куча детей! Это же огромная, совершенно особая заслуга женщины. Да еще она прекрасно водит легковую машину. А сколько чего я еще не знаю про нее?

Наконец приехал Яшин. Мы узнали его по уже знакомому нам мальчишке, которого он вел за ручку.

— У него лицо простое, лицо деревенского парня. Но современного! Умного! Авторская позиция его ясна и благородна, — сказала Ольга Дмитриевна и взяла в руки книжку Яшина «Свежий хлеб». — Вот это, например...

Она полистала книжку и прочитала негромко, задумчиво, как бы для себя в пустой комнате:

Из-за утеса, как из-за угла,
Почти в упор ударили в орла.

А он спокойно свой покинул камень,
Не оглянувшись даже на стрелка,
И, как всегда, широкими кругами,
Не торопясь, ушел за облака.

Быть может, дробь совсем мелка была —
Для перепелок, а не для орла?
Иль задрожала у стрелка рука
И покачнулся ствол дробовика?

Нет, ни дробинки не скользнуло мимо,
А сердце и орлиное ранимо...
Орел упал,
Но средь далеких скал.
Чтоб враг не видел,
Не торжествовал.

— Жаль, что вы мало знаете Сашу Яшина, — сказал Сельвинский. — Он ведь действительно талантливый и интереснейший человек.

Яшина мы затащили к себе с трудом. Он очень смущался, молчал, стоял у портьеры, за спиной Златы Константиновны. Когда Ольга Дмитриевна настойчиво попросила его почитать нам стихи, он совсем смутился и даже порывался уйти.

Ольга Дмитриевна была приятно поражена:

— Неужели за долгие годы творчества у вас не выработалось профессиональной привычки свободно читать стихи вслух?

Яшин пожал плечами, что-то пробормотал. За него ответила Злата:

— Он стесняется читать вам, именно вам. Можно, я прочитаю несколько Сашиных стихотворений?

И прочитала, надо сказать — прекрасно прочитала, взволнованно, но с чувством меры, корректно, стихи из той же книжки «Свежий хлеб».

И Ольге Дмитриевне, и мне Яшин подарил по экземпляру, и мы выбрали и часто читали «свои» стихи: «Орел», конечно, — Ольга Дмитриевна считала его лучшим произведением Яшина, «Елочка», «Опять я целый день негодовал», «Прочитали мы рассказ», «Спокойнее вдвоем», «Извечное». Про стихотворение «Судьба», посвященное Злате Константиновне, Ольга Дмитриевна сказала:

— Если бы я была автором, я бы закончила стихотворение словами:

Так мне нужны твои глаза
Для каждого стихотворенья.

А про «Елочку» говорила:

— Прелестно. Психологически тонко и точно, как и все лучшие его вещи.

Но каждый раз, читая его, она неизменно спотыкалась на строке: «Но елка — промеж нас».

...После ужина на веранде Дома творчества расса-

живались Ольга Дмитриевна, Паустовский, Сельвинский, Петников, Либединский... Это были талантливые рассказчики, люди остроумные, много повидавшие, много испытавшие, поэтому вокруг них сразу создавалась большая группа слушателей. В этот вечерний час на нижней веранде бывало чарующе хорошо: чистый воздух, пропитанный ароматом роз, густых зарослей цветущих кустов, шум моря, далекие огни кораблей... Трудно было уйти наконец в комнаты.

Паустовский рассказывал о людях и событиях в Тарусе, о встречах на Кавказе, на Украине, за границей. Однажды рассказал, как они с Гайдаром где-то под Рязанью, в деревне, решили пойти на рыбалку, но червей накопать не сумели — стояла засуха. Долгожданная рыбная ловля срывалась, к великому и всеобщему огорчению. Утром Гайдар вошел в комнату, подошел к чайному столу и вдруг выложил на скатерть целую кучу червей. Все поразились. Оказалось, что он с вечера повесил на ворота объявление: «Скупка червей от населения». И местные мальчишки накопали и продали по сходной цене несколько консервных банок первоклассных червей...

Ольга Дмитриевна высоко оценила «скупку червей от населения» и часто цитировала эту фразу.

Большим успехом на вечерней веранде пользовался рассказ Ольги Дмитриевны о том, как в Доме творчества под Киевом она якобы благоговела перед каким-то известным критиком. Его устроили почетно — в отдельном коттедже, где он работал безостановочно, без перекуров и вечернего балагурства. Однажды утром, когда все в столовой уже давно сказали друг другу ласковое «с добрим ранком», критик этот так и не пришел к столу. Ему в отдельный домик отнесли на подносе кашу и кофе. А жареное мясо и его любимые шкварки с картошкой не отнесли к нему в домик. Заболел, что ли?.. Но очень скоро выяснилось, что ночью крыса выкрала у критика из казенного стакана обе челюсти...

Как всегда, Ольга Дмитриевна рассказывала так, словно она присутствовала при трагедии критика, видела это несчастное приключение своими глазами:

— Крыса несла их поочередно: верхнюю, потом нижнюю.

Утром она сидела в саду, рисовала Григория Николаевича Петникова. А вечером мне в подарок нарисовала

крысу, которая несет перед собою в зубах и в лапах челюсть критика.

Петникова она рисовала цветными карандашами, и, несмотря на нарушение пропорций, в этом наброске удивительно схвачено сходство.

— И почему он у меня получился кривой? — огорчалась Ольга Дмитриевна. — Такой благообразный, симпатичный, а я его изуродовала. И при этом — похож. Надо же!

Помню, в Ялтинском доме творчества как-то организовали вечер стихов Ильи Сельвинского. Многие стихотворения Ольга Дмитриевна знала и раньше, другие слышала впервые, хвалила. Но «Черепаху» она отметила особо.

По ее просьбе я потом перечитывала ей «Черепаху».

Черепаха на базаре Хакодате
На прилавке обессиленно лежит,
Рядом высятся распиленные латы,
Мошкара над окровавленной жужжит.

Лицо Ольги Дмитриевны болезненно морщилось и напрягалось.

И пока мясник над ухом у калеки
Смачно крякает, топориком рубя, —
Черепаха только суживает веки,
Только втягивает голову в себя.

Отработавши конечности до паха,
Принимается торговец за живот,
Но глядит, не умирает черепаха...
Возмутительно живучая — живет!

Ольга Дмитриевна отталкивала книгу и говорила:

— Какое было бы счастье узнать, что Сельвинский ничего этого не видел в своем зверском Хакодате, а все сочинил. Но ведь как сочинил!

Ничто не могло утешить Ольгу Дмитриевну.

— Какое злодейство, какое мучительство... Как бы мне, господи, забыть про эту разнесчастную черепаху!

Свое новое стихотворение Сельвинский записал от руки на последней странице гослитовского двухтомника, подаренного Ольге Дмитриевне:

Душевные страдания как гамма:
У каждого из них своя струна —

Обида подымается до гама,
До граянья, не знающего сна;

Глубинным стоном отзовется драма,
Где родина, отечество, страна...
А как зудит раскаянье упрямо,
А ревность? Мм... Как эта боль слышна!

Но есть одно беззвучное страданье,
Которое ужасней всех других!
Клинически оно — рефлекс глотанья,
Когда слова уже горят в гортани,
Дымятся, рвутся в брызгах огневых,
Но ты не смеешь и... глотаешь их.

Еще одно стихотворение держала в своем сердце Ольга Дмитриевна, это — «Быть знаменитым некрасиво» Бориса Пастернака. Она запомнила и приняла это стихотворение как свое собственное — так оно было созвучно ее душе.

В Ленинграде она сажала на маленькую скамеечку около себя свою внучку Олю, уже студентку, и заставляла учить это стихотворение наизусть, как школьницу. И если та сбивалась, Ольга Дмитриевна заставляла учить снова и снова.

...В Ялтинском доме был еще один человек, который привлек внимание Ольги Дмитриевны. Каждый день, с удовольствием уплетая какое-нибудь кондитерское изделие, поданное на сладкое или к полднику, Ольга Дмитриевна восхищалась квалификацией кондитера. Ей сказали:

— Не мудрено! Этот наш старик — величайший мастер и художник своего дела. Он работал главным кондитером в царском имении — в Ливадии...

Конечно, Ольга Дмитриевна сразу пожелала познакомиться с царским кондитером, а пока что написала в книге жалоб пространную и торжественную благодарность старику и прославила его золотые руки и тонкий вкус.

На следующий день нас ждал сюрприз: в центре нашего стола стоял торт неслыханной красоты и в высшей степени соблазнительного вида. Сверху по ореховому и кремовому полю было выведено ярко-красным желе — «Ольга Форш».

— Такой торт надо есть стоя, — сказали молодые литераторы, наши соседи по столу.

— Его надо сначала нарисовать или хоть сфотогра-

фировать, — сказала Ольга Дмитриевна. Она была прямо потрясена этим подношением.

А Шамбадал, как всегда, скромно высказал свое мнение:

— Только варвары могут взять в руки нож.

Однако нож все-таки взяли в руки и установили, что искусство исторического кондитера нельзя переоценить.

Вечером старик кондитер пришел к нам по приглашению Ольги Дмитриевны. На нем был синий бостоновый костюм покроя конца XIX столетия, из нагрудного кармана вместо платка выглядывала внушительная сигара.

Ольга Дмитриевна принимала его как знатного гостя, подарила ему свою книжку с автографом, угощала вином и расспрашивала о венценосных обитателях дворца. Старик рассказывал о царской семье словоохотливо и долго, осторожно вытащил из кармана сигару, как реликвию, и сказал, уважительно понизив голос:

— Сам великий князь изволили угостить... Храню как память...

Ольга Дмитриевна вдруг заскучала, стала благодарить его и хвалить «закругляющим» тоном.

Когда он ушел, она сказала, вздохнув с облегчением, что торт, конечно, чудо искусства и подарок очень трогательный с его стороны. Но про Ливадию и царскую семью он мало что помнит и мало что мог знать. А что и знал — давно растряс за десятки лет — на 1 мая, и 7 ноября, и на пионерских кострах, и во всяких клубах, где он выступал как живая история, чуть ли не представитель династии Романовых. Но никакой правды, ни даже полуправды о царской жизни в прекрасной Ливадии, о нравах волчьей своры придворных вельмож он не видел, не слышал, да и не понял бы...

...Через несколько дней мы на автобусе поехали в Ливадию. Ольга Дмитриевна осталась в парке среди фонтанов, магнолий, лавров; ей трудно было ходить по этажам дворца. Переходя от одной мраморной скамейки к другой, она любовалась фантастическими сооружениями разных стилей — от древнейших до современных. А мы бегло осмотрели дворец и вернулись к ней.

Ольга Дмитриевна, ладонью прикрыв глаза от солнца, смотрела на дворец — белый, какой-то веселый, с балконами, весь в радужном сиянии стекла, пленяющий изяществом архитектурных форм.

— Вот в это прелестное царское гнездо граф Шувалов, начальник Третьего отделения, посылал Александру Второму фальсифицированные доклады о Михаиле Бейдемане, который якобы готовил цареубийство. И если бы мол, не бдительный и верный охранник царя граф Шувалов...

Мы смотрели на белый дворец, слушали Ольгу Дмитриевну и думали о страшной судьбе Бейдемана: юноша, обуреваемый идеей свержения самодержавия, по существу не успел ничего, а поплатился за свои благородные мечты двадцатью шестью годами заточения в каземате Алексеевского равелина. В двадцать два года попасть в каменную могилу Петропавловской крепости!

Кто-то вспомнил книгу «Одеты камнем», а кто-то сказал, что в этой книге Ольга Дмитриевна достойно почтила память Михаила Бейдемана.

Ольга Дмитриевна была явно удовлетворена.

Интересно, что при всей своей литературной славе и популярности, она так и не обрела горделивой уверенности в себе. И честолюбие писателя никогда не заслоняло в ней чарующей человеческой непосредственности.

...Изумляя всех преклонного возраста литераторов, Ольга Дмитриевна ездила и на Ай-Петри с остановкой около Учан-Су, где мы под грохот тяжелой массы воды, падающей с высоты более ста метров, ели горячие чебуреки и пили местное вино. Ездили к глубокому ущелью Уч-Кош, удивительно живописному. Я отлично и навсегда запомнила лицо Ольги Дмитриевны, которая сидела на огромном валуне около автобуса и говорила с горечью:

— Вот если бы я могла спуститься и пройти по дну ущелья до самой Ялты...

Украинские дни

Украинские писатели — Оксана Иваненко, с которой Ольга Дмитриевна была дружна с давних пор, Воскрекасенко, Козаченко и другие, включая и приехавшего на короткий срок Тимошенко-Тарапуньку, который в ту пору писал воспоминания о своем учителе Александре Довженко, — все они встретили и обласкали Ольгу Дмитриевну как свою, киевлянку.

Так, не сомневаюсь, было бы и в Армении, и в Грузии...

И обитатели Дома творчества в Ирпени, и прелестные девушки, работающие в уютной столовой, и Галина, уборщица нашего корпуса, — все пленяли Ольгу Дмитриевну отношением и обращением. Она с удовольствием слушала украинскую речь, говорила, что украинская разговорная — мягкая, ласковая. В первые же дни выучила и повторяла с душевной интонацией: «с добрим ранком», «ишьте на здоровьичко», «чи вам нравится, чи нет?», «не забувайте за нас», «побачим з вами? ..».

Забавляла Ольгу Дмитриевну в Ирпени и целая компания собак, которые носились где-то и ютились где-то, но на территории Дома творчества мы их, как правило, не видели. Три раза в день они являлись в полном составе и исправно дежурили у входа в столовую, которая находилась от главного корпуса на расстоянии короткой и приятной прогулки.

Собаки собирались молча, сидели, лежали и безучастно давали нам пройти в дверь столовой. Зато когда мы выходили, они пружинисто поднимались на ноги, придирчиво осматривали наши руки и даже обнюхивали термосы.

Это было нечто вроде пограничного таможенного досмотра, бдительный контроль сторожевых собак первого класса. Но писатели не обижались, и редко кто выходил из столовой с пустыми руками.

Возглавляла собачью бригаду старая замордованная сука, бывшая красавица, пришедшая в упадок. Свобода общения перепутала все виды пород, но сука была рослая, грудастая, с темными кругами вокруг умных глаз. В ней угадывались далекие предки голубых кровей. Звали ее Медея, — так помпезно назвал ее много лет тому назад драматург из Харькова. И это высокое имя сохранилось за собакой навечно. У нее были свои поставщики съестного — в основном работники столовой. Они говорили, что Медея не просто безработная приживалка, а добровольно, по совести несет караульную службу: по ночам спит у спуска в подвал, рано утром встречает работников кухни, как табельщик.

Самым молодым среди собак был щенок в шубке из чистой цигейки цвета топленого молока. Как все щенки, он был обворожительно забавен и пользовался у Ольги

Дмитриевны шумным успехом. Она позволяла ему даже ночевать у нас в комнате под письменным столом. Но зато и щенок считал ее своей главной хозяйкой.

Когда ковер выносили в сад, чтобы проветрить, щенок мигом ложился на него, блаженно развалясь, шлепал себя толстыми лапами по морде, давал себе по мохнатому уху и даже ухитрялся вертеться как заведенный на спине, шевеля всеми лапами. Это зрелище Ольга Дмитриевна обязательно наблюдала с крыльца.

— Не делай мадам Рекамье, — говорила она щенку. — Ты же мужчина!

Когда Галина отгоняла его и тянула ковер, песик приходил в ярость, белыми острыми зубами отвоевывая свое право на комфорт.

Пил он воду прямо из крана в саду: подставлял открытую розовую пасть под капли, падающие из крана, который плохо закрывался, а Ольга Дмитриевна повседневно заботилась о том, чтобы кран, не дай бог, не исправили.

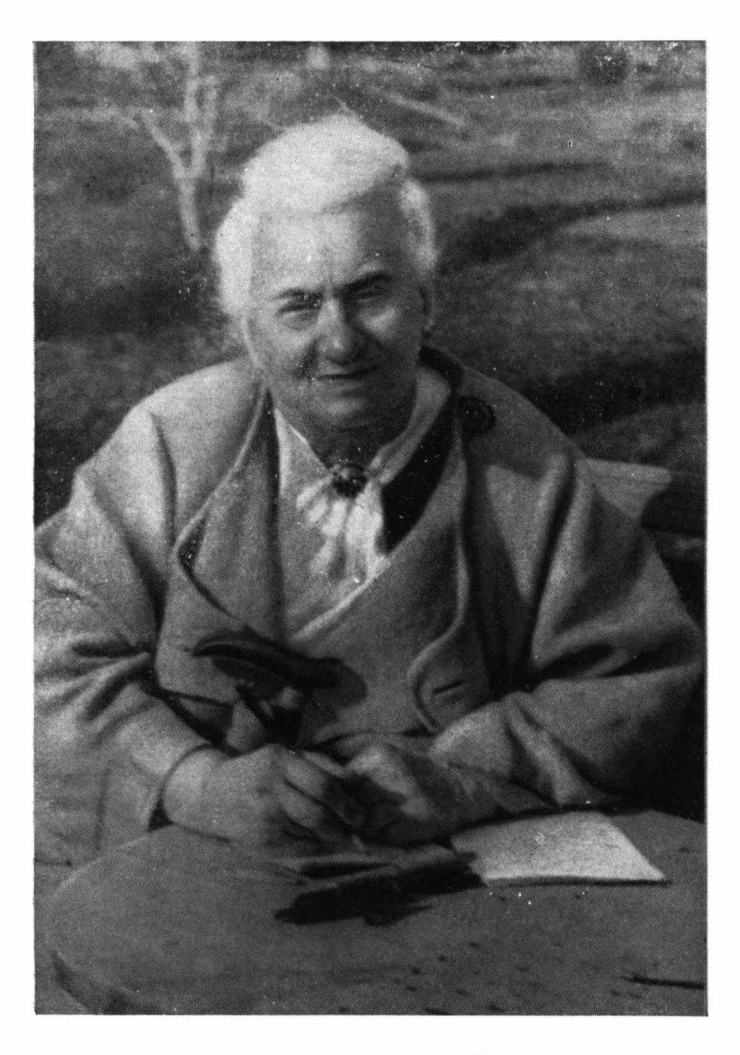
Колени Ольги Дмитриевны, когда она сидела на садовой скамье, служили щенку троном. Стоя на ее коленях, он хрипло облаивал собак, пробегающих где-то внизу, далеко под холмом, или случайных прохожих за забором.

Как звали щенка, я уже не помню, хотя Ольга Дмитриевна писала о нем своей внучке Оле письма-новеллы, иллюстрированные рисунками с натуры.

В Ирпени Ольге Дмитриевне действительно было хорошо и весело. Недаром же она так жадно мечтала снова съездить на Украину.

В честь Ольги Дмитриевны на высоком холме несколько раз устраивали ночные посиделки вокруг костра, пели протяжные песни. Больше других песен, украинских и русских, ей нравилась: «...В небесах торжественно и чудно. Спит земля в сияньи голубом...», потому что она гармонировала с лунным небом, ночной тишиной и бередила извечное человеческое смятение: «Жду ль чего? Жалею ли о чем? ..»

С утра Ольга Дмитриевна часто забиралась на свою скамейку, захватив ящик с акварельными красками или цветными карандашами. Рисовала или просто «погружалась в природу» — лицом к недоступному для нее лесу. Ранней весной в солнечную погоду он издали ка-



О. Форш. Тярлево. 1957

Ю. Либединский, К. Паустовский, О. Форш. Ялта. 1957

О. Форш. Ленинград. 1960

зался окутанным в нежно-золотистую, чуть зеленоватую вуаль и неотступно манил к себе. Но попасть в него можно было только через топкое, клочкастое, в рытвинах поле или через висячий железнодорожный мост, на металлических переплетах которого значилось крупно, ярко и многократно: «Все виды движения через мост строго запрещены». Смельчаки как-то решались переползать по мосту, цепляясь за переплеты его с внешней стороны. На этот трюк и смотреть-то было страшно: экспрессы летели через мост как молнии, летели с грохотом, с ураганным ветром.

Еще был кружной путь, но ни одна легковая машина не бралась доставить нас в лес по этой дороге: грязь густая, нарезанная колесами на продольные упругие гребни, или глубокие, необъятные лужи.

Из этого леса — вся исцарапанная, в мужских болотных сапогах — я иногда приносила Ольге Дмитриевне ветки цветущей вербы и голубоватые, сиреневые цветы на коротких ворсистых ножках — «сон». Несколько раз ходил со мною в этот лес Андрей Чернов, московский гость Ольги Дмитриевны, бывший когда-то секретарем ее двоюродного брата — президента Академии наук Владимира Леонтьевича Комарова. Чернов глубоко почитал Ольгу Дмитриевну и хорошо знал ее в течение многих лет. Однажды Чернов ухитрился вынести из заветного леса целое хозяйство: охапку цветов «сон» и белых цветочков, вроде подснежников, длинные ветки какого-то дерева с пухлыми, ароматными, клейкими почками, пласт сырой земли, покрытый бархатным мхом-ежиком, и огромного жука с олеными рожками. Правда, с такой поклажей мы чуть не сорвались с моста в реку, но Чернов уже задним числом высчитал какую-то кривую и успокоил и себя и меня тем, что мы упали бы на песчаный холм в центре болотной топи и, в худшем случае, вывихнули бы себе руки или ноги.

Ольга Дмитриевна была в полном восторге от лесных трофеев. Насчет того, что доставлены они с риском для жизни, мы с Черновым умолчали, а рассказали Ольге Дмитриевне про старый немецкий дзот, в который побоялись спуститься, рассказали о лисице, мелькнувшей в голых кустах, о том, как чудесно поют птицы... Еще я сказала, что южный склон крутой горушки ярко зазеле-

нел, только один такой лоскуток — первый в еще голом лесу.

— Два дня назад этой ярко-зеленой лужайки еще не было, — ревниво проворчала Ольга Дмитриевна.

— Может быть, она появилась за эти два дня. А может быть, я ее в прошлый раз просто не заметила. Ведь я живой человек...

— Ладно. Только никогда не говорите: «Ведь я живой человек». Это неприлично и некультурно.

...Дождливый вечер. Ольга Дмитриевна листает свою толстую ученическую тетрадь, что-то записывает. Потом раскрывает ее, ладонью разглаживает страницы.

— Это — шпаргалка. А ну-ка послушайте, что у меня получилось. — И, изредка заглядывая в тетрадь как в конспект, она получитает-полурассказывает:

— ...Старые деревья с толстыми когтистыми ветками. Это каштаны. Почки у них жирные, клейкие, какие-то съедобные. А у березы — тонкие, узорчатые веточки, почки-точки, на конце веточки — тонкая цыплячья лапка. Где-то, словно под землей, журчит вода. А это бьется ручеек — жиденький, но бойкий — по дну неглубокой канавки. Наверное, сам и пробил ее. С низкого бережка канавки свисает серая и рыжая старая трава, как свалявшаяся грива. А ниже, чуть ли не прямо из воды, торчат ядовито-зеленые стрелки — молодая травка. Над ними, как сползающий край старой кровли, ледяной навес — грязный, пористый, с навалом черно-коричневых мертвых листьев.

Дубы стоят в прочном осеннем уборе, листья — из ржавого железа. На многих деревьях, словно тронутые дымом пожара, обугленные сережки, желтые хрупкие листочки — ломаются, рассыпаются в пальцах.

Когда все это упадет на землю, когда же все обрастет зеленой листвой?

Из канавки торчит мордой вверх старый башмак-утопленник с разинутой пастью. В ней шевелится бумажная этикетка, прибитая водой: «Укркурортторг, розн. цена 350 рублей». Дороговато для такой рвани.

За канавкой — целый участок молодых березок. Это они торопливо выросли на лысом черепе старого дзота, чтобы поскорее закрыть его, заслонить память о нем. Между влажными черными стволами, играя, проносится рыжее пламя, словно ветер перебросил его бесшумно

с места на место. Нет, это всего только лисица... А за частоколом высоких и болезненно тонких деревьев, которые живут в тесноте и обиде, — голубые озерца... Но это не талая вода, отражающая небо. Это лесные цветы, цветы ранней весны, мохнатые, растущие густо, лепесток к лепестку.

Лес еще просвечивает насквозь, весь пронизанный солнцем. Особый запах сырой земли, еще не распустившихся почек, горький запах старой, гниющей листвы. От нее земля под ногами мягкая и бугрится, как плохо разостланный толстый ковер.

И голоса, тысячи птичьих голосов, вразнобой, каждый — свою ноту, свой мотив, свое настроение. И кажется — сейчас этот грандиозный оркестр кончит настраивать свои инструменты и грянет на весь лес единый для всего птичьего мира Большой вальс...

И вдруг из птичьего нестройного гомона вырывается один — шелковый, хватающий за сердце голос, счастливый, вдохновенный. Это соловей...

Я в тот же вечер записала все это — частично с голоса, частично по ее шпаргалке. Но Ольга Дмитриевна прочитала и поморщилась:

— Нет, по-моему, не хватает сюжета, простейшего, сквозного, ради которого автор любовался природой, улыбался, шутил, отдыхал. Может быть, сюжет пойдет от старого дзота, а может быть — от лисицы. Или от старого башмака? Пожалуй, от него... И назову рассказ «Большой вальс» или «Рваный башмак».

Через день-другой Ольга Дмитриевна попросила меня снова прочитать вслух ее «письмо из лесу». Сказала сердито:

— Кому ни прочитай, обязательно спросят: «Ах, вы попали все-таки в Ирпенский лес? Нет, не были? Как же вы написали это «письмо»?» Глупейший вопрос! Во-первых, я здесь живу на природе. Во-вторых, я знаю русские леса, и хорошо их знаю! В-третьих, каждый человек тащит что-то в клювике другому человеку... Писатель должен не просто смотреть, а должен увидеть. Одни смотрят — и все. А другие видят, слышат, понимают, вникают. Остальное — работа воображения и таланта...

А исторические писатели? Уж в обществе-то Екатерины и Потемкина я в самом деле не бывала. Тем более в жаркие часы их сердечной близости.. И голой волосатой груди фаворита я своими глазами не видела... А меня когда-то один читатель спросил в письме: «Вот в «Радищеве» есть сценка — казачонок Филиппка обрызгал шелковые стены опочивальни игристым изюмным квасом. А Потемкин, хохоча, стал рыться в кудрях казачонка — выискивать застрявшие в них изюминки, издеваясь над маркизом де Муши... Откуда вы эту сцену взяли, товарищ Форш? Из каких документов?» Я хотела ответить: «А я, товарищ читатель, все выдумала и наврала. Никакой такой сценки и вовсе не было».

...В другой раз, все еще раздражаясь, Ольга Дмитриевна снова заговорила на эту тему:

— Они считают, что художник может работать безошибочно, творчески честно, если он рисует с прямой натуры. Портретистов, что ли, они имеют в виду? А ведь иной раз «прямая натура» выглядит менее достоверно, чем талантливо и умно выдуманное. Вот за Толмачевым я видела, как ветер, сильный ветер шел издали, постепенно, поочередно пригибая деревья. И еще: стояла я в открытом поле, и из тучи над головой полил дождь. От него можно было спастись очень просто: отбежать на три метра, где никакого дождя не было. Вот какие номера выкидывает природа, а они годятся только для учебника физики или для научно-популярного фильма.

...В Киеве Ольга Дмитриевна раньше всего попросилась в Андреевскую церковь, прекрасное творение Растрелли. Она рассказывала нам, как Растрелли сооружал это чудо архитектуры. Потом мы возили Ольгу Дмитриевну смотреть Софийский собор, новый, нарядный Крещатик, набережную Днепра... И везде Ольга Дмитриевна удивляла нас молодым восприятием красоты, осведомленностью, боязнью пропустить что-нибудь важное, интересное, живописное.

На Владимирской горке она побывала дважды — днем и вечером, оттуда хорошо был виден Днепр. Владимир с гигантским крестом из ярко горящих электрических лампочек привел Ольгу Дмитриевну в смущение: «Цивилизованный святой. Приобщили-таки к эпохе электричества и атомной энергии...»

Латвийская осень

Уже на склоне лет Ольга Дмитриевна категорически заявила, что в Ригу она летит на самолете — первый раз в жизни. Вот так, и никаких уговоров! Смешно даже, до сих пор ни разу не взлететь. Что она, в конце концов, рождена ползать?

В самолете Ольга Дмитриевна сидела у окна, живо интересуясь: а что это написано на крыльях машины? А что это за металлический штифтик? А розетка на стекле? На какую максимальную высоту мы поднимемся?.. Гигиенические пакеты ей очень понравились, — «подумайте, как предусмотрительно!» — и два мешочка она сразу взяла себе на память.

Из кабины вышел к пассажирам загорелый, пышущий спортивным здоровьем летчик, подошел к Ольге Дмитриевне, сказал, что знает ее книги и счастлив познакомиться с самим автором.

Самолет поднялся в воздух, набирая высоту, Ольга Дмитриевна не отрывала глаз от окна, я — от Ольги Дмитриевны.

Мы летели над мягким, пушистым одеялом облаков, скрывающим от нас землю. Оно колыхалось, дыбилось, но не пускало на землю ни единого солнечного лучика. Солнце светило только для нас. Что творилось с этим облачным покрывалом! Оно переливалось и вспыхивало всеми цветами радуги, то вдруг освещалось зарницами, то подергивалось перламутром. А то просто громоздилось бело-розовыми сугробами. Мы летели над этим волшебным облачным миром в течение всего рейса, и Ольга Дмитриевна все время жадно смотрела в окно.

Когда мы приземлились на аэродроме, она попрощалась с экипажем и поблагодарила «за облака».

— Теперь я знаю, где жил печальный демон, дух изгнания, который парил над грешною землей. Вы мне показали. Спасибо.

Командир поклонился Ольге Дмитриевне и сказал, что очень рад видеть ее в «такой хорошей форме и таком бравом настроении».

Слово «бравом» пришлось Ольге Дмитриевне по душе:

— Он угадал мое генеральское происхождение.

В зале рижского аэровокзала нас ждал новый сюр-

приз. Под высокими сводами вокзала раздался голос по радио:

«Писательницу Форш Ольгу Дмитриевну просят подойти к газетно-журнальному киоску под аркой».

Киоск оказался рядом, я усадила Ольгу Дмитриевну на стул, и она сразу занялась рассматриванием выставленных за стеклом книг и журналов, а я написала телеграмму в Ленинград, семье Форш.

К нам подошла беленькая голубоглазая стюардесса, она распорядилась нашим багажом как положено, подвела к нам директора Дома творчества «Дубулты» Баумана. Не успели мы сесть в «Волгу», как Ольга Дмитриевна поведала Бауману о надзвездном мире демона, откуда она только что очень неохотно вернулась на землю. А Бауман стал убеждать ее, что зато здесь, на земле, — Балтийское море, дюны, цветы и сосны. В этот же день Ольга Дмитриевна и Бауман составили план путешествий на легковой машине.

...Нас поселили на втором этаже, и главной радостью Ольги Дмитриевны стал балкон, а вровень с ним и выше — сосны, полные белок и птиц.

Несмотря на частые ветры и осеннюю прохладу, балконная дверь почти всегда была распахнута. Распоясавшиеся голуби, считая балкон своей законной территорией, запросто входили и в комнату, когда нас не бывало дома, и даже оставляли досадные следы на зеркально натертом полу. Приходилось, уходя, закрывать балконную дверь.

Только один из доброго десятка голубей — грязно-черный, трепаный, явно неустроенный и озлобленный — заглядывал к нам в комнату даже в часы работы, когда мы читали вслух, стучали на машинке, разговаривали. Ольга Дмитриевна прозвала этого голубя Шамиль, подозревала, что он обижает бело-сизую кроткую голубку, и все надеялась, что Шамиль переселится на карниз окна ленинградской переводчицы Анны Кулишер, у которой на подоконнике всегда лежали фрукты и недоеденные пироги.

Однажды, когда я вернулась домой из библиотеки, Ольга Дмитриевна сказала:

— Тут без вас заходил Шамиль. Я сидела тихо, слова худого ему не сказала. А он смотрел на меня так, словно

я взяла у него в долг круглую сумму и не собираюсь возвращать.

К концу нашего пребывания в Дубултах Ольга Дмитриевна стала критичнее относиться к голубям:

— Все-таки они обжорливые и драчливые. Надо бы им денно и нощно помнить, что они несут высокую миссию — голуби мира!

Зато какой нежностью прониклась Ольга Дмитриевна к белкам! Грациозные, изящные, они пленяли неправдоподобной ловкостью, гоняясь друг за другом спиралью вокруг соснового ствола или перелетая с ветки на ветку.

Если выдавался хороший день, я водила Ольгу Дмитриевну к морю. На скамейку, ушедшую ножками в золотой песок, мы стелили клетчатый плед, клали подушку, а под нее — «несерьезную литературу». Ольга Дмитриевна ложилась лицом к морю, и я оставляла ее одну.

А когда я приходила за нею, она удивляла меня бесчисленными и тончайшими наблюдениями; море, лодки, рыбаки, курортники — все она держала в поле зрения и говорила мне:

— Я и отдохнула, и подремала, и все вокруг критически осмыслила.

О прохожих, мелькающих на пляже, она придумывала всякую всячину — биографию, черты характера, приписывала им дрянные склонности и самые неожиданные намерения. Неисчерпаемая фантазия, сдобренная юмором, и насмешливый ум, делали ее блестящей рассказчицей, автором множества устных новелл, которые она легко забывала, потому что не дорожила ими, не придавала им значения.

И еще была в Ольге Дмитриевне житейская мудрость без назидательности...

— Ольга Дмитриевна, в вестибюле стоит старая женщина, она узнала из газеты о вашем пребывании здесь и вот приехала из Риги. Называет вас подругой юности, говорит, что знает вас еще по институту, молодой, бездетной... Эвелина Альбертовна...

Лицо у Ольги Дмитриевны становится скучное-прескучное.

— Она очень стара?

— Да, пожалуй.

— У нее бывшее красивое лицо и старомодно-интел-

лигентная речь. Она что-то там не выговаривает — «р» или «л».

— Да, Ольга Дмитриевна.

— Ну, вот что. Встречаться престарелым подругам после шестидесяти лет разлуки — все равно что разрывать старую могилу. Она в молодости была умной, значит, вам удастся объяснить ей все как надо, чтоб не обижать человека... Боже мой, зачем ей встреча со мною после шестидесяти — шестидесяти пяти лет полной, глухой разлуки? Вот уж непонятно. А если у нее просьбы — надо сделать все возможное.

Я пошла было к дверям, но Ольга Дмитриевна добавила, перейдя на шепот:

— Может быть, ее утешило бы ваше сообщение, что я, узнав об ее приходе, разрыдалась, потеряла сознание? Словом, смотрите, как лучше...

И она так махнула рукой, словно задернула занавес.

Я посидела с Эвелиной Альбертовной в вестибюле, угостила ее кофе и терпеливо выслушала длинный рассказ о том, какие они с Ольгой Дмитриевной были красивые и очаровательные девушки, и вот — жизнь прошла...

Проводив старушку до станции и вручив с извинением подарок от имени Ольги Дмитриевны, я вернулась домой с твердым решением ничего не рассказывать, а тем более о том, что «жизнь прошла».

К моему удивлению, Ольга Дмитриевна встретила меня так, словно никакой гостьи у нас не было.

— Пока вы ходили гулять на станцию, мы с саратовской поэтессой подошли к желтой калитке, на которой железка — визитная карточка хозяина: «Злая собака». В пику хозяину я покормила его «злую собаку» колбасой и еще отдала ей ваш пирожок. Ничего?.. Хорошая, ласковая собачка. И аппетит у нее отличный.

...Мы часто покупали помидоры и цветы у старого молчаливого латыша с благородными чертами непроницаемого лица. Он работал в Доме творчества садовником и огородником, жил через дорогу в маленьком деревянном доме, но небольшая территория, занятая оранжереей, парниками и всякими грядками и клумбами, вызывала изумление. Старик был неутомимым тружеником, он любил землю, в которой копался с утра дотемна молчаливо, одиноко, с лицом глубокомысленным и строгим.

Ольга Дмитриевна очень часто бывала у него, все дивилась то на мясистые, дивно пахучие помидоры, то на причудливые, скрещенные с какими-то заморскими красавицами хризантемы. У него в оранжерее стояли горшочки с неведомыми темно-бордовыми цветами, — он их сам сотворил; розы черно-красные, восковые, снежно-белые; низкая, густая, похожая на артишоки светло-зеленая трава, — она служит красивой каймой вдоль садовых дорожек, и ею латыши любовно украшают могилы. В кадках росли маленькие деревца с крошечными листочками, их и видно-то не было под гроздьями пушистых дымно-розовых цветов.

Это нежное женственное дерево Ольга Дмитриевна захотела купить для Тярлева, но старик сказал, еле разжав губы:

— Погибнет. — И показал нам полки в сараюшке с множеством разных луковиц: — Тульпан. — И пробормотал что-то еще. Я с трудом поняла, что это луковицы тюльпана из Голландии.

Когда мы выбирались из сараюшки, старик протянул Ольге Дмитриевне несколько восковых роз и горсть голландских луковиц. Но денег не взял.

На другой день я по требованию Ольги Дмитриевны купила ему электрический фонарик, никелированный кофейник и отнесла ему книжку Ольги Дмитриевны с автографом.

Он взял книжку, подумав, взял фонарик. А кофейник решительно отстранил. И все это молча, только поклонился.

Как всегда, она придумала жизнь старого латыша, вернее сказку о нем.

«...Он был до прихода нашей власти очень богат. Ему принадлежала половина Дубулты, все корпуса нынешнего Дома творчества, особняк с желтой калиткой и злой собакой. Он жил в Риге в собственном доме. Но пришла советская власть и сказала: «Ты уже немолод и одинок. Зачем тебе одному так много? У тебя же золотые руки, ты можешь стать царем цветов. Твой собственный труд, твое прекрасное искусство, любимое дело — вот в чем богатство человека. Такому богатству никто не станет завидовать, а ведь это счастье, когда тебе не завидуют. Прекрасные плоды твоего труда вызовут уважение и

любовь людей. Лучше пускай завидуют твоему искусству. Вот, решай судом своей совести».

И цветочных дел мастер кивнул. Молча, конечно».

В Риге Ольга Дмитриевна смотрела, оценивала по своему собственному духовному ценнику все, чем славится Рига. Но отбирала для души далеко не все. Потом, много позже, в Ленинграде она вдруг мечтательно вспоминала не Домский собор с его всемирно известным органом, не знаменитый мост через Даугаву, построенный за сто пять дней женщиной-архитектором, не памятники старины и не достопримечательности современной Риги. Ольга Дмитриевна вдруг вспоминала Кировский парк, площадку роз, декоративные ворота из лип. На дорожке — детская коляска. Два голубя подсели на край коляски и поклевали пряник на одеяльце ребенка. Или другое: старушка латышка примкнула к экскурсантам и добровольно на ломаном русском языке дополняет экскурсовода — беспокоится, чтобы тот не забыл какую-нибудь достопримечательную деталь. Или вдруг вспоминала дерево Петра I, посаженное в 1721 году, сгнивший старый пень с двумя великолепными молодыми стволами.

Прощаясь с Латвией, Ольга Дмитриевна в последний раз на машине Баумана ездила любоваться Ригой.

— Цветы, цветы, цветы. Культ цветов — вот последнее, что остается в памяти, когда прощаешься с Латвией. Здесь любят природу, радуются ей, холят и нежат ее красоту.

Мы заехали в большой цветочный магазин, чтобы купить букеты для ленинградского дома Форш.

Альпийская фиалка, голубая гвоздика, охапки мелких кудрявых роз и розы огромных размеров, тяжелые... Корзиночки замысловатые, сооруженные с тонким вкусом, художественно подобранные цветы и декоративные растения в общей керамической чаше изящной формы.

Ольга Дмитриевна затосковала, у нее сделалось растерянное, даже жалобное лицо.

Она сказала Бауману:

— Нельзя же купить все это... Вы знаете, в Японии главное приданое девушки — умение искусно вышить кимоно и еще — составить букет... Составить букет — это

школа эстетики, это нелегкий труд, требующий таланта, культуры, вкуса... У нас еще нет этой массовой органической потребности в красоте. Мы сплошь да рядом обходимся без нее, увы.

...Под нашим балконом в Дубултах мы посадили в честь Ольги Дмитриевны елочку. Когда ездили на машине в лес за грибами, Ольга Дмитриевна засмотрелась на живописный холмик, где под большой сосной-мамой росла маленькая, хорошенькая елочка. Мы бережно выкопали ее и посадили под самым балконом, на котором Ольга Дмитриевна провела столько часов.

Домик над оврагом

Между Пушкиным и Павловском расположилась деревня Тярлево — скромная, маленькая, ничем не примечательная. Разве только тем, что здесь в начале 50-х годов поселилась Ольга Дмитриевна.

Именно в этом поселке она купила себе весьма несерьезный домик — на откосе, прижатый со всех сторон чужими заборами, с покатым огородиком, который медленно, но непоправимо сползал в овраг. На дне овражка булькал жалкий ручеек.

Все удивлялись — ну почему не приобрести было дачу крепкую, просторную, с нормальным участком? Ведь заслужили вы, Ольга Дмитриевна, и работать вам было бы удобнее; семья большая, дети, внуки, и гости наезжают. Да и средства позволяют.

Ольга Дмитриевна сердилась, — она сразу же полюбила свое Тярлево, уже предвидела и обдумала, как все будет вокруг дома и в комнатах, уже мысленно любовалась и гордилась завтрашним днем своего нового убежища.

— Рядом — Царское Село и рядом — Павловск. Лицей и молодой Александр Пушкин. Дворцы и парки. Коронованные правители и некоронованные гении. А еще — могила русского живописца Павла Чистякова, моего учителя. И вокруг — ни единого писателя!.. Ну где бы еще я нашла такие преимущества, такое общество и такие русские пейзажи?

— Но ведь можно было найти хорошую дачу в Пуш-

кине, Гатчине, Павловске, если вам так дороги эти места...

— А писателю зазорно селиться в хоромах, по-моему. И гектары всенародной земли обносить забором совсем уж неприлично. А вот цветов, ягод, яблок будет у меня предостаточно даже на этом кривом лоскуте земли.

Она взмахивает палкой, обводит ею полукруг:

— Поглядите, какие царственные тополя. Да из-за одних таких тополей и то был бы резон поселиться в этой деревушке. Старые, густые. В дождь они так благоухают, что надышаться невозможно...

С годами участились болезни, стали затруднительны прогулки без провожатого и все виды самообслуживания. Тогда рядом с Ольгой Дмитриевной появилась Ксения Густавовна, которая постоянно жила с нею в Тярлеве, а в Ленинграде приходила «на рабочие часы» .

Эта добрая и веселая старушка, все еще женственная и даже кокетливая, научилась бесхитростно угождать Ольге Дмитриевне, искренне гордилась тем, что «служит у самой Ольги Форш», говорила с неистребимым польским акцентом, а когда хотела выразить особую светскую любезность, всплескивала ручками и чуть трясла наклоненной набок головкой. Ольгу Дмитриевну это последнее приводило в неистовый восторг. С первого же дня она окрестила ее «пани Бобрик» и говорила шепотом, боясь спугнуть:

— Смотрите, смотрите! Пани любезничает с Тамарой, сейчас начнется варшавский тряс... Ну вот! Вот!

Часто, приехав к Ольге Дмитриевне в Тярлево, я заставала ее и пани Бобрик за картами. Игра была старинная, несложная, называлась почему-то «мадам Сансуси». Играли они обязательно на что-нибудь: пакетик аспирина, елочные свечки, катушку ниток, — и даже на какое-нибудь действие: кто совершит тот или другой поступок. Потом они любезно «угощали» друг друга аспирином или катушкой ниток, но карточный долг выплачивался педантично и безотлагательно.

— А как же? — возмущалась Ольга Дмитриевна. — Наши предки стрелялись из-за карточных долгов, дрались на дуэли. Традиция!

Но однажды Ксения Густавовна проиграла Ольге Дмитриевне целое состояние. Это грозило полным разо-

рением всему польскому семейству. А произошло это так...

Сначала Ольга Дмитриевна рассказывала о том, как мы с нею летали в Ригу. Это был уже не первый и конечно же не последний рассказ «бывалого воздушного пассажира». Потом вытащила свою записную книжку и стала читать нам всякие мудреные названия, списанные с крыльев самолета: разъемы трубопроводов и электрожгутов. Аэродромное питание. Крепление калориферов...

И вдруг всем телом повернулась к пани Бобрик:

— А что, если нам сыграть на крепление калориферов?

Та сузила лукавые глаза и коротко потрясла склоненной набок головкой:

— Конечно, пожалуйста. Но может быть, лучше на это... питание...

Вот тут-то Ольга Дмитриевна и размахнулась:

— Э, да чего тут мельчить! Давайте-ка сыграем на «ИЛ-14».

И, обыграв пани Бобрик, пустила старушку по миру.

Маленькая Оля Форш, внучка Ольги Дмитриевны, фантастически влюбленная во всякую живность и всех представителей флоры и фауны, раздобыла где-то тритона, привезла его в Тярлево и устроила ему дом в серебряной крюшоннице времен петровских ассамблей. Старинная чеканка, ручки изогнутые, чешуйчатые русалки или драконы.

Пани Бобрик ужаснулась так, словно тритон был крокодилом, поносила его, забыв свою импортную галантность. И однажды не без задней мысли предложила Ольге Дмитриевне сыграть на тритона.

Уж я не знаю, каким образом выигрыш достался пани Бобрик. Боже, что тут было! Ольга Дмитриевна делала вид, что ей душевно дорог этот тритон, потому что его нашла Оленька. Потом терзала пани тем, что тритон — сын Посейдона.

Но пани Бобрик была неумолима:

— Это очень некрасивый сын. Это — гад.

На моей памяти самой дорогой и комфортабельной постройкой в тярлевском саду оказалась собачья конура. Она была классически отеплена, удобна, красива. Нужды и потребности восточной овчарки были учтены в деталях.

Но собака смотрела меланхолично, брезгливо отворачивалась от супа и скулила по ночам на манер тирольских песен. Вот этой-то мохнатой собаке — кажется, ее звали Махмуд — попал под ноги тритон, сын Посейдона. Его хотели выпустить в овраг, к ручейку, но тритон как-то ухитрился выскочить из крюшонницы и юркнуть во дворец Махмуда.

Пани Бобрик боялась подвоха и поэтому хотела лично установить факт бесповоротного ухода тритона в неизвестность.

А Махмуд чуть шире открыл глаза и с несвойственной ему нервностью тронул гостя большой тяжелой лапой. Когда тот дернулся в сторону, Махмуд понюхал землю вокруг него и снова поднял лапу. Тут пани Бобрик не выдержала, взвизгнула: «Не смей! Нельзя!» — и прутиком подпихнула тритона, выкатила его на узенькую, заросшую травой дорожку. А уж дальше он сам пошел от нас вдоль ручейка куда глаза глядят. Лишь бы они не глядели на Махмуда.

После этого Ольга Дмитриевна в течение целой недели называла пани Бобрик Марией Тюдор Кровавой. Та недоумевала и всерьез уверяла, что именно она спасла жизнь «этого тритончика».

...Вскорости и тярлевский дом, и сад стали неузнаваемо хороши и уютны. Очень трудно представить себе, каких забот это стоило и самой Ольге Дмитриевне, и ее семье. Угловая веранда густо обросла цветами. В ящиках на перилах, на балконных столбиках, просто на полу, на табуретах — со всех сторон все цвело и благоухало. Вдоль уродливых заборов буйно разрослись цветущие кусты. Большеголовые пионы самых различных оттенков красовались между стволами старых величественных тополей... А в огороде появились и клубничные грядки, и яблони — привитые, ухоженные... И все это в немыслимой тесноте.

В кухне и в комнате самой Ольги Дмитриевны цветы уже вытесняли людей и самую необходимую мебель. Внучка Ольги Дмитриевны, ныне геоботаник, работающая в Супутинском заповеднике, разводила тогда свое опытное хозяйство буквально на каждом сантиметре свободного места, на подоконниках, столиках, просто на крыше. Вешала на стену полочку в виде дощечки, а то и просто щепки, а на ней — горшочек с чем-нибудь зеленым.

В керамическом наперстке цвел единственный белый колокольчик с далекого Байкала, в кадке разрослось настоящее дерево лимона. А когда один из сотни разнородных кактусов вдруг нелепо, прямо из брюха выпустил ярко-красный цветок, в доме возникла праздничная суета.

Ольга Дмитриевна схватила свои бесчисленные цветные карандаши, подсела к нему с набожным видом и принялась рисовать.

Она любила рисовать, и все стены в ленинградской квартире и в Тярлеве украшены ее рисунками. Любила рисовать цветы, вид из окна, Петропавловскую крепость и кофейный домик Петра, обугленное блокадное дерево и интересное лицо... И где бы мы ни путешествовали, Ольга Дмитриевна всегда привозила с собою в Ленинград целый альбом рисунков. Но сама терпеть не могла позировать, и если соглашалась — только по необходимости...

Однажды в Тярлеве она уединилась в своей комнате и углубилась в чтение какой-то тетради, но неожиданно приехал молодой безвестный художник — костлявый энтузиаст с горящим взором. Казалось, он готов лечь под нож, но уехать ни с чем — нет, не согласен.

Ольга Дмитриевна осталась сидеть в своем вечном плетеном кресле, сказалась нездоровой, но покорно приняла неудобную, непривычную для нее позу, продиктованную художником, и, осторожно моргая, стала читать свою тетрадку с самого начала.

Художник — он работал маслом — сверлил свою натуру выпученными глазами.

Пани Бобрик, тетя Шура, — кругленькая маленькая сторожиха с больными ногами, и корявый старик садовник, ее муж, — весь тярлевский «двор» стоял пригорюнившись у порога, как на панихиде.

Я сидела в комнатушке пани Бобрик, все смотрела на стенные часы и загадывала: вот ровно через 30 минут я его выгоню, этого нахала.

Заглядываю к Ольге Дмитриевне.

Художник, кажется, только входит во вкус. Он уже сопит от удовлетворения, рука его, священнодействуя, летает над холстом... Я подхожу к нему громкими, бестактными шагами и вдруг вижу: пальцы Ольги Дми-

триевны безжизненно разжимаются, тетрадка валится на ковер, подбородок уткнулся в грудь, веки вздрагивают.

Пани Бобрик охает с подвывом и кидается к Ольге Дмитриевне. Тетя Шура ковыляет за водой и грелкой. Я капаю в рюмку сердечные капли и одновременно глазами показываю художнику на дверь.

Он, виновато хмыкая, поспешно собирает свое хозяйство и пятится к выходу.

Ольга Дмитриевна чуть приоткрывает один глаз — ясный, блестящий, подмигивает нам.

— Ушел? — спрашивает шепотом.

— Ушел, ушел! — отвечаем мы счастливыми голосами.

Кряхтя, она с трудом выбирается из кресла, трет затекшую шею, поводит плечами.

— Да что же это такое? Не предупредив, не спросившись — прямо ко мне и сразу за дело. Вообще-то с таким демократизмом надо кончать, хотя я этого художника могу понять вполне: узнал, что старейшая писательница О. Д. Форш болеет, и бросился сюда, чтобы первым зафиксировать ее предсмертный облик. Последний портрет живой О. Д. Форш. И очень торопился: а вдруг не успеет!.. Бизнес.

— Больно костляв, — брезгливо заметила толстая тетя Шура.

— Да, надо было бы накормить этого бизнесмена... Еще смешно, что в руке у меня оказалась безыдейная тетрадка — рецепты разных скорых печений. Вот, например, читайте: три яйца, стакан сахарного песку... А этот художник написал бы: «Последние творческие минуты... Перо выпало из ее ослабевшей руки...»

Тут же сообща решили приготовить к чаю «скорое печенье» — три яйца, стакан песку и т. д.

Тетя Шура была специалистом по этой части: ровно через 30 минут мы уже пили крепкий чай с нежным, душистым печеньем.

У Ольги Дмитриевны был особый талант находить людей по своему вкусу, привязывать их к себе. Это не всегда были люди, что называется, хорошие. Но они какой-то стороной характера, поведения, жизненной позиции импонировали ей, и тогда Ольга Дмитриевна проявляла к ним подлинно писательский и гражданский интерес.

Тетя Шура, в отличие от любезной, всегда и всем довольной, приветливой, кокетливой пани Бобрик, была прямолинейной, сердито-справедливой. Благодарить не любила и чувство благодарности выражала иной раз в какой-нибудь грубоватой форме, явно боясь унизиться перед людьми, владеющими возможностью дарить или помогать.

— Что вам подарить ко дню рождения, тетя Шура? — дружески, даже чуть заискивая, спрашивает Ольга Дмитриевна.

Тетя Шура поучительно поправляет:

— Вы меня старше небось годков на десять, так какая ж я вам тетя? Это вы мне теткой могете быть...

Тетя Шура думает, глядя в темное окошко, потом говорит деловито:

— Наволочки бы мне надо. С прошивкой бы не худо.

— Может быть, полную смену белья? Две простыни, два пододеяльника...

Тетя Шура загорается самолюбием, обостренным разницей в социальном положении:

— Вы спросили, я ответила — наволочки, две штуки. С прошивкой. Прибавьте, коли вам надо, еще два полотенца вафельных, по метру.

Так и решили.

Утром тетя Шура с мужем уехали в Пушкин за покупками, а мы втроем после завтрака раскроили череп такому красавцу арбузу, что Ольга Дмитриевна решила сделать набросок — натюрморт в самом деле был живописным.

Сколько ни ели, ровно половина арбуза-гиганта осталась нетронутой. К вечеру пани Бобрик осенила удачная идея:

— Сейчас Костаковы вернутся, а мы поставим им самовар, заварим крепкого чаю. Лимон есть, есть пирог с капустой, конфетки, арбуз.

Мы зашли в комнатку Костаковых, зажгли свет и онемели от царящей здесь праздничной чистоты. Окошко, цветочные горшки и все вазочки вымыты, белые ситцевые занавесочки ослепительны и накрахмалены, скатерка, покрывало наглажены...

Погасили мы свет, вернулись к себе и решили, зная характер тети Шуры: никакого самовара, конфет и всего другого — ничего до их приезда. Зайдем, поздравим и за-

несем свое угощение — проявим, так сказать, внимание позже. Время терпит.

Только половину арбуза решили все-таки внести в тети Шурино гнездо заранее: он был такой красный, спелый, сладкий. И выглядел эффектно на фоне белейшей скатерки.

Я выбежала в соседний дом за журналом. А минут через десять застала Ольгу Дмитриевну в веселом возбуждении. Она выразительно зашептала:

— Вернула! Подумайте, вернула наш арбуз, говорит, он уже несвежий, задумчивый стал. Сдачу принесла — до копейки, и мы приглашены к восьми часам вечера к ней на чай... Молодец, интересный человек, с достоинством.

Вслед за Ольгой Дмитриевной мы стали всерьез одеваться, как на званый вечер...

В Тярлеве стало так тенисто, прибрано, уютно, что даже гости, владельцы прекрасных дач на Карельском перешейке, искренне одобряли домик Ольги Дмитриевны.

После дождя она любила выходить на веранду, устланную мокрыми тополиными листьями, дышала глубоко, медленно и горестно качала головой:

— Много ли разрушений, а? Астры, наверное, поломал? — Это она упрекала ветер. Опять дышала-дышала чистым влажным воздухом и говорила: — Запах свежего сена — ведь божественный запах, верно? А попробуйте надушиться такими духами и пойти на бал. Или просто в гости. Тополь после дождя — какой аромат, сердце молодеет. А вот надушиться духами «Тополиная свежесть» нельзя. Представьте, так же я думаю и про ландыш, и про розу, и гвоздику... Духи должны обладать ароматом беспредметным, как вы думаете?

...В один из вечеров в комнату к Ольге Дмитриевне зашла тетя Шура, села, поставила на стол локти и произнесла такой монолог:

— Тебе твои тополя — аромат да любование. Ты все говоришь про них разные восторги. А вот у соседки, что с тремя внуками, огород дохнет, яблоки не румянятся. Тень от твоих тополей, вовсе солнца нет на ихней земле. Как хочешь, Дмитриевна, а два тополя — я уж метки на стволах поставила — рубить надо. Давай сегодня да

завтра горюй-привыкай, а послезавтрева Иван Васильевич пилу принесет...

Ольга Дмитриевна в смятении молчала.

— Конечно, — добавила тетя Шура, — тут тебе с твоими союзами, да документами, да книгами уважение сделают — пожалуйста, мол, товарищ известный писатель, плюйте на вдову и ее трех внуков. А только...

Тетя Шура с трудом поднялась и договаривала, уже ковыляя к дверям:

— Мне эта соседка твоя — никто. Может, она и гадюка последняя. А троих детишек без своего огорода — вот их жалко. Тут и трех мнениев быть не может.

Ольга Дмитриевна взяла палку, пошла к своим тополям. Они шелково шелестели и испускали крепкий свежий запах.

Я поискала метки, нашла их на стволах двух самых старых, самых развесистых тополей, пощупала эти ножевые ранки и хотела было зайти к тете Шуре. Но дорогу мне загородила Ольга Дмитриевна.

— Ну что ж. Я погоревала, привыкла. Леночка и Дима давно уже говорили мне об этом, они считают, что соседка права. И знаете, в самом деле!.. Скажите, пусть там согласуют с властями... Смешно — не вишневый же сад рубим!

...Надо отдать должное близким Ольги Дмитриевны и ей самой: ни один из незваных гостей или деловых посетителей, ни почтальон, ни водопроводчик — никто, никогда, нигде не заставал ее врасплох: в несвежем халате, непричесанной, опустившейся. Она всегда была любовно ухоженной. Это было делом заботливых рук дочери Тамары и Леночки, жены сына. Им помогала пани Бобрик, а во время последней болезни — медсестра Тася Соткина, пышущая здоровьем, молодостью, покоряющая русской красотой и ушедшая в могилу нелепо, почти вслед за своей подопечной.

Даже в тягчайшее для Ольги Дмитриевны время, время невероятных физических страданий, с которыми она перешагнула через порог своего восьмидесятишестилетия, сознавая, что живет, как приговоренная, и наступает пора прощания с дорогими и близкими сердцу людьми, с природой, которой она никогда не могла насладиться досыта, — даже в этот самый последний период жизни она оставалась женщиной и человеком глубокого и тонкого

эстетического восприятия мира, особого, повышенного такта, который делает человека красивым во всех движениях его души.

Безошибочно чувствуя, как надвигается конец, она еще прелестно улыбалась, примеряла перед ручным зеркалом новое кружевное жабо и поправляла прядь ослепительно белых волос. И тут же азартно острила по поводу своего «кокетства», трогательно пряча душевное состояние за веселой насмешкой.

Когда Ольгу Дмитриевну свалила последняя болезнь, из которой выкарабкаться было уже невозможно, мне сообщили, что И. С. Соколов-Микитов просит устроить ему встречу с Ольгой Дмитриевной, пусть совсем короткую.

Я поехала в Тярлево заранее, захватив, как всегда в былые времена, «парадный харч» по заказу Ольги Дмитриевны. Тамара, Дима и Леночка боялись, что это свидание будет мучительным для обоих: ему тяжело будет смотреть на старого умирающего друга, которого он знал молодым, сильным человеком, блестящей писательницей, обаятельной женщиной; ей тяжело будет встретиться с «бедным, старым, осиротевшим медведем», — ведь тогда у него трагически погибла единственная дочь. Как близко приняла к сердцу Ольга Дмитриевна это неисчерпаемое горе «бедного Топтыгина»! Она говорила мне, что смотреть в глаза Ивану Сергеевичу она не может, — «такие колодцы, наполненные горем. Взглянешь и плачешь, хоть и нельзя».

Тамара одела Ольгу Дмитриевну в ее новый халат, причесала, взяла мать под руку, чтоб проводить в кухню-столовую. А я вышла к Ивану Сергеевичу.

Еще в Ленинграде он знал об Ольге Дмитриевне все. Он ждал сейчас ее появления, печально понурив голову, закручивая и раскручивая бахрому клетчатого пледа на диване.

Когда она остановилась на пороге, он встал и протянул ей большие дрожащие руки — высокий, тяжелый человек, в самом деле медведь...

Из всех нас первая (и притом мгновенно) опомнилась Ольга Дмитриевна. Ее похудевшее желтое лицо озарилось радостью. Широким, красивым жестом гостеприимной хозяйки она пригласила Ивана Сергеевича к столу...

Через час Иван Сергеевич уехал, а Ольга Дмитриевна

буквально рухнула в постель. Мы бесшумно захлопотали около нее, шепотом переговариваясь.

Закрыв глаза, тяжело дыша, Ольга Дмитриевна сказала:

— Медведушко приезжал прощаться, я это поняла... А сейчас едет в Ленинград и думает небось: ну, живуча старуха, еще протянет годик-другой, пожалуй.

Но увы, она не протянула годик-другой.

...Мне нужно было срочно ехать по издательским делам в Москву — на несколько дней. Перед отъездом я приехала в Тярлево к больной Ольге Дмитриевне.

Был жаркий летний день. В Ленинграде я и не заметила, какая погода, а тут вдруг увидела: небо ярко-синее, как на юге, воздух чистый, звенящий, золотистый. Птицы, цветы, а в кустах — гудение, стрекотание.

Подивившись, как всегда, на пятачок перед крыльцом, заросший цветами так, что спрячешься — не найдут, я привычно шагнула на ступеньку веранды, чтобы прямо пройти в комнату Ольги Дмитриевны. Но навстречу мне поспешно вышла Тамара. Ее красивое лицо, такое похожее на лицо Ольги Дмитриевны, но «европейский вариант», как говорила Ольга Дмитриевна, было замкнуто и бледно.

Я испугалась.

— Нет, — сказала Тамара отрывисто. Я сразу поняла, что означает это «нет», и немного успокоилась. — Кыхонька просит тебя погулять в саду, нарвать себе букет, посмотреть, как хорошо у нее в огороде. Скоро мы тебя позовем.

Я спустилась в огород, рассмотрела все на грядках, присела на любимую скамеечку Ольги Дмитриевны перед столиком. Здесь она читала... Теперь, наверное, долго никто не подойдет к этому ее рабочему месту...

Вокруг все буйно цветет, все разрослось, благоухает. Птицы поют, кричат, переговариваются веселыми голосами. Барственно гудят шмели.

Сколько раз, приезжая, я заставала Ольгу Дмитриевну на этом месте. Сидела она молча, слушала жизнь природы вокруг себя, часами могла слушать птиц, насекомых, шум деревьев, бульканье воды на дне оврага... А сколько еще звуков, которых мы не слышим!

Вот Тася позвала меня к Ольге Дмитриевне.

Она сидела на веранде. Осунувшееся, потемневшее

лицо, невидящие глаза, — в них уже не отражался мир, который она всю жизнь так ненасытно вбирала в себя. На голове у нее была старомодная соломенная шляпа, на шее — белый свежий шарфик. Волосы аккуратно обрамляли лицо, закрывая уши с двух сторон симметрично. Мне даже показалось, что лицо ее немножко напудрено...

Я все поняла! Меня послали погулять в саду, пока она соберется с силами, встанет с постели, приоденется, прихорошится.

Даже мне она не хотела показаться жалкой, явно умирающей...

Но вот она заговорила. Она тихо попросила Тасю оставить нас вдвоем.

— Ну что ж, Маро, — сказала она очень медленно. — Мне ни с кем не было так смешно жить, как с вами... Но я уже слышу полет валькирий и шелест падающих звезд.

Усмехнулась.

— Красиво говорю! Наверное, я это вычитала где-нибудь, когда-нибудь...

Поморщилась от боли, сказала через силу:

— Как вам нравится моя шляпа? Этот фасон называется, говорят, «смейся, паяц».

А через два дня я выехала из Москвы — на похороны Ольги Дмитриевны Форш.

А. Тамарченко

СОВРЕМЕННИЦА ТРЕХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОКОЛЕНИЙ

*

1

Прочитав роман Форш «Современники», М. Пришвин писал о нем автору: «Я рад его успеху, это заслуженный успех и редкий, потому что поэзия мемуаров обычной публике недоступна».[1] Высказанное почти полвека назад, это суждение уже не вполне справедливо применительно к нашему времени. Читатель — и самый широкий — полюбил мемуары, научился чувствовать и самостоятельно извлекать присущую им поэзию.

В пристрастии сегодняшнего читателя к конкретным историческим и биографическим реалиям, к свидетельствам очевидцев — немалая заслуга Форш; тут Пришвин был прав. Исторические романы Форш, основанные, как правило, на документах и мемуарных свидетельствах, весьма способствовали развитию читательского вкуса к самим документальным и мемуарным жанрам. Теперь наступило время и для воспоминаний о самой Ольге Дмитриевне Форш.

В чем же заключена «поэзия мемуаров», если речь идет о писателе, о художнике слова? Да еще о таком

[1] Архив О. Д. Форш.

писателе, который недавно жил и работал среди нас, который и по сей день ощущается как старший, но близкий наш современник? Острый читательский интерес к тому, что некогда называлось «литературным бытом», так же как интерес к личности и частной жизни писателя, существенно изменяет свою природу. Он явственно, почти на глазах, утрачивает характер обывательского любопытства к сенсационным подробностям жизни знаменитости. Нынче увлекает уже не самый факт известности, не ореол писательской славы. Интерес вызывает теперь своеобразие личности и те формы творческого дружеского общения в литературной среде и за ее пределами, которые делают человека творческой личностью, являются почвой и питательной средой становления и развития таланта.

Это изменение самой природы массового читательского интереса к личности и к подробностям биографии писателя — одно из духовных завоеваний советской эпохи, кстати сказать предсказанное О. Д. Форш еще в первые годы революции. Она утверждала еще тогда, что революция, которая «мощным вихрем ворвалась с площади и в личную жизнь *каждого* человека», должна коренным образом изменить и взаимоотношения между писателем и читателем. «Такие важные для умственной жизни понятия, как *писатель* и *читатель,* в свою очередь требуют пересмотра», [1] — писала Форш в 1922 году. — «Недавно еще эти два слова казались разделенными такой глубокой пропастью, через которую не перекинуть было моста. Писатель, гордый избранник, созданный «для звуков сладких», стоял с золотой лирой на недоступной высоте, а простой смертный, когда у него был досуг, отрывался от своего «печного горшка» и шел к подножию вершины отдохнуть и развлечься». Именно такому положению вещей вполне соответствует обывательское преклонение перед «знаменитостью» и обывательское любопытство к житейской изнанке жизни выдающегося человека.

Форш была убеждена, что новая эпоха вызовет творческое отношение к жизни и к литературе в массах: «Если писателю от такого искусства, которое зовется «индивидуалистическим», чтобы не порвать с живой действительностью, следует из кабинета сойти в самую

---

[1] Архив О. Д. Форш.

гущу жизни, то и читателю надо научиться зорче видеть, тоньше слышать и чувствовать, чтобы быть способным не только понимать прочитанное, а заново переживать, как свое собственное, во всей силе, как пережил сам писатель. Такое чтение уже не безответственное состояние, а начало самостоятельной творческой работы».[1]

Для такого читателя даже самый прославленный писатель не является уже существом какой-то иной породы, вызывающим острое, а порою и нездоровое любопытство. В своеобразии его личности, в стиле общения с людьми, в литературных и дружеских связях писателя *такой* читатель ищет того, что необходимо читателю для себя — чему он хотел бы научиться. Поэтому «не пропасть, не расстояние между вершиной и подножием разделяет писателя и читателя, а лишь отдаленность по прямой линии. Иными словами: *читатель сделан из того же материала, что и писатель,* но многие силы ума его дремлют и способности не нашли еще выражения».[2]

Нужно ли доказывать, что читательское отношение к литературе и к писателю эволюционирует именно в этом направлении. А в эпоху научно-технической революции творческое отношение к жизни, работе (в любой, вовсе не только художественной деятельности) стало требованием самой истории; оно становится душевной потребностью едва ли не каждого человека. Отсюда массовый интерес к тому богатству жизненных связей, к тому душевному опыту и способу жизни и общения, которые питают способность к творчеству. Все это явственно отражается не только на читательском восприятии мемуаров, но и на характере мемуарной литературы.

С этой точки зрения воспоминания о Форш особенно показательны. Мемуаристы всего более увлечены теми сторонами личности Форш, которые, так или иначе, связаны с ее исключительным творческим долголетием — с ее способностью сохранить высокий «творческий потенциал» даже в глубокой старости.

Все знавшие Форш (писатели и не писатели) связывают это ее творческое долголетие с интенсивностью внутренней жизни; все подчеркивают неугасимый интерес к людям и событиям, ту неувядаемую молодость души,

---

[1] Архив О. Д. Форш.
[2] Там же.

которую она сохраняла, вопреки житейским трудностям, бедствиям и болезням возраста. Это — сквозная тема сборника воспоминаний о Форш.

Еще в 1930 году А. М. Горький, шутливо парируя ее утверждение, что «очерки для читателей скучны», писал Форш: «Эх, Вы, Жорж Занд, Аврора Дюдеван и воплощение скептицизма! Только юностью кучерявой души Вашей и могу я объяснить озорство пера Вашего». Форш было тогда 57 лет. Но «юность кучерявой души» она сумела пронести еще через десять, двадцать и тридцать лет. С годами молодая неугомонность ума и сердца стала вызывать (особенно у сверстников и младших товарищей по литературному ремеслу) все более серьезное и почтительное удивление, не чуждое хорошей творческой зависти: «Дай бог, чтобы каждый из нас не то чтобы сохранил к такой же поре неувядающую силу таланта, как ты, но хотя бы такую же силу духа и ясность мысли — *просто для самой жизни»,* — писал А. Фадеев в год ее восьмидесятилетия. А сверстник Форш — М. Пришвин — писал тогда же: «Мне почему-то кажется (верно ли я Вас понимаю?), что Ваше любопытство к жизни сильнее всех немочей, связанных с «годами», т. е. со счетом лет, с их арифметикой. Верно ли я Вас понимаю, что Вы этот позорный тупик счета лет давно заменили *качеством дней своих* и этому «качеству» не будет конца. Если так, то я Вас от души поздравляю».[1]

Все эти письма (как и все воспоминания о Форш) пронизывает мысль, что «качество дней», умение сохранить энергию и богатство души «просто для самой жизни», является необходимым предварительным условием творческого долголетия. Со страниц воспоминаний о Форш встает именно эта особенность ее личности и жизненного уклада. Все знавшие Форш видят в ней пример стойкости, душевного мужества, которому можно и нужно учиться.

Именно об этом писал Николай Никитин (ныне тоже уже покойный) в своем последнем письме к Форш от 6 июня 1961 года, то есть буквально за несколько дней до ее кончины. Письмо это исполнено удивления, даже восхищения, «что можно еще иметь и такую душу, которая позволяет художнику не обнаружить свой возраст... Когда мне будет столько же лет, сколько и Вам, я, оче-

[1] Архив О. Д. Форш.

видно, потеряю эту возможность. У меня не найдется в душе столько силы, она уже испаряется, если я, конечно, доживу. Милая Ольга Дмитриевна, мне кажется — не будь таких людей, как Вы, — нам, т. е. поколению младшему (да, все-таки младшему, хотя об этом смешно говорить в 65 лет), не с кого было бы брать пример мужественности. Вы его даете, и мне становится стыдно за мои колебания, за мою душевную усталость от болезни, которая иногда нападает на меня и связывает мои порывы... Мысли — призывающие к работе». Последнее печатное выступление Форш — ее статья «Весной 1961 года», стала, по словам Николая Никитина, помимо всего прочего, еще и стимулом душевной активности, своеобразной творческой мобилизации для многих: «Ваша статья, словно живое существо, сказала мне: «Смотри!.. А она пишет...» Быть может, это же чувство возникло в душе не у меня одного. Уверен в этом. И вот за одно это — спасибо Вам. Именно это и говорит, что нет на земле ничего выше, что могло бы так действовать на человека, как нравственная сила другого».[1]

Предлагаемая читателю книга воспоминаний о Форш — это живые человеческие документы литературной жизни. Они свидетельствуют о том, что в основе бесспорного авторитета Ольги Дмитриевны в литературной среде лежала «нравственная сила» ее личности, высота интеллектуальной, эмоциональной и волевой культуры, — культуры «внутреннего человека», которую Форш неутомимо пропагандировала всем своим творчеством и живым воплощением которой в глазах современников стала она сама.

Это был именно личный, моральный авторитет — не авторитет власти или влияния в писательской организации, даже не авторитет литературной известности и читательского признания. Такой авторитет сам по себе уже прообраз того будущего, о котором Маркс писал: «...Предположи теперь человека как человека и его отношение к миру как человеческое отношение... Если ты хочешь оказывать влияние на других людей, то ты должен быть человеком, действительно стимулирующим и двигающим вперед других людей».[2]. Таков авторитет под-

---

[1] Архив О. Д. Форш.

[2] «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», М., «Искусство», 1957, т. I, стр. 171.

линного душевного превосходства, рожденный «проявлением... действительно индивидуальной жизни».[1]

Воспоминания о Форш, собранные в книге, создают достаточно широкую и разнообразную картину жизненных связей Форш в личном и в литературном быту. Однако картина эта не полна. Книга подготовлена к столетию со дня рождения О. Д. Форш, и собранные в ней воспоминания охватывают только советскую эпоху. Исключение составляют лишь мемуары Н. А. Мещерского, О. Э. Мейер-Чистяковой и А. В. Орлова, которые рассказывают о семье Форш или сохранили свои детские воспоминания о молодости Ольги Дмитриевны. Воспоминаний о предреволюционном этапе творческой биографии Форш в книге нет, и появиться они, естественно, уже не могут...

Между тем с самого начала творческой жизни Форш была свойственна исключительная душевная активность в общении с людьми и страстный интерес к людям художественного труда. Она была современницей и участницей художественных исканий трех литературных поколений. С интереснейшими людьми всех трех поколений у нее были интенсивные личные и творческие отношения. Тот этап ее внутренней биографии, когда она только входила в литературную среду, можно восстановить главным образом по материалам ее переписки и по ее собственным воспоминаниям, опубликованным и неопубликованным.

2

Известно, что до начала литературной деятельности Форш около 15 лет упорно училась рисунку и живописи. Почти все годы молодости она была связана со средой молодых художников. С кругом литераторов она вошла в общение только после 1910 года, когда из Киева вместе с мужем и детьми переехала в Петербург, точнее — в Царское Село. К этому времени Форш не только регулярно печаталась, но была автором ряда превосходных рассказов, напечатанных в журнале «Русская мысль», таких, как «Был генерал», «Застрельщик», «Медведь Памфамил».

---

[1] «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», М., «Искусство», 1957, т. I, стр. 171.

Сама решимость выбраться в Петербург — из налаженного и устроенного киевского быта сорваться на полную житейскую неопределенность — была, очевидно, вызвана стремлением ближе подойти к центру идейно-эстетических споров и художественных исканий того времени.

Когда читаешь живые зарисовки литературного быта 10-х годов — ту серию писательских портретов, которые Форш ввела в свой роман «Ворон», невольно вспоминаются слова Горького, сказанные о ней по другому поводу: «Хорошо видит глазок у вас и язычок хорошо заострен». Со всей отчетливостью и верностью духу времени она воспроизводит специфическую атмосферу «ре-фи заседаний» (заседаний религиозно-философского общества), пряный колорит знаменитых «сред» Вячеслава Иванова, стиль общения на сборищах литераторов в некоторых журнальных редакциях того времени и т. д.

Форш дает ряд замечательных портретов А. Ремизова и В. Розанова, Вяч. Иванова, М. Кузмина. А. Белого. Это те писатели, влияние которых, по мысли Форш, было особенно значительным в предреволюционное десятилетие, но не «закрепилось» в дальнейшем — не вышло за рамки тогдашней литературной жизни. Словесные портреты Форш точно схватывают индивидуальное своеобразие каждого из этих писателей, содержат их проницательную психологическую характеристику; но выполнены они в рисунке настолько остром, что он воспринимается почти как гротеск.

Форш еще в Киеве пережила пылкое увлечение философскими и эстетическими идеями символистских «метров», пытаясь вникнуть в содержание литературных и философских споров между ними. Теперь, когда она сама вошла в литературную среду столицы, ее интересовали уже не разногласия между «метрами» российского символизма. Она успела убедиться, что для жизни и творчества важны не эти оттенки. Теперь ее интересовали не столько теории, сколько их живые носители: ей нужно было «досмотреть», какое человеческое содержание скрывается за их учительством. Результаты такой проверки теорий личностью и жизненным поведением теоретиков оказались двойственны и неодносложны.

На «средах» Вяч. Иванова Форш бывала в те годы, когда лучшие времена этого литературного салона были уже позади. На «башне» собирались уже не только писа-

тели и художники, артисты и режиссеры — двери открылись для пестрой окололитературной публики, ищущей утонченных развлечений. «...Хозяина ценю как изумительное явление в области мысли и слова, досадно мне это его домашнее баловство... Так раньше здесь не было. Бацилла fin de siécle[1] внедряется всюду. Скучают люди», — эта оценка многолюдных сборищ на «башне» Вяч. Иванова, высказанная одним из персонажей «Ворона», — несомненно суждение самой Форш. Игры в «мистерии» и в «литургические служения», которыми развлекались там гости и хозяева, воспринимались Форш как «понижение тона и вкуса», как низведение художественных исканий до уровня литературной моды.

Серьезная педагогическая и литературная работа, а главное, острая потребность выработать самостоятельную идейно-эстетическую позицию быстро освобождали Форш от того, что она сама позднее называла «провинциальной экстазностью». В доме Вяч. Иванова эта «экстазность», чуждая провинциальной наивности, была оборотной стороной пресыщенности и снобизма: «Кругом сыпались цитаты, замечательные изречения... И дурманила чувства общая атмосфера, где эстетика пронзалась тончайшей эротикой».

Более личное и дружеское знакомство завязалось у Форш в 10-е годы с А. Ремизовым и Ф. Сологубом, которых она ценила за своеобразие душевного склада и литературную одаренность. Форш любила бывать у Ремизова, и в романе «Ворон» ему посвящена целая глава, в которой авторское восхищение и беспощадная художническая зоркость переплетаются особенно причудливо, порождая в результате гротескную остроту портрета.

Бывала она и у Сологуба, в доме которого как раз в это время тоже еженедельно собирались прославленные и начинающие литераторы. Талант Сологуба — поэта и прозаика — Форш оценивала высоко: в некоторых ее рассказах 1914 года — таких, как «Безглазиха» и «Шелушея», — ощущается влияние его ранней прозы. В Сологубе она подчеркивала законченность облика, полноту реализации внутренних возможностей его личности. Форш относила его к «редчайшим людям, себя завершившим до конца».

---

[1] Конца века (фр.)

Вяч. Иванов, А. Ремизов, Ф. Сологуб обрисованы Форш как ярчайшие представители «духа времени», атмосферы литературной жизни в последнее десятилетие предреволюционной истории. Но духовной перспективы, выхода к дальнейшему развитию русской художественной культуры ни их творчество, ни общение с ними не открывали. У них можно было учиться рафинированному мастерству, утонченному знанию древнейших культур, но не живому участию в творчестве «лучших форм жизни». Форш очень скоро поняла, что искать в этой среде «учителей жизни» не стоит. Да, в этих литературных салонах много было искусства, и стихов, и музыки, и талантливой актерской импровизации. Но это было вовсе не то искусство, путей к которому уже тогда искала Форш. Искусство, считала она, должно служить жизни; художник призван стать вожатым, проводником на путях исторического восхождения к «лучшей действительности». Вопреки собственным декларациям «метров» символизма, в литературных салонах об этом не могло быть и речи. Например, на «средах» Вяч. Иванова подобные претензии «поспешно и гневно» отвергались: «Здесь все темы ставятся как темы культуры, а не как темы жизни».

Для Форш уже и в те годы главная задача (и главная творческая трудность) заключалась как раз в том, чтобы преодолеть разрыв между культурой и жизнью. Призвание современного писателя, казалось ей, в том и состоит, чтобы заполнить этот разрыв силой творчества — перекинуть мост между высокими завоеваниями духовной культуры и повседневной жизнью обыкновенного, «массового» человека. Среди признанных писателей она искала тех, чье творчество и эстетические позиции можно было бы связать с подобной задачей. С этой точки зрения особый интерес у нее вызывали символисты «второй волны» — Андрей Белый и Александр Блок.

С Белым Форш познакомилась «издали» в этот же период. В его внешности, в речах и манере поведения ее больше всего поражала сквозная одухотворенность, в которой, однако, недоставало прочного жизненного костяка — устойчивости, постоянства внутреннего и даже внешнего облика. Его портрет дан в романе «Ворон» (Сапфирный юноша): «Лицо это было очень замечательно. Особенность его состояла в непрестанных изменениях... Мысль и чувство в таком совершенстве овладевали ма-

териалом этого лица, что для каждого мига как бы заново разрушали и созидали этому лицу новую маску. И весь он был зыблемый, переливчатый, перламутровый, словно состоял из легкого, телесного цвета пламени».

Из всех теоретических концепций российского символизма Форш дольше всего сохраняла интерес к эстетическим взглядам А. Белого — к его варианту теории «искусства-жизнестроения». При этом, однако, уже к 1914 году отношение к его литературной позиции стало двойственным: в своих критических статьях для журнала «Современник» (под псевдонимом Шах-Эддин, образованным из девичьей фамилии ее матери — Шахэтдиновой) Форш выдвигает свое, самостоятельное по отношению к Белому, истолкование идеи «искусства-жизнестроения».

В этом лозунге ее привлекало главным образом утверждение, что искусство и литература — могучая сила, способная активно участвовать в историческом процессе — в созидании более совершенных форм жизни. Но, в отличие от Белого, она не приписывала художественному сознанию никакой «непроизвольно религиозной сущности». В переосмыслении Форш мистическое содержание культурно-исторических и эстетических построений Андрея Белого вытесняется мыслью об активной роли искусства в историческом развитии — в процессе многотысячелетнего «восхождения от нашего обезьяноподобного предка к Человеку» во всеоружии его творческой природы.

Увлечение культурно-эстетическими концепциями Белого было одновременно их критической переработкой — своеобразной полемикой против их религиозно-философского содержания, пусть еще крайне наивной, но и непримиримой.

Более личное, а затем и дружеское сближение О. Д. Форш с А. Белым произошло несколько лет спустя — в год революции, когда вернувшийся на родину после многих лет пребывания за границей А. Белый жил некоторое время в Царском Селе. Они тогда очень много спорили, общение было особенно бурным именно из-за постоянных споров. Почти одновременно, весной 1918 года, Белый и Форш перебрались в Москву, ставшую столицей молодой Советской республики. Там углубилось

общение и продолжались споры. Потом Форш уехала с сыном в Киев.

В 1921 году в революционном Петрограде Ольга Форш снова встретилась с Андреем Белым. Оба были постоянными участниками заседаний Вольной философской ассоциации. Споры с Андреем Белым, столь же постоянные и бурные, как в год революции, происходили теперь не только в личном общении, но иногда и публично. Именно в это время — в 1921 году — Форш написала большую литературно-критическую статью о романе Белого «Петербург», уже открыто полемическую по отношению к той «интеллигентской болезни предпоследних дней нашей истории», которую она, имитируя медицинскую латынь, назвала «mimikria mistika». Герой романа «Петербург» Николай Аблеухов, по мысли Форш, не просто человек, страдающий этой болезнью, но ее персонификация — художественное исследование ее логики и структуры. Форш отнюдь не отождествляла героя и автора, но, по-видимому, считала, что романист конденсировал в образе Аблеухова-младшего такой же силы «влечение к абстракциям», ту же «несобранную широту», которая была свойственна не только персонажу романа, но и его автору: «Автор — ленник луны, инопланетный гастролер! В инопланетность уводит нас». Первоначально статья так и называлась — «Инопланетный гастролер». Под этим именем Андрей Белый — автор «Петербурга» — выведен Форш и в «Сумасшедшем корабле». Смысл этого «псевдонима» разъяснялся еще в статье: «Автор «Петербурга», так чуется читателю, — это новый какой-то Гомункулус, заключенный в реторту, играющую ослепительной радугой; сквозь новую ее семицветность по-новому преломляются вещи».

Интересно отметить, что об исключительном своеобразии художественного зрения Белого, как об его «инопланетности», писал также и Горький. По его определению, Белый сам был такой, отличной от нашей Земли, «планетой», поэтому-то ему ни в коем случае нельзя подражать: «О зависимости вашей от Белого я говорил вам и в Москве еще, — писал Горький Б. Пильняку в сентябре 1922 года. — Но Белый, человек очень тонкой, рафинированной культуры, это писатель на исключительную тему, существо его — *философствующее чувство*. Белому нельзя подражать, не принимая его целиком, со всеми его

атрибутами как некий своеобразный мир, — как планету, на которой свой — своеобразный — растительный, животный и духовный миры».

Разве эта горьковская «планета» не то же или почти то же самое, что «инопланетный гастролер», путешествующий в своей реторте, сквозь радужные стены которой можно увидеть целый мир, непривычный и странный для обитателей земли? Горького, так же как и Форш, искренне восхищала «напряженность и оригинальность творчества Белого». Разница, однако, заключалась в том, что Форш было гораздо легче «попасть за стекло» реторты, чтобы увидеть, как преломляются вещи «сквозь новую ее семицветность». Внутренний строй личности Белого, его особый душевный склад, а тем более — его «исключительная тема» О. Д. Форш не были чужды или непонятны; она любила не только произведения Белого, но и его самого, и боялась за судьбу его таланта. Исключительная творческая энергия Белого в сочетании с его «инопланетной» отрешенностью становится духовной драмой художника; в своей статье о «Петербурге» Форш касается этой внутренней драмы очень осторожно, нигде не переходя на личности. Но в контексте и в подтексте статьи она предостерегает автора от грозящей ему опасности: «расширение познания» или «новое зрение», достигнутое за счет «выветривания сердечных нервов», связывающих человека «со всем миром и всей стенающей тварью», грозит слишком большими потерями. Отрыв от «милой земли» ломает ту «круговую поруку» любви и ответственности, которая в искусстве «смыкает сердце с сердцами».

Статья о «Петербурге», чрезвычайно интересная по методу критического анализа, является в то же время фактом личных и творческих взаимоотношений между Форш и Белым. Она, несомненно, была знакома романисту задолго до появления в печати (в 1925 году она вышла под названием «Пропетый гербарий»). Не исключено, что, перерабатывая роман для очередного издания, Белый многое, высказанное в статье Форш, учел. Во всяком случае последний вариант «Петербурга» гораздо более «похож» на то истолкование его «задания» и художественной структуры, которое предложено в статье «Инопланетный гастролер», хотя писалась эта статья (за-

конченная в апреле 1921 года), разумеется, по дореволюционному, «толстому» варианту романа.

Для самой Форш дружеское общение с А. Белым и увлеченные споры с ним (в частности, споры о творчестве А. Блока) стали важным рубежом в разработке ее самостоятельной литературной позиции. Проникновенный художественно-критический анализ «Петербурга» в статье о Белом отражает ее движение к новому уровню художественного историзма.

В начале 30-х годов — в период работы над романом «Ворон», в текст которого вошел уже цитированный нами словесный портрет Сапфирного юноши, — Форш выполнила с натуры графический портрет, назвав его «Синтетическое лицо А. Белого». «Синтетическое» — потому, что это целостная композиция, включающая не одно, а пять изображений писателя. Даже отяжелевшее, пятидесятилетнее лицо Белого сохранило столь живую изменчивость, «зыблемость», что передать своеобразие его личности можно было, по убеждению рисовальщицы, только в приеме «синтетического портрета».

Многолетняя история творческих, личных и, наконец, дружеских отношений с Андреем Белым — одна из важнейших граней внутренней биографии Форш. Пережив в свое время очень глубокое воздействие его эстетических идей, Форш на протяжении многих лет вела внутренний спор с присущей ему «тягой к абстракциям» и к мистицизму. В этих спорах вырабатывался тот совершенно своеобразный подход к историческому прошлому, который нашел затем творческое воплощение в исторических романах Форш.

3

Свои отношения с писателями-современниками Форш всегда строила так, что творческая заинтересованность или даже зависимость переходила в личное общение и, наоборот, личные и дружеские связи превращались в творческое взаимодействие. У Форш была сознательная установка именно и только на такой тип общения с людьми художественной и литературной среды, который заключает в себе активный диалог, полемику, взаимодействие идей и творческих интересов. Иначе говоря, она шла на творческое и личное общение лишь при условии,

когда оно не бесконфликтно по своей внутренней сути, когда отношения не сводятся к одностороннему влиянию маститого на начинающих или к столь же одностороннему преклонению «рядовых» литераторов перед прославленным и великим.

Исключение составляют, может быть, только два имени. Первое из них — это Павел Петрович Чистяков, которого Форш считала своим учителем, и не только в специальной области рисунка и живописи; еще важнее для нее был воспринятый от него общий подход к художественной работе — понимание высоких задач искусства и общих законов мастерства, которое Форш переносила также и в словесное творчество.

В художественно-педагогической системе Чистякова она особенно ценила то, что он «совершенно связывал рисование с этикой; он понимал талант не как придаток, «шестой какой-нибудь палец», а как высший результат, как цвет личности; отсюда связь между выражением и выразителем».

Такое понимание неразрывного единства творческой личности и результатов художественного труда определяет подход к изображению писателей и художников в ее исторических романах. Оно сказалось также и на характере взаимоотношений Форш с живыми современниками — представителями нескольких поколений русской художественной культуры.

История многолетнего (на протяжении четверти столетия) знакомства с П. П. Чистяковым — это история отношений благодарной ученицы к учителю, авторитет которого непререкаем. В годы жизни в Царском Селе она постоянно бывала на даче Чистякова уже не столько для того, чтобы порисовать, сколько ради бесед об искусстве, о великих художниках прошлого и современности, о законах мастерства. При этом Форш втихомолку записывала мысли, суждения, изречения старого мудреца; целую тетрадку таких записей она много лет хранила в своем архиве.

Форш горячо принимала к сердцу драматизм положения П. П. Чистякова — основоположника великолепной русской школы художественной педагогики, фактически отстраненного академическим начальством от преподавания в императорской Академии художеств. Она глубоко вдумывалась также и в главную трагическую

коллизию его судьбы как художника, у которого понимание задач и возможностей живописи слишком резко опережало умение, возможности живописного воплощения замысла.

Вряд ли кто-нибудь сделал раньше и больше, чем Форш, чтобы хоть посмертно восстановить значение Чистякова в истории русского изобразительного искусства. Она писала о нем много раз в статьях — о В. Серове (1914), о Петрове-Водкине и «новом реализме» (1924). Образ молодого Павла Чистякова она «вписала» в финал романа «Современники» как прямого и ближайшего преемника Александра Иванова. К десятилетию со дня смерти она вместе с другим его учеником — художником С. Яремичем — подготовила первую книгу о Чистякове, назвав свой очерк о нем «Художник-мудрец». Тут-то и пригодились царскосельские записи его художественных и педагогических суждений.

Даже в самые последние годы своей жизни Форш пыталась бороться против силы забвения — за память о Чистякове, за популяризацию его имени и наследия. В 1958 году она писала К. И. Чуковскому, просила его участия и содействия в осуществлении целой программы мероприятий, связанных с сорокалетием со дня смерти художника: она хотела, чтобы Чуковский выступил со статьей о Чистякове, чтобы была организована выставка живописных работ и рисунков художника и т. п.

Наконец в «Днях моей жизни» — последней и наиболее развернутой и предназначенной для печати своей автобиографии — Форш тоже обращается к памяти Чистякова: ставит его у истоков своей сознательной творческой биографии.

Павел Петрович Чистяков — особый, исключительный случай в истории отношений Форш со своими старшими современниками и сверстниками. Второе исключение — это отношение Форш к Александру Блоку. Его она выделила из общего потока литературной жизни предреволюционных лет сразу и безоговорочно.

Впервые Форш увидела Блока еще в Киеве — летом 1908 года, когда в громадном зале Оперного театра он выступал с чтением своих стихов. Это первое впечатление было из тех, что запоминаются на всю жизнь. Форш восстановила его в книге «Сумасшедший корабль», где Блок

изображен под условным именем Гаэтана (взятым из его же пьесы «Роза и Крест»): «Гаэтан еще был красив и кудряв, волоса золотели рыжинкой. Волоса были совершенно живые. Он взошел на эстраду с разбегу, издалека, и, не отстоявшись, внезапно и трудно сказал:

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух...

...Слушатель млел от лирных волнений, бросаемых ему золотым богом как дар. Гаэтану был зрительный зал чудесно резонирующим инструментом в ответ на абсолютно взятые ноты. А зал приведен был в восхищение, как себе удивившийся рояль, вдруг вообразивший, что на нем не играют, а он звучит сам». А. Блок стал любимым поэтом Форш в такой же мере и степени, как Достоевский издавна, с последних классов Николаевского сиротского женского института, был ее любимым романистом.

Личное знакомство с поэтом состоялось уже после переезда в Петербург, очевидно в 1911 году. Как автор сказок для малышей Форш часто бывала на редакционных заседаниях детского журнала «Тропинка», в редактировании которого близкое участие принимала П. С. Соловьева (сестра философа Вл. Соловьева), а также М. А. Бекетова и А. А. Кублицкая-Пиоттух. У Форш завязались приятельские отношения с матерью и теткой Блока. Она бывала у них в доме — сначала по делам журнала, а затем и «просто так». Большая часть упоминаний о Форш в дневниках, записных книжках и письмах А. Блока вызваны встречами с ней в доме матери. «Вечером заходил к маме: редакционное собрание «Тропинки» — деловое, славное, — отмечает Блок 23 октября 1911 года. — Какие-то передовые дамы-писательницы и приват-доценты». Перечисляя знакомых среди участников совещания, Блок называет и О. Д. Форш. Это первое упоминание о ней.

Более тесное, дружеское сближение Форш с матерью и теткой поэта произошло в годы мировой войны и особенно — после Октябрьской революции. В последний год жизни Блока она бывала и в его доме на Пряжке, но всегда в качестве гостьи А. А. Кублицкой-Пиоттух. Таким образом, знакомство и личное общение с Блоком не носило характера «отношений персональных», хотя в

их разговорах и затрагивался широкий и разнообразный круг тем.

Упоминания в дневнике и записных книжках Блока, а особенно его рецензия на драматический этюд «Смерть Коперника» свидетельствуют, что Форш вызывала у поэта более живой интерес, чем многие другие из обширного круга знакомых и приятельниц матери. Рецензия эта, написанная в 1919 году (когда сама Форш переехала уже в Москву), показывает, что Блок и раньше следил за ее творчеством, считая ее автором «очень замечательных произведений», которые он называл «материалами для познания современной усложненной души и материалами для той эпопеи, которая сложится о нашем великом времени в будущем». В этой крохотной рецензии больше размышлений о творческой личности автора, чем о самом драматическом этюде: «...Автор принадлежит к тем немногим писателям, у которых действительное многообразие и недюжинность замыслов мешают технике, затрудняют самое построение отдельных произведений». Блок уловил ту главную творческую трудность, о которой напряженно размышляла и сама Форш. Годом раньше — в статье «Под знаком Леонардо», — с присущей ей склонностью заключать от личного к общему, она определяла эту трагическую для многих современных писателей и художников трудность как «сложность задания, муку выбора, двойное бремя *мыслителя и мастера*». Форш решительно выделяла Блока — ставила его выше всех остальных поэтов символистского направления как раз за то, что он эту трагическую для «современной усложненной души» трудность *творчески преодолевал*.

И личность Блока, и его поэзия вызывали со стороны Форш иное отношение (более личное и в то же время — более «отстраненное»), чем другие поэты — современники того же литературного направления. Здесь была уместна другая «точка отсчета» и другой «масштаб измерения». С Блоком Форш не вела внутреннего спора и не искала личного дружеского сближения. Ей было достаточно его стихов, лирических пьес и его критической прозы — всего того, что отдавалось «золотым богом как дар» всем умеющим слышать. Стихами Форш поверяла свое понимание современной жизни и современного искусства. Из них черпала волю к жизни и чувство перспективы. По отношению к поэзии Блока она (как некогда зрительный

зал киевской оперы) всю жизнь чувствовала себя «чудесно резонирующим инструментом в ответ на абсолютно взятые ноты».

«У каждого десятилетия есть своя равнодействующая и есть артист, исполняющий арию большинства. Артист бывает некрупный, бывает великий», — писала Форш уже в 1930 году. Блок, по ее определению, «был величайший и точный выразитель сердцебиения своей декады». И, как «величайший» поэтический выразитель своей эпохи, Блок именно поэтому в пределах «своей декады» не умещается, ею не исчерпывается.

В работе «О Прекрасной Даме», написанной в 1921 году, она возводит литературную родословную Блока не к «отцу символизма» — Вл. Соловьеву, а к вершинам русской и мировой литературы и сопоставляет его произведения не с творчеством поэтов-современников из ближайшего литературного окружения, но с Данте и Сервантесом, с Гете и Достоевским.

Анализу творчества Блока, значению его поэзии Форш собиралась посвятить целую книгу. Позднее она писала А. М. Горькому: «Была у меня затеяна большая работа «О Прекрасной Даме», где две главы ее: «Иррациональное в реальном» посвящены были одна Вам, другая Толстому (Льву). Теперь в переездах книга пропала. Остались клочки».[1] В архиве Форш сохранился один из этих «клочков» — не то первая глава потерянной в переездах книги, не то текст доклада, читанного ею на одном из заседаний Вольфилы — 24 октября 1921 года, под названием «Данте, Достоевский, Блок».

Работа эта до сих пор не опубликована, между тем она является интереснейшим документом литературной борьбы вокруг имени и наследия Блока, особенно ярко вспыхнувшей в год его смерти. Она насквозь полемична по отношению к подавляющему большинству тогдашних статей и выступлений о Блоке и в первую очередь по отношению к Андрею Белому, который даже в двухстраничном некрологе утверждал определяющее значение «гностической философии Владимира Соловьева» для поэзии Блока.

В статье Форш полемичен даже выбор материала: она берет не последние поэмы «Двенадцать» и «Скифы»,

---

[1] Архив А. М. Горького.

которые были у всех на устах и в защите не нуждались (нападки литературной эмиграции не в счет, Форш вела внутренний спор с теми, кто *хотел* участвовать в строительстве новой культуры), и не «Стихи о Прекрасной Даме», которые в кругу Вольфилы выдвигались как лучшее достижение его поэзии. Форш строит статью преимущественно на стихах второго тома и на лирической драме «Незнакомка» — на тех именно произведениях, которые с большим или меньшим ожесточением отвергались ее оппонентами и даже расценивались А. Белым и С. Соловьевым как «кощунство» и измена религиозно-мистическим идеалам юности. Лучшая часть статьи о Блоке — это развернутое сопоставление романа Достоевского «Идиот» с лирической драмой «Незнакомка», на несколько десятилетий опередившее литературоведческую мысль: советское блоковедение лишь сорок лет спустя обратилось к этому сопоставлению.

В шестой главе «Сумасшедшего корабля», с присущей этой книге достоверностью «художественного припечатывания действительно бывшего», [1] нарисовано последнее в Петрограде (в Москве он еще выступал в мае 1921 года) выступление Блока с чтением своих стихов.

С такой же отчетливостью, но при еще более строгом отборе деталей, Форш зафиксировала день похорон Блока. Тамара Борисовна Форш-Меншуткина, дочь Ольги Дмитриевны (тоже участница этих похорон), рассказывает: О. Д. Форш шла под руку с А. Белым сразу за гробом. Белый был в каком-то светлом мохнатом пальто, слишком теплом для августовского дня. Тамара Борисовна подбежала к ним, чтобы взять пальто у Белого, — так и несла его до конца похорон.

В «Сумасшедшем корабле» такие житейские подробности опущены, потому что Форш важно передать обобщенную картину события — его масштаб и значение для истории русской культуры: «День похорон выдался синий. И солнце осеннее, яркое, без жары. Несли открытый гроб. Окаменевший профиль поэта был как бы высечен в горном хребте на синеве неба.

Шли обычным медленным шагом, а странно запомнилось, будто — стремительно. Будто впряглись в колес-

---

[1] Письмо Н. С. Тихонова к О. Д. Форш от 12 января 1961 года (архив О. Д. Форш).

ницу и мчались. А сзади вслед реяли золотые ленты. Так запомнилось. Остановились автомобили вдруг. И кони, и люди. Золото парчи отливало на солнце металлом. Поэт мнился рыцарем, высоко вознесенным на щитах... Мертвый, он уже не был похож на себя, он весь перешел в свои книги».

Похороны Блока Форш пережила как завершение и конец большой эпохи в развитии духовной культуры — не только его «декады», то есть последнего предреволюционного десятилетия. Тем выше значение его поэтического наследия «для всех и навсегда». «Данте, Блок, Достоевский в своем буйстве любви обнаружили знание, драгоценное для культуры внутреннего человека» — этими словами кончается статья «О Прекрасной Даме», написанная сразу после похорон поэта. Мысль о великом значении его поэзии для будущего, о том, что оно далеко выходит за пределы своего времени, завершает и страницы, посвященные Блоку в «Сумасшедшем корабле». Форш поминает Блока его же стихами: «И вдруг сами собой, твердые, с присущей голосу Гаэтана убеждающей страстью, однотонной, как этот гравюрный пейзаж, сказались его стихи:

Но верю, не пройдет бесследно
Все, что так страстно я любил,
Весь трепет этой жизни бедной,
Весь этот непонятный пыл».

Строки эти самим поэтом обращены к будущему...

Форш оставила не только словесный портрет Блока. Известно, что она любила делать графические — иногда просто карандашные, на случайном клочке бумаги, — зарисовки писателей, ей симпатичных или близких. Кроме «Синтетического лица А. Белого» (сделанного пером и с большой тщательностью) сохранились беглые наброски портретов К. Федина, Мариджан (М. М. Алексидзе), И. Груздева, Т. Табидзе...

Александра Блока она рисовала многократно с такой любовью и проникновенностью, что по серии этих небольших портретов можно увидеть трудную внутреннюю биографию поэта — рисунки сделаны в разные годы и относятся к разным этапам жизни Блока. Его она рисовала не с натуры, как других, а по фотографиям, однако уточняя и прорисовывая графику этого лица уже по собственной немеркнущей памяти о встречах с поэтом.

4

Поражает многообразие творческих связей и дружеских привязанностей Форш в кругу того литературного поколения, которое уже достигло признания, когда она только начинала свой писательский путь. Особое место в истории литературных отношений Форш со старшими современниками занимает ее знакомство и дружеское сближение с М. Горьким.

Впервые Форш увидела Горького в самом начале века, когда она еще не знала — быть ей художницей или писательницей: она «усердно рисовала, а свои плохие стихи никому не показывала». Горький и Чехов на набережной Ялты были окружены толпой поклонниц, прозванных «антоновками» и «максимовками». От возможности увидеть столь прославленных писателей поближе Форш тогда уклонилась не по застенчивости или робости, а скорее из своеобразной гордости: «Познакомиться лично, хотя и была возможность, ни с Чеховым, ни с Горьким мне не хотелось: идти было не с чем, не пополнять же собою штат «максимовок» и «антоновок».

Очень характерна эта мотивировка: Форш хотела только содержательных и вполне индивидуальных отношений с кем бы то ни было, хотя бы и с самыми интересными, самыми выдающимися людьми современности. Эту душевную позицию она сохранила и тогда, когда сама стала писательницей. Многолетняя и не совсем обычная история ее взаимоотношений с Горьким в этом смысле особенно показательна.

Форш охотно и с полной искренностью признавала иерархию литературных репутаций и, разумеется, с громадным пиететом относилась к личности Горького. Но какое бы то ни было *личное* общение привлекало ее лишь тогда, когда оно основывалось на *взаимном* интересе, вполне независимом от литературной табели о рангах. Именно поэтому началом своего личного знакомства с Горьким Форш считала 1926 год, хотя на протяжении этого года они ни разу не виделись, а до этого встречались многократно — и в 1914, и в 1916, и в 1921 годах.

Историю рождения этой дружбы стоит проследить, потому что в длительной ее предыстории ярко проявились особенности и своеобразный стиль их взаимоотношений.

Предыстория отношений существовала, собственно, только для Форш. Горький в 1926 году писал Пришвину: «Рад узнать, что вам понравилась Форш, умная душа. Я *ее не знаю лично*, а недавно — после «Одеты камнем» и «Современников» — стал переписываться с ней. Очень «ароматная» душа, богатая. Мне еще по ее первым рассказам чудилось: вот, должно быть, хорош человек». Значит, о прежних встречах, разговорах и переписке Горький попросту забыл. Забыл, как он отверг ее рассказы «Гнездышко» и «Шелушея», когда редактировал прозу в амфитеатровском «Современнике»; и как Форш два года спустя приходила к нему в «Летопись» с «Прологом» к роману «Оглашенные»; забыл, как в 1921 году доставал ей обувь и вел разговоры об Андрее Белом; как увез с собой в Берлин ряд ее произведений для издательства Гржебина. Он делал для нее все то, что делал для многих и многих советских писателей в трудные годы войны и революции, но встречи с ней не запомнил...

Разумеется, Форш обо всем этом помнила. С присущей ей трезвостью в оценке ситуации она констатировала: «Отношений отдельных у меня с ним не было». Однако «виновата» в этом была она сама: ее не устраивала та форма общения, которая впоследствии стала называться «работой с молодыми авторами». В своем первом (и уже ответном!) письме Горькому-редактору она благодарит «за искренность» и даже соглашается, что рассказ «Гнездышко» «нестроен», но в то же время и спорит — отстаивает свой замысел, особенно настойчиво защищая второй свой рассказ: «От «Шелушеи» я не только отказываться не могу, но считаю ее наиболее удачным из того, что мне пока привелось написать. Тем более мне хотелось бы узнать и понять, за что она вам неприятна».

Все это ничуть не помешало Форш снова обратиться к Горькому-редактору через пару лет — уже в «Летопись». На этот раз она оказалась, однако, еще строптивее: одного скептического замечания Горького («Чего это вы вздумали о монахах писать?.. Все ведь придумали...») оказалось достаточно, чтобы возник «несколько колкий разговор», и она унесла рукопись обратно. Нет, причина заключалась не в обостренном самолюбии «непризнанного» автора, а исключительно в стремлении к *индивидуальному* типу общения. С таким человеком,

как Горький, общаться на иных, сугубо профессиональных основаниях ей было неинтересно.

Нечто аналогичное произошло и в 1921 году в Петрограде. Форш впоследствии признавалась Горькому в том самом письме, где рассказывала об утраченной рукописи «О Прекрасной Даме»: «А ведь на одном свидании с Вами (давно) я было принесла эту исчезнувшую работу и хотела предложить Вам ее прочесть, да не предложила».[1] Форш терпеливо ждала своего часа. Ждала, когда у Горького возникнет персональный человеческий интерес к ней — к индивидуальному своеобразию ее личности и творчества, достаточно сильный, чтобы стал возможен диалог, допускающий и прямую полемику. И ее терпеливое упорство было вознаграждено.

В 1926 году в Ленинград к разным адресатам стали приходить письма из Италии, в которых все чаще упоминалось имя Ольги Форш. 9 января 1926 года Горький пишет И. А. Груздеву: «Прочитал 3-й «Ковш». Интересно. Слонимский обнаружил что-то новое для него; Каверин удивил меня «мемуарностью» повести своей; хорош «5-й зверь» Форш. И очень умно посвящен Тихонову». А через три дня снова: «Может быть, я неправильно ценю, но мне «Кюхля» очень нравится, так же как «Одеты камнем» Форш. Как будто у нас зарождается очень оригинальный, исторический роман, чего никогда не было. Ибо Мережковский — не искусство и даже «литература» плохая».

И вскоре — в письме к А. П. Чапыгину: «...Как это хорошо, знаменательно, что у нас чувствуется тяга к историческому роману. Я и книгу Форш «Одеты камнем» хорошо встретил, и в «Кюхле» Тынянова много вижу. Да и сам тоже пишу нечто «прощальное», некий роман-хронику сорока лет русской жизни». Эти письма были, несомненно, показаны Форш — ведь все это были люди одного литературного круга.

Тогда Форш послала Горькому свой второй роман — «Современники» — с трогательной дарственной надписью. Ответ Горького содержал не только высокую оценку подарка и частные критические замечания о романе, но и прямое суждение о личности автора: «Я — давний и почтительный поклонник Вашего таланта и ум-

---

[1] Архив О. Д. Форш.

ного — удивительно умного! — сердца Вашего. Мне давно хотелось сказать Вам это, и вот я очень рад, что говорю наконец». А в конце письма снова: «И, конечно, не того ради хвалю Вас, чтоб «поддержать», Вы сами всякого поддержите, хорошая, умная душа». После этого произошел своеобразный «взрыв» эпистолярного общения, падающий на последние месяцы 1926 года. «У меня, знаете, такое чувство после Вашего письма, — писала Форш, — что мы с Вами раньше хоть виделись, но не встречались, а сейчас доспело, так что вот — встретились».

«Встречами» с людьми и миром, с искусством и природой Форш называла только такие события внутренней биографии, которые становятся источником духовного роста, стимулом напряженной творческой работы. Горький именно в этом смысле и принял ее слова о «встрече».

Удивительно широкий круг тем и интересов затрагивается в их переписке 1926 года: вопрос о «сумерках мужчины» и возрастающей роли женщины в духовной жизни нашего века; об общественной ценности неповторимой человеческой личности и о способности к духовному выживанию сильного, «земляного человека»; об «Исповеди» Горького; о личности и творчестве Достоевского; о «Философии общего дела» Н. Н. Федорова и т. д., и т. п. Не говоря уже о творческих замыслах, которые неожиданно оказались близкими по жизненному материалу — по стремлению осмыслить в повествовании биографически пережитый, но уже «отвалившийся» кусок истории.

О растущей роли женщины в духовной жизни современности первым написал Горький; он «угадал» один из задушевных, хотя творчески еще не реализованных, замыслов Форш: «Дороги мне написанные Вами в прошлом письме слова о «матриархате». Для меня это заветная тема, давно к ней готовлюсь. О женщине все лучшее ведь сказано мужчиной, и есть пробелы — опыт наш иной. Но женщине заговорить по-настоящему очень трудно. Надо не только суметь, *но и верить, что смеешь...* К Вам храню давнюю благодарность за нежное и рыцарское отношение к женщине. «Бабушка» Ваша и «Мальва» — дорогой русский вклад в мировую сокровищницу под гётевским знаком, «das ewig Weibliche». [1]

---

[1] Вечно женственное (нем.).

В статье «Из переписки с Горьким» Форш приводит большие цитаты из этого своего письма, которые могут удивить читателя, знакомого с книгой «Горький и советские писатели. Неизданная переписка»: в письме, опубликованном по Архиву Горького, этих цитат найти нельзя. Можно подумать, что для статьи она сочиняла эти свои старые письма к Горькому заново. Дело, однако, не в этом. В 1926 году свои письма к Горькому Форш писала дважды — сначала в черновом, развернутом варианте. Эти-то черновики она и цитирует в статье 1945 года, за двадцать лет забыв, разумеется, что Горькому пошел иной, сильно «ужатый» текст. В таком черновом варианте письма подробнее и ярче объяснено, почему «заветная тема», волновавшая Форш с ранней юности, так и осталась невоплощенной: «Меня с юности еще удержал писать о женщине Глеб Успенский своим замечанием о том, что всякий посредственный роман обязательно начнется словами: «Марья Павловна полулежала на кушетке...» Я решила сначала научиться говорить так, чтобы слово мое было убедительно и могло бы защитить положение: женский вопрос решается в своей глубине не юридическим равноправием, бесспорно элементарно необходимой вещью, а очень сложным самоосвобождением. Женщина нисколько не беднее мужчины умом, талантами, волей, но у нее реже встречается внутренняя биография, которую необходимо иметь, если зовешься человеком».

Форш не чувствовала себя готовой к решению такой задачи, опасалась скомпрометировать тему несовершенством художественного воплощения. Она считала, что исторически накопленный духовный опыт женщины «может стать для всех значительным только в том случае, если сумеешь выразить и защитить».

Яснее сказано в черновике также и о том, почему «женский опыт свой — особый»: «Хотя бы беременность, роды, очень маленький ребенок. Все это имеет не только то содержание, которое гениально, но все же внешне, досмотрел Лев Толстой.

Если женщина поспеет умственно и душевно созреть, все эти состояния окажутся для нее чудесным способом постижения «начала и конца» через нового человека, в ней заключенного, из нее рождающегося. Мать как земля. Если б земля заговорила...»

Горькому тема женщины-матери была близка издавна; это одна из сквозных тем всего его творчества, о чем он и писал в своих письмах к Форш.

Форш не поддалась увлечению Горького идеей грядущего матриархата, или «гинекократии». Ее издавна увлекала другая перспектива — такой духовный, интеллектуальный и творческий рост женщины, который привел бы к преодолению старинной вражды полов, а в конечном счете — к преодолению «расколотости» личности и торжеству гармонического, целостного человека. Тут не только обнаружилась общность проблематики, но возник и живой диалог, спор, который был завершен уже в устном общении — при личной встрече в Сорренто в ноябре 1927 года.

Во всяком случае после этого Горький, хотя и продолжал пропагандировать мысль о растущей роли женщины в истории духовной культуры, но уже не настаивал на неизбежности «матриархата».

Характер своеобразного диалога, скрытой полемики носит и обсуждение в переписке другого вопроса, поднятого уже Форш. Она писала по поводу Ильи Артамонова (деда): «Мне он значительнее всех, потому что никого не «дублирует», всюду сам, «первый у источника» — словом: это он — та новая, прекрасная разновидность и раньше Вами художественно закрепленного, обаятельного своей силой жизни, большого удельного веса — *человека*. Но, как и раньше, словно нарочно, Вы опять оборвали такого «на бегу». А хотелось бы наконец досмотреть его во весь рост и непременно до конца».

Форш выспрашивает «о конце концов настоящего, полновесного, земляного человека», великолепно схваченного именно Горьким: «...Каким *новым* творцом окажется такой? И вообще окажется ли; и еще интереснее: *важно ли*, чтобы оказался?» Илья Артамонов для Форш только повод. Существо вопроса — об общественной ценности *личности*, о том, сохраняется ли в общем балансе развития культуры духовная энергия преходящей, но неповторимой индивидуальности? Или она гибнет бесплодно вместе с физической смертью — становится «навозом истории», обогащающим лишь почву для будущих взлетов творческого духа?

Не случайно эта тема приводила к проблеме Достоевского. И у Горького, и у Форш была своя сложная

«история отношений» с Достоевским, свои счеты с ним, хотя совершенно различные. «Идиота» она считала «волшебным романом», единственным в этом смысле даже у самого Достоевского. «Идиот» — это не роман как фактическое накопление каких-то взаимоотношений любви. Это просто какое-то выхождение из тел, испепеляющее всякую отдельность, всю обычную отграниченность людей друг от друга»,[1] — писала Форш еще в 1921 году. Горький относился к Достоевскому гораздо более ревниво и жестко; при этом они оба прекрасно чувствовали современное значение того круга проблем, который был выдвинут творчеством Достоевского, а поэтому обмен мнениями «о взаимно непонятном» увлекал обоих, приводя во многих звеньях к единомыслию.

В своих письмах 1926 года Форш вернулась и к тому спору с Горьким, который она пыталась начать еще в 1916 году, когда строптиво возражала ему в редакции «Летописи», когда в своем романе «Оглашенные» вступала в творческий спор с Горьким по поводу его «Исповеди». Но роман так и не был опубликован. Теперь, в 1926 году, она гораздо яснее формулирует *суть* своего несогласия с результативной идеей «Исповеди»: «А сейчас хочу спросить Вас об одной давней вашей вещи, которая задела меня и помнится посейчас. Это «Исповедь» — то есть не о всей вещи, которую очень люблю за необыкновенный разбег и смелость (и не ту, за которую хвалила или бранила критика), а о *конце*, столь благополучно разрешающем трагедию личности. Разве *выход* — вопрос о личности разрешать поглощением ее же чем бы то ни было? Иначе: точно ли *мы* или *они* — решение *я*?»

«Разбег и смелость» повести Форш видела в постановке вопроса о роли народных масс в созидании не только материальной, но и духовной культуры. Однако у нее — и тоже издавна — вызвала протест резко выраженная в «Исповеди» махистско-богдановская позиция Горького в вопросе о роли *личного* начала. Герой повести (в полном согласии с автором) рассматривает само выделение личности из массы как фактор чисто отрицательный и более того — как источник всех исторических бедствий.

---

[1] Архив О. Д. Форш.

С этим Форш никак не могла согласиться. Против пролеткультовского отрицания *личного* индивидуально-творческого начала, против полного растворения его в коллективе она боролась с первых лет революции, считая эту установку на обезличенность крайне опасной для всего дела социалистического преобразования.

В книге «Под куполом» (1929) Форш посвятила Горькому очерк «Лурдские чудеса». В письме к нему это мотивировано тем, что «они вышли удачнее прочего, кроме того, запомнилось, как хорошо вы смеялись, когда я Вам кое-что оттуда рассказывала в лицах». Горький, однако, прочитав книгу, сразу обнаружил истинную причину посвящения, о которой Форш лукаво умолчала. «Исцеления в Лурде она трактует так же, как я в «Исповеди»... а меня за нее ославили еретиком, мистиком, богоискателем...» — писал он И. А. Груздеву, с явным (и тоже лукавым) расчетом, что эта реплика будет передана автору посвященного ему очерка.

Во время недолгого личного общения в Сорренто Горький и Форш «доспорили» по всему кругу вопросов, затронутых в их переписке. 30 ноября 1927 года Горький писал Груздеву: «Живется мне интересно, ибо приехала Форш». За десять ноябрьских дней произошло неслыханно быстрое дружеское сближение Форш не только с Горьким, но и со всем его домашним окружением. После этой встречи они на протяжении многих лет понимали друг друга с полуслова, с полунамека. Переписка после Сорренто тоже шла в совершенно новом стилевом ключе. Писать черновики, обдуманно сокращать их перед отправкой Форш теперь не приходило в голову. Недаром Горький весело вышучивал размашистость ее эпистолярного стиля: «Одно плохо в характере Вашем: привычка писать письма вдоль и поперек, а также наклонность к вводным предложениям. Чехов, Антон, тоже литератор, называл вводные предложения «соседние барышни». Ну, это господь простит Вам. Он и не такие грехи прощает».

Приведем образчик этой веселой бесцеремонности их нового эпистолярного стиля. В первом (по возвращении в Ленинград) письме Форш дает юмористическую характеристику портретов Горького, выставленных по поводу его шестидесятилетия. При этом всю свою критику она вместила в один абзац: «Была на Вашей выставке в Пушкинском доме. Портретов тьма — но весьма немногие

писаны с Вас (силуэт Кругликовой хорош). Прочим же позировали: либо беглые каторжники (и не политические, а крупноуголовные), либо солдатские большие чайники, либо незаконные сыны то ли К. Фофанова, то ли К. Бальмонта (репинский расхлябанный юнош). У тов. Ракицкого портрет похож глазами — усами, носом же — не вполне. Кланяйтесь ему (Ракицкому), снился — уж не ворожит ли на меня!» Вскоре Форш развернула эту же тему в статье «Портреты Горького». Позднее был создан удивительный по серьезности и глубине мысли «синтетический портрет» Горького в «Сумасшедшем корабле».

Значение дружбы с Горьким для творческого самочувствия Форш невозможно переоценить. Она стала для нее источником вдохновения, радости и веры в себя на целое десятилетие вперед. Многие ее творческие замыслы даже и зародились в Сорренто. Например, замысел пьесы «Живая вода» был коллективным детищем тогдашних обитателей горьковского дома. Он возник в оживленном обсуждении роли искусства в жизни и одновременно — искусства как *темы* литературного творчества. В статье «Из переписки с Горьким» Форш вспоминала: «Я сделала в Сорренто попытку написать пьесу, в которой кое-что взято из рассказа Лескова «Скоморох Памфалон». Художник Ракицкий, живший у Горького, стал делать эскизы к воображаемой постановке». Вернувшись в Ленинград, Форш сообщала на Капри: «Проездом здесь Мейерхольд. Рассказывала ему, что Вам понравился пропущенный через меня его гоголевский «Ревизор». . . Предложил к весне дать пьесу. Я должна спешно сейчас сдавать «Западные впечатления», а потом вплотную примусь за то, что начала в Сорренто».[1] Пьеса, таким образом, с самого начала имела театральный адрес — она сочинялась для В. Э. Мейерхольда.

Чада и домочадцы горьковского дома были горячо озабочены судьбой их общего детища. «Соловей (домашнее прозвище художника Ракицкого. — *А. Т.*) пишет эскизы к «Памфалону», — хорошо пишет. Целые дни пишет», — сообщает Горький. Форш в ответ обещает закончить пьесу к весне: «Очень порадовали сообщением, что Сорхудожники (от Сорренто, конечно) творят мого

---

[1] Архив А. М. Горького.

«Памфалона». Кланяюсь, шлю привет, а из Ессентуков и пространный, надеюсь, текст».[1]

Однако вместо «Памфалона» Форш «вдруг» сочинила пьесу «Причальная мачта» (1929); это было встречено пылким, хотя и шутливо выраженным негодованием: «А Форш — анафема ей! — вообще охладевает к превосходным замыслам своим. Будучи здесь, она мне рассказала пьесу «Памфалон», даже эскизы декорации заставила писать сожителя моего, а затем написала «Причальную мачту». Это — девушка безумная, и следовало ее за Пилсудского замуж выдать», — пишет Горький Груздеву. Форш оправдывается и угрожает рукописью в десяти картинах, с которой Горькому некуда будет деваться. Но тот не сдается: «Угрозой Вашей прислать мне 10-картинную рукопись с балетными плясками и цирковыми трюками — отнюдь не потрясен, а наоборот, искренно рад — за Вас. Ибо: человеков, кои не способны приумножать талантов, евангелие от Матфея грозит ввергнуть во тьму, где «будет плач и скрежет зубов». Не хочу, чтоб Вы скрежетали зубами».[1]

Горький был абсолютно прав, когда негодовал по поводу легкомысленного отказа Форш от своих «превосходных замыслов». Пьеса «Живая вода» пролежала в черновиках и набросках тридцать лет и была закончена лишь в последние годы жизни О. Д. Форш, а опубликована уже посмертно. Между тем эта «педагогическая сказка» — лучшее, что ею написано для театра, хотя это еще не подтверждено театральной сценой. Кому же придет в голову искать новые пьесы для детей в многотомном собрании сочинений? А ведь Форш раньше других советских драматургов догадалась обратиться к сценической сказке как способу выйти за тесные пределы бытового правдоподобия — к поэтической условности театрального действия, несущей в себе широту художественного обобщения. «Живая вода» была задумана, полностью рассказана Горькому и больше чем наполовину написана еще в 1927—1928 годах!

История личных и литературных отношений Ольги Форш с Максимом Горьким, естественно, не исчерпывается рамками двадцатых годов. Были еще споры о производственном очерке и о том, как надо работать с мо-

---

[1] Архив А. М. Горького.

лодыми писателями; были заказы для «Новых достижений» и работа в консультации журнала «Литературная учеба»; были, разумеется, и личные встречи — в Москве, в Ленинграде, в Горках. Восстановить внутреннюю логику, живое движение их взаимоотношений в последние годы жизни Горького пока не представляется возможным. Сама Форш уже после своего восьмидесятилетнего юбилея мечтала написать целую книгу своих воспоминаний о Горьком, но осуществить этот замысел она не успела. Ею написано о Горьком не так уж мало: «Седьмая волна» «Сумасшедшего корабля» — едва ли не лучшее, что сделано для закрепления в художественном слове личности и значения Горького. И после войны: воспоминание-публикация «Из переписки с Горьким», статья «А. М. Горький и молодые писатели»... Но характерная вещь — наиболее затрагивающие память сердца страницы ее воспоминаний о Горьком остались ненаписанными; ни одна из встреч с Горьким в Сорренто или позже не описана. Может быть, потому, что этот материал был ей особенно дорог...

5

В обсуждение тем, возникших в переписке с Форш, Горький втянул целый ряд других своих корреспондентов: Р. Роллана, М. Левберг, Н. Чертову, И. Груздева и М. Пришвина. Персональное общение он превратил в широкий эпистолярный диалог с участием многих голосов и суждений.

На участии М. Пришвина в этом многоголосом диалоге следует остановиться особо: одновременно это история дружеского сближения между Форш и Пришвиным.

Форш и Пришвин — сверстники не только по году рождения, но и по времени вступления в литературу (сразу после поражения первой русской революции), и по кругу литературных знакомств и интересов, оказавших тогда влияние на формирование их идейно-эстетических взглядов. Как известно, вернувшись в 1908 году из путешествия по Карелии, Пришвин был введен А. Ремизовым в круг петербургских писателей-символистов, познакомился с Блоком; эта первая встреча с литературной средой произвела на него глубокое впечатление, так что он

не раз вспоминает о ней в позднейшей переписке с Горьким.

По всей вероятности, на литературных сборищах предреволюционных лет Форш встречалась с Пришвиным (так же как она познакомилась еще тогда с Чапыгиным, Сергеевым-Ценским, Шишковым и другими писателями своего «литературного призыва»). Однако настоящее знакомство и дружеское сближение с М. Пришвиным произошло гораздо позже, и узнаем мы об этом из письма Пришвина к Горькому от 2 февраля 1927 года: «Мне очень хочется написать Вам немного о моих впечатлениях в Питере, где я не был 10 лет! ... У них уже сложился свой маленький, местный, совершенно особенный и новый патриотизм. И у писателей особенно. В Москве я уже совсем было отвык от литературной среды. В Питере сохранились хорошие литературные традиции. Все переменилось: Москва стала деловой, в Питере говорят «по душам». Мы особенно сошлись в этот раз с О. Д. Форш. Мне весьма по душе эта женщина, в своей великой борьбе с нуждой сумевшая все победить: и детей воспитала прекрасно, и сохранила, пронесла в чистоте свою любовь к искусству слова. По-моему, она в Питере самый интересный человек... Трое суток мы беседовали с Форш безотрывно».

Именно Форш втянула Пришвина в обсуждение тем своей тогдашней переписки с Горьким. Так возник эпистолярный «диалог втроем». Скоро он расширился по кругу тем: не только «о сумерках мужчины», но и о проблеме личности вообще, о кризисе гуманизма и о ближайших перспективах истории, в особенности истории духовной культуры.

Вопрос о роли женщины в истории входил в круг творческих интересов всех троих — ведь М. Пришвин в это время работал над «пятым звеном» своего автобиографического романа «Кащеева цепь», «звено» это называлось тогда «Любовь Алпатова». Уже в следующем письме к Горькому Пришвин определяет и свой особый поворот темы: «...Любовь как путь к творчеству (я об этом пишу)...»

Такая постановка темы была особенно близка и О. Д. Форш. Проблема связи и «взаимопревращений» любви и искусства, личной жизни и художественного творчества была «в работе» у обоих писателей-сверстни-

ков. Естественно, она обсуждалась в их разговорах и в переписке. Сразу после «всенощных разговоров» в Ленинграде Пришвин раздобыл недавно вышедший роман Форш «Современники» и написал ей о своем впечатлении.

Своеобразие этого письма заключается в том, что оно начинается не с личного обращения, а с выписки из собственного дневника, где мысли и чувства, вызванные «Современниками», были зафиксированы непосредственно — сразу после прочтения романа: «Вчера прочел *Современники* Форш с большой радостью, казалось, продолжал питерскую беседу с этой веселой в печали женщиной. Книга интересная. Да, я считаю, книга должна быть непременно интересной, это главное качество книги — быть интересной в том смысле, чтобы автор преодолел скуку труда увлечением. Один из основных признаков значительности книги, если после чтения читателю кажется, что это про него писано и он начинает судить себя. Так я взял из книги *миражи* Иванова и Гоголя и долго думал о своих собственных миражах. Да, как ни вертись, а искусство всегда паразитирует на развалинах *личной* жизни. Но в этом и есть особенность подвига художника, что он побеждает личное горе, неудачи, несчастье». [1]

Из исторического романа Форш Пришвин извлекает новое подтверждение *своего* подхода к теме любви как пути к искусству. В его переписке с Горьким мы находим разъяснение того личностного — с применением к собственному душевно-биографическому опыту — восприятия романа Форш, которое Пришвин считает главным признаком «значительности книги».

Опираясь на это личностно-биографическое восприятие романа, он подходит и к более общей проблематике «Современников» (раскрытой Форш на материале духовной драмы двух великих художников — Ал. Иванова и Гоголя).

Профессиональное и человеческое доверие к Форш сказалось в том, что он свое суждение о ее романе выразил попросту выпиской из своего дневника — без всякой специальной обработки, не преувеличивая комплиментарной части и не смягчая критической. Та же высокая степень доверия и в самом письме Пришвина, посвящен-

---

[1] Архив О. Д. Форш.

ном уже не Форш, а собственным творческим тревогам, которыми он откровенно делится и просит совета: «Когда прочтете, напишите мне, что значительней, «Кащеева цепь» или «Родники». Я очень боюсь с «Кащеевой цепью» залезть пока в недозволенный мне мир, перешагнуть свой предел и стать скучным (холодным). Из «Родников» же мне просвечивает творчество детских рассказов, истинно художественное и новое творчество. Как Вы думаете?» [1] Тревогами и опасениями своей творческой работы с такой же откровенностью Пришвин делился только с Горьким.

Этот удивительный эпистолярный «диалог втроем» получил некоторое продолжение и после поездки Форш за границу. Вскоре после ее возвращения Пришвин снова был в Ленинграде, снова они обменялись впечатлениями и мыслями по всем вопросам быстротекущей жизни. В их устном общении опять незримо участвовал Горький: «Был в Питере для сдачи в ГИЗ законченного 2-го тома «Кащеевой цепи». Беседовал с О. Д. Форш. Многое она рассказала мне о нравах парижской эмиграции, — так грустно было слушать! После того стали понятны некоторые Ваши статьи, от которых, признаюсь, раньше морщился. Да, это верно, в ту сторону приходится хвалить, согласен даже: хвалиться», — пишет Пришвин Горькому в апреле 1928 года; своими рассказами о настроениях писателей-эмигрантов Форш сняла даже невысказанное несогласие Пришвина с мыслью, которую Горький в то время пылко пропагандировал: что писать о «наших достижениях» важнее, чем о наших трудностях и недостатках...

В дальнейшем Пришвин и Форш встречались не часто: когда он наезжал в Ленинград или она — в Москву; переписывались они еще реже. Но до конца сохранили то доверие и взаимопонимание, которое возникло при их встрече в Ленинграде в начале 1927 года.

История рождения дружбы Форш с Горьким и Пришвиным, тот «тройственный диалог», который лежит в истоке этой дружбы, — пример и образец подлинно творческого общения, характерного для старшего поколения советских писателей. Такое общение побеждает и расстояния, и разницу литературных репутаций, и гораздо более глубокие индивидуальные различия их писатель-

---

[1] Архив О. Д. Форш.

ских амплуа. Все это легко отступало перед общностью жизненной проблематики и близостью напряженных духовных исканий, которые для всех троих были неотделимы от тревог за судьбы мира и духовной культуры — «культуры внутреннего человека».

6

Без творческого общения и живой литературной среды Форш никогда не жила, такого общения всегда искала и умела его создавать. С какой любовью она вспоминала трудное начало 20-х годов, лишь потому что в это голодное и холодное время творческое общение между художниками и писателями Петрограда было исключительно интенсивным. Об этом, собственно, и написана книга Форш «Сумасшедший корабль»: «От чувства непрочности и напряжения обычных будней уж не было, и сама жизнь стала вовсе не тем или иным накоплением фактов, а только искусством эти факты прожить... И вместе с тем именно в эти годы — как на краю вулкана богатейшие виноградники — цвели люди своим лучшим цветом. Все были герои. Все были творцы. Кто создавал новые формы общественности, кто книги, кто целую школу, кто из ломберного сукна сапоги».

Именно благодаря этой общей атмосфере творческого поиска и творческого общения ленинградский Дом искусств стал колыбелью дружбы Форш со многими писателями уже следующего литературного поколения — теми, кто пришел в литературу прямо из боев революции и гражданской войны. Об этом вспоминают многие из участников сборника: Федин и Тихонов, Слонимский и Шкловский, Полонская и Рождественский. О плодотворности дружеского и творческого общения с Форш читатель может судить по их собственному рассказу. Многие литературные дружбы, возникшие еще в начале 20-х годов, оказались пожизненными, в том числе и дружба Форш с Вс. Ивановым, Ильей Груздевым и Николаем Никитиным, которые своих воспоминаний написать уже не успели. О прочности душевной связи, возникшей еще в годы Дома искусств, свидетельствуют их письма к ней, неизменно исполненные почтительного восхищения душевной силой и творческим долголетием Форш.

Из этого поколения писателей только с Александром Фадеевым Форш подружилась гораздо позднее. Он ведь не был ленинградцем и не принадлежал к числу обитателей или «гостишек» Дома искусств. И все-таки эта дружба тоже не могла бы возникнуть, если бы не рождение новых форм литературной общественности, творческого общения между писателями.

Александр Фадеев и Ольга Форш — писатели не только разных поколений, но очень разного воспитания, судьбы, жизненного опыта. Когда Форш начинала печататься, Фадеев был шестилетним ребенком. Тот круг литературной и художественной интеллигенции, в котором формировалась писательская индивидуальность Форш, — круг, близкий российскому символизму, — уже не существовал, когда Фадеев вошел в литературу. Он пришел из дальневосточных партизан, из боев за подавление кронштадтского мятежа и почти сразу стал одним из руководителей РАППа — не только писателем, но и организатором литературной борьбы 20-х годов.

Дружеское сближение между Форш и Фадеевым стало практически возможным только после ликвидации РАППа. В ходе подготовки к Первому Всесоюзному съезду писателей были созданы в 1933 году писательские бригады для установления связи между литературами (и литераторами) союзных республик. В одну из таких бригад, командированную на Кавказ, вошла и О. Д. Форш. Бригаду возглавлял П. Павленко, в нее входили Н. Тихонов, Б. Пастернак, В. Каверин, В. Гольцев и др. В апреле следующего года П. Павленко сообщал в газете «На рубеже Востока», что бригада пополнилась А. Фадеевым, Л. Леоновым и С. Спасским. Очевидно, во время второй предсъездовской поездки этой бригады в Тбилиси и произошло знакомство Форш с Фадеевым.

Однако «отношения персональные», как любила выражаться Форш, возникли между нею и Фадеевым пять лет спустя — тоже в обстановке культурного праздника и кавказского гостеприимства. В сентябре 1939 года в Ереване отмечался юбилей Давида Сасунского. А. Фадеев был председателем юбилейного комитета и открывал пленум ССП, посвященный юбилейным торжествам.

Дело, вероятно, было не только в том, что в программе празднеств было много ярких и разнообразных впе-

чатлений (посещения музеев, раскопок и старинных храмов времен Давида Сасунского, поездка на великолепное озеро Севан). Было в этом десятидневном празднике что-то и помимо пышности и богатства обстановки: раскованность общения, непринужденность, «открытие» интересных людей. Таким прорывом сквозь будни к радости общения было и рождение дружбы между Фадеевым и Форш.

Из Еревана они уехали в Тбилиси (на открытие съезда писателей Грузии) в одной машине: Фадеев, Форш с дочерью, С. Михалков и Мариджан. Чувство радостной легкости, почти чувство полета, рожденное необычайностью такого внезапного душевного сближения, стало истоком всей последующей истории их отношений. Недаром об этой поездке по Армении и Грузии Фадеев вспоминает едва ли не в каждом письме к Форш на протяжении пятнадцати лет.

Следующая не мимолетная встреча, словно по контрасту, произошла в суровой, исполненной тревог и лишений обстановке войны и эвакуации; в первую военную зиму Фадеев приезжал по делам Союза писателей в Свердловск, куда была эвакуирована Ольга Форш со всей семьей. Те несколько дней, что Фадеев был в Свердловске, они почти не расставались, даже ночевал он в единственной переполненной комнате Форш, имевшей форму буквы Г, где спать пришлось вместе со всеми на полу.

Летом 1942 года Фадеев был в блокадном Ленинграде и с удивлением узнал от старых друзей Форш — Груздевых, что она почему-то уже не в Свердловске, а в Алма-Ате, и к тому же одна. Фадеев был очень встревожен. Тогда было написано на бланке Союза писателей первое большое письмо А. Фадеева к Форш — от 13 августа 1942 года.

По условиям военного времени для Фадеева не скоро выяснилось, в чем было дело: О. Д. Форш вовсе не переехала на жительство в Алма-Ату, — это было совершенно фантастическое для тех лет путешествие, которое стало возможным благодаря академику В. Л. Комарову, двоюродному брату Форш, «прихватившему» ее с экспедицией по изысканию природных ресурсов, неотложно необходимых для войны. К поздней уральской весне Форш оказалась на грани дистрофии; В. Л. Комаров и решил отвезти

ее поближе к солнцу и витаминам, с тем чтобы на обратном пути экспедиция привезла ее обратно в Свердловск.

Письмо Фадеева исполнено дружеской, почти сыновней тревоги за судьбу Ольги Дмитриевны: «Грустно думать, что ты осталась одна. Но я почему-то уверен, что мужество, жизнерадостность и работоспособность не изменили тебе. Мне совестно, что я потерял всякую связь с тобой и ничем не помог тебе в эти трудные дни. Сейчас я надолго прикован к Москве и прошу тебя подробно написать мне о твоем житье-бытье». Чувствуется, что Фадеев встревожен материальным ее положением, поэтому он придумывает для нее темы и заказы, которые можно использовать в Москве: «Пиши и присылай все на мое имя в Союз писателей. Мне и всем моим товарищам очень хотелось бы, чтобы ты, если тебе это позволяют силы, стала регулярно писать и для Информбюро, и для радио, и для центральных газет — писать статьи, очерки, рассказы, в общем использовала те формы, которые тебе более по душе».

Вероятно, в связи с письмом Фадеева Форш в Средней Азии собирала сведения о героях-панфиловцах и их семьях, делала даже карандашные зарисовки, сохранившиеся в ее архиве. Очерки на эту тему не были, однако, написаны.

Фадеев предлагает свою помощь также и на тот случай, если у нее уже написано что-либо «более значительное по объему»: «Помня наши разговоры еще во времена «Давида Сасунского», а потом в Свердловске — я предполагаю, что ты пишешь сейчас и автобиографическую книгу.

У меня нет никаких сомнений, что эта книга, не будучи злободневной книгой, в то же время глубоко актуальна, поскольку ты русская писательница с большой любовью к России, к ее прошлому и настоящему, к ее народу.

Если у тебя есть готовые и целые отрывки из этой книги — я прошу также прислать их на мое имя в Союз писателей».

К концу 1943 года Форш переселилась в Москву и жила в гостинице «Москва», где были размещены многие писатели, в первые годы войны разбросанные эвакуацией по разным городам. Гостиница стала теперь главным местом писательского общения. Фадеев получил возмож-

ность проявлять заботу о делах и интересах Форш уже на близком расстоянии. Когда неожиданно выяснилось, что гостиницу надо освобождать для других надобностей, Фадеев предложил Форш пожить у него на даче. Она съездила туда в гости, но переселяться не стала: сам Фадеев там бывал не часто, а без него ей было там неуютно.

После возвращения О. Д. Форш в Ленинград (1944) отношения поддерживались не очень регулярной перепиской и еще более редкими встречами — во время наездов Фадеева в Ленинград по делам Союза писателей. В мирных условиях житейские трудности отступили; теперь дружеская забота Фадеева об О. Д. Форш все чаще касалась ее литературных дел. Они посылают друг другу свои новые книги (Фадеев — «Молодую гвардию» в обоих вариантах, Форш — «Михайловский замок», первую и вторую части «Первенцев свободы» — по мере их выхода в свет) с дружескими авторскими подписями. Фадеев постоянно держал в поле зрения интересы писательского признания Форш и те ее издательские дела, которые проходили в Москве. В начале 1947 года он спешит сообщить о том, что «Одеты камнем» включены в юбилейную серию к тридцатилетию Октября, а «Михайловский замок» на днях будет обсуждаться на секретариате (в связи с выдвижением его ЛО ССП на премию). И тут же смущенно признается, что прочесть нового ее романа еще не успел (письмо от 22 января 1947 г.).

В последующих письмах Фадеев высказывает и критические суждения о произведениях Форш — о книжечке ее рассказов «В старом Тифлисе» (письмо от 31 марта 1948 г.), о первой книге «Первенцев свободы» (письмо от 29 мая 1952 г.): «Я прочел ее с большим интересом, характеры даны очень выпукло, прекрасный, простой язык, очень жизненное, исторически конкретное и сложное переплетение людских судеб. Но книга не может жить сама по себе, без развития и завершения всех этих судеб, и думаю, именно поэтому она не имеет пока что такого резонанса среди читателей и в критике, которого бы она, эта книга, заслуживала... Было ли в «Звезде» продолжение твоего романа? Будет ли оно? Позволяет ли твое здоровье работать?».

Фадеев был прав: первая часть «Первенцев свободы» не выходит за пределы развернутой экспозиции романа.

хроники и действительно «не может жить сама по себе» — без второй части, вышедшей вскоре после этого фадеевского письма.

В том же письме Фадеев рассказывал и о своей творческой работе — о том, что он пишет «неслыханно толстый роман, который носит название, более подходящее для технического учебника: «Черная металлургия». За легкой иронией этого сообщения чувствуется тревога за успех этого замысла, творческая неудача которого так тяжело повлияла на него четыре года спустя... И снова жалуется, что «чудовищно завален работой — даже когда получил отпуск от Союза писателей, о котором, к сожалению, нельзя сказать словами Пушкина: «Друзья мои, прекрасен наш союз!»

Фадеев был неаккуратен в личной переписке — слишком много приходилось на его долю переписки официальной, связанной с руководством Союзом писателей. С ответами Форш он тоже постоянно запаздывал, и она не обижалась.

Заседательская суета все чаще становится темой его жалоб в письмах к Форш. Кто знал и любил Фадеева, как Форш, тот легко, без скрежета задетого самолюбия, относился к этой неаккуратности, веря, что к существу душевной связи она не имеет решительно никакого отношения. К тому же Форш знала, что писать собственные книги он тоже «совершенно не имел времени» — иногда годами — и что это постоянно его мучило. «Прости, что, пообещав с три короба за рюмкой водки на канале Грибоедова, я так долго злоупотреблял твоим терпением и ни разу не написал тебе. Но учти, что ко мне в должности генерального секретаря нужно относиться как к невменяемому. Мне редко удается сделать вовремя что-нибудь путное, поскольку я увлекаем стихией так называемых «неотложных», т. е. суетных дел. Сейчас я уже вполне доспел до Канатчиковой дачи, но все еще не дают отпуска», — писал он Форш в 1948 году.

Все чаще Фадеев жалуется и на болезни, которые периодически вышибают из рабочей формы. Действительно, в эти годы больница уже «входит в бюджет» жизненного времени Фадеева. В больнице он узнал и о восьмидесятилетии Форш. В письме от 17 июля 1953 года (то есть с полуторамесячным опозданием) Фадеев приносит свои поздравления, шутливо обыгрывая «преимуще-

ства» своего запоздалого приветствия: «Милая, родная моя Ольга Дмитриевна! Так сложилась судьба моя, что поздравляю, приветствую я тебя последним. Есть в этом, правда, и свое преимущество. Громы тостов и оваций давно смолкли, пироги давно съедены, гости вполне уже оправились после похмелья, — настолько, что некоторые даже забыли повод, — а в это время вдруг раздается еще один голос — такой наивный, свежий в незнании своем, как будто время вовсе и не двинулось в свой дальнейший путь, как будто ты опять новорожденная!»

По поводу отшумевшего юбилея, получения ордена, статьи Н. С. Тихонова о ней Фадеев поздравляет Форш «с радостью почти личной», в заключение обещая по выходе из больницы приехать в Ленинград и явиться к ней в гости: «Все-таки я поправлюсь к осени и увижу тебя в Ленинграде, куда обязательно поеду в связи с новым романом моим, и уж тут не избежать тебе если не специального пирога, то хотя бы пирожков к супу.

Ах, как хорошо мы ездили все тогда по Армении, как я люблю вспоминать эту поездку, как еще совсем «недавно» это было, и сколько на самом деле времени прошло и — целая эпоха отвалилась. . .»

Встреча на Втором съезде писателей в 1954 году была, вероятно, последней. Сохранилась записка, посланная Форш Фадеевым через головы делегатов — сразу после ее вступительного слова. В первый перерыв можно было все сказать устно. Но побуждение, толкнувшее руку к бумаге, было так сильно, что требовало немедленной реакции. После долголетней переписки, в которой были и шутки, и практическая забота, и информация, и воспоминания, в этой записке снова «открытым текстом» выражено восхищение *личностью* Форш — той способностью к интеллектуальному и душевному выживанию, которая, собственно, была основой ее творческого долголетия: «Мы стояли за дверью, любовались тобой и говорили о том, какая ты сильная, мужественная и умная женщина.

Я ужасно рад за тебя и крепко, крепко жму твою руку, вынесшую в жизни столько большого хорошего писательского труда, умную милую руку».

В основе душевной связи между Фадеевым и Форш — писателями, столь различными по биографии, складу ха-

рактера и стилю мышления, — при всей нерегулярности их общения и переписки, лежало редкое постоянство взаимной симпатии, уважения и доверия.

7

Первая половина 30-х годов — важная веха в истории нашей литературы, кроме всего прочего, еще и потому, что ликвидация РАПП оказалась одновременно ликвидацией разобщенности между писателями различных замкнутых группировок. Форш принадлежала к числу тех писателей, которые в 1931 году находились под ударом рапповских преследований: согласно своему лозунгу «союзник или враг», «налитпостовцы» отказали ей в звании «союзника» со всеми вытекающими последствиями. Как и многим писателям ее литературного поколения, середина 30-х годов принесла Форш расширение круга творческого общения с писателями разных поколений и разных республик.

Именно в эти годы Форш подружилась с П. Павленко, Мариджан (М. М. Алексидзе), Г. Леонидзе, И. Гришашвили, С. Михалковым и многими другими. С некоторыми из них дружба сохранялась в течение многих лет. Поездки в Грузию были для Форш в этом смысле особенно важны; атмосфера деятельного, увлеченного общения между писателями, только что узнавшими друг друга, была чудесной, почти фантастической по праздничности и в то же время по ощущению значительности происходящего. Снова, как во времена Дома искусств, обычных будней уже не было, снова в непринужденном и открытом творческом общении «цвели люди своим лучшим цветом», с той существенной разницей, что подспудного трагизма, как в первые голодные годы, они теперь не ощущали — преобладали радость и доверие к будущему. Эту праздничную и в то же время творческую атмосферу, господствовавшую в дни приездов писательской бригады в Грузию в 1933—1934 годах, читатель живо ощутит в воспоминаниях участников этих встреч — Тихонова, Мариджан, Бебутова.

История дружеских отношений Форш с писателями разных поколений показывает, как важны эпохи зарождения таких форм литературной общественности, которые создают атмосферу непринужденного и содержа-

тельного общения в писательской среде. Именно оно является почвой и условием для возникновения личных и творческих связей, способных выдержать испытание временем. Такие периоды оживления творческого общения чаще всего связаны с переломами в развитии литературной жизни, да и в истории страны. Годы спокойного движения литературной жизни чаще всего несут с собою лишь продолжение, развитие творческих связей, возникших в такие периоды оживления литературной общественности. Чаще всего они совпадают с годами крупных исторических сдвигов и потрясений, когда писательская среда даже «по быту» живет одним дыханием со страной и народом.

Читатели этой книги увидят, что годы Великой Отечественной войны — трудные годы блокады, эвакуации, постоянного ожидания очередной сводки — оказались для Форш временем возникновения новых творческих связей и дружеских привязанностей в писательской среде. Об этом вспоминают В. Кетлинская, О. Иваненко, Б. Дижур, Т. Иванова и др. Эти новые привязанности носили уже иной характер, чем прежние. Новые друзья Форш, как правило, — писатели, начинавшие в 30-е, а то и в 40-е годы, а Форш в год победы под Сталинградом исполнилось семьдесят лет. Взаимная заинтересованность и забота при таком глубоком возрастном разрыве невольно приобретали несколько иной стиль. Со стороны младших возникала «охранительная» эмоция; со стороны Форш — внимание к возможностям творческого роста и душевной культуры, стремление поделиться своим громадным душевным и профессиональным опытом. Но и теперь в стиле и содержании общения ощущается та же слитность личного и творческого взаимодействия, то же столь свойственное Форш на протяжении всей ее жизни убеждение, что писательский талант — это не какой-нибудь «довесок» к личности, а органическое выражение духовных резервов человеческой индивидуальности. Отсюда глубина и сердечность в отношениях Форш с литературной молодежью, нераздельность ее личного и профессионального влияния.

Восьмидесятилетний юбилей Форш в 1953 году оказался своеобразным итогом и подтверждением прочности ее сердечных и творческих связей с писателями по меньшей мере трех литературных поколений. Ни один из

прежних юбилеев Форш не вызвал такого широкого потока писательских писем. И характерная вещь — несмотря на торжественность момента, так часто толкающую к превыспренности, к специфическому юбилейному штампу, все эти письма проникнуты подлинным лиризмом, живым и очень личным чувством, обращенным не только к Форш-писательнице, старшему товарищу по трудному литературному ремеслу, но и к Форш-человеку — совершенно особенному, вызывающему радостное удивление обаянием и внутренним богатством личности.

«Я люблю Ваши книги. Они воспитывали меня и поныне продолжают воспитывать. Ваши книги облагораживают жизнь, выпрямляют душу и помыслы человека, показывают человеку прекрасное в этом мире, убеждают его в том, что выше этого прекрасного — выше службы человечеству — нет ничего и ничего быть не может!» — писал накануне юбилея Всеволод Иванов. И тут же переходил на лирическую тональность, потому что книги Форш неотделимы для него от памяти о годах собственной литературной молодости: «С душевным волнением раскрываешь Ваши ранние книги — «Одеты камнем», «Сумасшедший корабль» — и наслаждаешься в них не только Вашим превосходным мастерством, но и теми волнами воспоминаний, которые идут ряд за рядом, поднимая в сердце картины прошлого, картины прежних, замечательных лет, когда Вы писали и печатали Ваши книги — и вся страна наша читала их».

В связи с последним романом Форш «Первенцы свободы», тогда только что вышедшим в свет, Всеволод Иванов высказывает глубокое суждение о своеобразии исторических романов Форш — об их интеллектуализме: «Ваш новый роман о декабристах дает нам те же художественные и моральные наслаждения, как и ранние Ваши романы, а значит, сулит нам надежды, что в будущем, когда мы будем перечитывать роман Ваш, он воскресит перед нами картины изумительно красочной эпохи, в которой мы живем и ради которой мы творим. Ибо Вы не только исторический романист и драматург, Вы — мыслитель, мыслящий историческими картинами, а значит — Вы глубоко современны».

В заключение письма Всеволод Иванов высказал мысль, общую очень многим, когда-либо слышавшим устные воспоминания Форш о ее встречах с художниками

и писателями, уже ушедшими: «И еще — как автор и читатель — прошу Вас, дорогая Ольга Дмитриевна, напишите Книгу Воспоминаний! Вы прожили изумительно интересную жизнь, Вы видели замечательно интересных людей, и Вы так блистательно рассказываете о встречах с ними. Рассказами этими Вы радуете узкий круг друзей Ваших и Вашу семью, — обрадуйте же весь народ советский и всех зарубежных почитателей Вашего большущего таланта!» [1]

Не говоря уже о тех друзьях-писателях, с которыми в течение ряда десятилетий Форш поддерживала личное общение и переписку (Н. Тихонов, К. Федин, Вс. Иванов), о Форш в эти майские дни 1953 года вспомнили едва ли не все, знавшие ее еще по Дому искусств:

«Дорогая и глубокоуважаемая Ольга Дмитриевна!

Сердечно поздравляю Вас с торжественным днем Вашего 80-летия.

Более тридцати лет я знаю Вас, Ольга Дмитриевна. И за все эти годы я не переставал восхищаться Вашим умом, Вашим светлым талантом, Вашей мудростью и добротой.

Пожалуй, одно плохо — годы проходят более стремительно, чем ожидалось в молодости. Это огорчает. И поэтому тем более хочется пожелать Вам еще многих и многих лет.

Мне радостно сознавать, Ольга Дмитриевна, что я был свидетелем и коллегой Вашей долгой и чудесной литературной жизни.

От души желаю Вам здоровья, удачи, счастья.

Любящий и почитающий Вас

Мих. Зощенко

28 мая 1953 г.» [2]

Так же тепло, хотя и с оттенком академической эрудиции, поздравлял ее Б. М. Эйхенбаум:

«*25 мая 1953 г.*

Дорогая и глубокоуважаемая Ольга Дмитриевна!

Когда Льву Николаевичу Толстому исполнилось 70 лет, он записал в дневнике: «Прогресс нравственный

---

[1] Архив О. Д. Форш.
[2] Там же.

человечества происходит только оттого, что есть старики. Старики добреют, умнеют и передают то, что они выжили, следующим поколениям. Не будь этого, человечество не двигалось бы. А какое простое средство!»

Я не убежден, что это относится ко всем старым людям, но к Вам это относится в полной мере. Ваша красивая, полноценная, величавая и добрая старость оказывает на современное молодое поколение не только нравственное, но и эстетическое влияние.

Я низко кланяюсь Вам, дорогая Ольга Дмитриевна, и прошу судьбу, сохранившую Вас среди бурь и гроз прошлых лет, продлить свою заботу — не только для Вас, но и для «нравственного прогресса человечества».

Будьте здоровы!

Ваш Б. Эйхенбаум».

Та же личная нота, живо передающая индивидуальность пишущего, и в поздравлении М. С. Шагинян, приславшей вместе с письмом подарки: последние свои книги и керамический кувшинчик с узким горлышком: «На Востоке говорят: в кувшине с узким горлом вода всегда свежая, а широкое горло — и вода плесневеет. Многие из нас грешных (и я в том числе) слишком «драли» и «дерем» свою глотку — в ущерб долгой сохранности нашего слова. А Ваши слова, дорогая, свежи и утолительны, как в первый день, потому что Вы мудро уберегли себя от крика». И здесь та же лирическая «оглядка на себя», поверка своей писательской и человеческой линии поведения моральным авторитетом Форш...

Все это — поздравления «корабельцев» — обитателей и гостей Дома искусств, знавших Форш с первых лет советской эпохи. Но писали в те дни, разумеется, не только они, но и друзья, приобретенные позже. «Когда я прочла в газете, что Вы хотите поехать по Волго-Дону, это было в январе, то у меня забилось сердце. Сколько планов и энергии у моей дорогой северной сестры, не то что я... Вы можете смело сказать, что вам четырежды двадцать лет, а не восемьдесят».[1] Это — большое, с семейными подробностями письмо М. М. Алексидзе (Мариджан), о которой за два десятилетия ранее Форш едва ли не первая рассказала русскому читателю в статье

[1] Архив О. Д. Форш.

«Писательницы Грузии»; дружба с нею прошла испытание временем, она поддерживалась и перепиской, и личными встречами более четверти века.

«Ваша творческая старость прекрасна!» — писала в своем коротеньком поздравлении Вера Инбер, с которой у Форш не было многолетней истории личных или литературных отношений.

И еще одно письмо с той же личной интонацией, связывающей писательский и человеческий облик юбилярши с собственной «внутренней биографией», — от В. К. Кетлинской: «Вы, конечно, совсем не помните те добрые и строгие слова, которые сказали однажды двадцатилетней комсомолке, прочитав ее первую плохонькую книжку. А я помню и всегда помнила, потому что Вы были первым настоящим писателем, заговорившим со мной, — и именно Вы открыли мне глаза на то, что литература — это громадный, непрерывный труд, требующий человека целиком. Спасибо Вам за это личное, и за Ваши книги, всегда сочетающие ум, талант и мастерство, и за всю Вашу большую, честную жизнь в литературе». [1]

История литературных дружб и взаимоотношений О. Д. Форш глубоко поучительна не только потому, что дает живую, движущуюся картину литературной жизни на протяжении ряда десятилетий, открывая те стороны литературного быта, которые в произведения писателей попадают редко. Эта сторона творческой биографии Форш поучительна еще и потому, что заключает в себе высокий образец культуры творческого общения, без которого, собственно говоря, нет ни литературной среды, ни литературной общественности в настоящем смысле этих слов.

---

[1] Там же.

СОДЕРЖАНИЕ



ОЛЬГА ФОРШ

В

ВОСПОМИНАНИЯХ

СОВРЕМЕННИКОВ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1974, 392 стр. План выпуска 1974 г., № 14. Редактор М. Н. Дикман. Художник М. Е. Новиков. Худож. редактор А Ф. Третьякова Техн. редактор Л. П. Мельникова. Корректор Ф. С. Флейтман. Сдано в набор 9/VIII 1973 г. Подписано в печать 14/I 1974 г. М 20131. Бумага $84 \times 108^1/_{32}$, типогр. № 1. Печ. л. $12^1/_4$+7 вкл. (21,32). Уч.-изд. л. 20,37. Тираж 30 000 экз. Заказ № 1059.

Цена 93 к.

Издательство «Советский писатель», Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.

93 к.

